

■ С ГИТЛЕРОМ НА СПИНЕ — ЧЕРЕЗ БРАЗИЛЬСКИЕ ДЖУНГЛИ

(повесть Дж. Штайнера — стр. 4)

■ СОБЛАЗН "НОРМАЛЬНОГО" СУЩЕСТВОВАНИЯ

(Михаил Гершензон против Теодора Герцля — стр. 97)

■ ЕВРЕИ И ИЗРАИЛЬТЯНЕ: ДВУСМЫСЛЕННАЯ СВЯЗЬ

(статья Н. Гутиной — стр. 117)

■ ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЗАХВАТИЛИ АФГАНИСТАН?

(статья В. Соловьева и О. Роя — стр. 148)

■ ЗА ЧТО ДАЮТ "ОСКАРА"?

("Листки из блокнота" Н. Воронель — стр. 199)

19

22

МИЛЛИАРДЫ И ПЕРУСАЛИМ
МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

19

ТЕЛЬ-АВИВ
МАЙ-ИЮНЬ 1981

ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	секретарь редакции
А. Воронель	М. Бар-Ор
Н. Воронель	корректор
Э. Кузнецов	Н. Островская
Ю. Меклер	технический редактор
Р. Нудельман (гл. ред.)	Н. Рубина
Н. Рубинштейн	Оформление номера
Я. Цигельман	В. Богуславский
И. Чаплина	

Адрес редакции: ул. Снапир, 11, кв. 25, Тель-Авив

Тел. (03) – 394525

Корреспонденцию направлять по адресу: "22",
P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Представители журнала за рубежом:

Англия: I. Golomstock, 61 Aston str., Oxford OX4 1EW, England.

Франция, Швейцария: D. Fradkin, 23 rue Dancet 1205, Geneve, Suisse.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettinger str., am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

США: L. Khotin, 51 Lincoln Ave., Daly City, Ca. 94015, USA.

Y. Levin, U. of Texas at Austin, Dept. of Slavic Languages, Box 7217, Austin, Texas, 78712, USA.

J. Tuvin, c/o Waters Associates Inc., Maple str., Milford, Mass. 01757, USA.

Y. Kitaevich, 1297, Meadowbright Lane, Cincinnati, Ohio, 45230, USA.

A. Englin, 66-10 Thornton Place, apt. 6E Rego Park, N. Y. 11374, USA.

Отвергнутые рукописи не возвращаются

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПРОЗА

- ДЖ. ШТАЙНЕР. Транспортировка господина Адольфа Г.
в город Сан-Кристобаль (окончание; послесловие
Р. Блехмана) 4
- АРКАДИЙ ЛЬВОВ. Два рассказа. 67

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА. 96

ПРОГУЛКИ С ФИЛОСОФАМИ

- МИХАИЛ ГЕРШЕНЗОН. Судьбы еврейского народа. 97

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- НЕЛЛИ ГУТИНА. Двусмысленная связь 117
- РАНИ АРЕН. В русском галуте. 133
- БЕНЬЯМИН АЛЕКСАНДЕР. Русь еврейская: опыт
классификации 138

РУССКИЙ ВОПРОС

- ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Советская империя в контексте
русской истории. 148

У КАРТЫ МИРА

- ОЛИВЕР РОЙ. Афганистан, как он есть. 157

ЗАПАД–ВОСТОК

- ИЗРАИЛЬ ШАМИР. Путешествие из Иерусалима в Элефантину,
она же Асуан, или главы из "Путеводителя по Египту"
(окончание) 171

ИЗРАИЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ

- ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Тринадцатое колено 184
- СЕРГЕЙ ШАРГОРОДСКИЙ. "Кто мы, откуда мы пришли, куда
мы идем?" (интервью с Рафи Лави) 193

ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

- НИНА ВОРОНЕЛЬ. Листки из блокнота 199

ЛЮДИ И КНИГИ

- ВАДИМ КРЕЙД. Зайтильщина 213
- М. ЮРЬЕВ. Ш.-Й. Агنون в русском переводе. 218

На последней странице обложки — репродукция с картины Рафи Лави

ПРОЗА

Темнота упала с неба единым движением. Встретившись с чернотой пруда, она образовала темную колонну. Ночь заглушила стук деревянного молотка Бенацерово и гудение примуса. Шимон уже и раньше замечал, как внезапный приход ночи вбирает в себя звуки. Только запахи оставались различимыми. Он почувствовал ржавую сладость чая прежде, чем Эли появился из теней и протянул ему кружку. Мальчик зажег „молнию“, но свет ее, казалось, ежился под давлением темноты. Лишь возле навеса, на земле и туго натянутой холстине, был виден красноватый отблеск.

Веревка задвигалась, когда Эли понес кружку чая в темноту. Теперь она лежала неподвижно, кольцами уползая от слабого света. Ицхак опустился на корточки рядом с Эли и начал открывать жестянки с мясом и вермишелью. Шимон видел точки света на консервном ноже, но не слышал скрежета металла. В это мгновение из джунглей, издали, донесся крик длиннохвостого попугая, высокий и пронзительный. Веревка задрожала, натянулась, затем снова ослабла.

— Я отнесу ему поесть, — сказал Бенацеров. — Он, наверно, захочет побольше соли. Поет, как черт знает кто.

Джордж Штайнер

ТРАНСПОРТИРОВКА ГОСПОДИНА АДОЛЬФА Г. В ГОРОД САН-КРИСТОБАЛЬ

(Окончание, начало в № 18)

Каждый ел в своем конусе темноты. Линия, отделявшая землю от черной воды, исчезла. В воздухе не было движения, но мягкое жужжание, как дальний звук карьера, возникало время от времени в глубинах пруда. Бенацеров вернулся к пятну света, стал жадно пить. Шимон перестал жевать и прислушался. Теперь рация действительно молчала. Он попытался снова восстановить в памяти заразительный голос Либера, вспомнить цвет его кожи. Не смог. Темнота высосала из него все, кроме горького запаха пота и тела, дрожащего в ознобе. Он увидел, что Ашер смотрит на воду перед собой и морщит губы. Ашер мог свистеть, как желтый зяблик, и влажные переливы его свиста пробуждали лес. Но теперь он молчал, повернувшись к навесу и проверяя ногой веревку.

— Пойду принесу его тарелку, — сказал Эли.

Мальчик ощупью добрался до края воды, вымыл кружки и ложки. Он порывисто дышал. Ночь, как промокательная бумага, залепила ему глаза и рот. Когда Эли Барах заслонила свет лампы, Ицхак не мог даже разглядеть своих рук. Он поставил фляжки на землю и, мокрый от пота, заторопился в кусты. В глубине пруда снова возник заглушенный, долгий звук. Он пронзил Ицхака, как судорога.

Когда он, широко переступая через веревку, вернулся к биваку, то увидел, что Ашер и Шимон уже забрались в свои спальные мешки. Рядом с Шимоном лежал его пистолет, чуть поодаль — расстегнутая кобура, рация, цинковая коробка с сывороткой от змеиного укуса и новокаином, большой фонарь. Противомоскитная сетка лежала на лице Ашера, повторяя очертания носа и скулы, подобно паутине на портрете вооруженного воина, готового каждую секунду пробудиться от спокойного сна. Яйцевидная тень, едва различимая в черноте, подсказала Ицхаку, что Барах молится, завернувшись в молитвенную шаль, крепко сжав колени у самого подбородка. Около лампы, на отдели, резко разгорался и гас, описывая дугу, красный уголек. Бенацеров закурил одну из своих грубо свернутых сигар. Пепел осыпался в воду. Мальчик подошел к нему и сел на песок. Он увидел приклад карабина, лежащего на коленях Бенацерова. Лицо Гидеона было повернуто в другую сторону, он глядел на воздух, волочившийся по воде, как черный войлок.

— Я тоже не могу заснуть. Он ведь здесь, рядом.

Бенацеров не ответил. Он не хотел, чтобы мальчишка крутил-

ся около него. Очередное клише, часть расписанного Либером сценария, страницы которого они теперь переворачивали, платя за это, возможно, своей жизнью. Такое найдешь в любом плохом романе. Было время и для плохих романов. Их бумажные бастионы охраняли неприбранную постель на рю де Ренн. Бумажная мякоть, наркотик, дурманящий посильнее мандрагоры. Плохие романы заполняли его мозг, как стружки. Бенацеров больше всех возмущался тем, что Шимон взял Ицхака. Нужно было оставить его в Ороссо — пусть бы присматривал за складами ботанической экспедиции. Бенацеров раздражали помпезные, геройские возгласы Ицхака, это конфетти из старых военных фильмов. Но несмотря на это — а может, именно поэтому, — мальчишка всегда выискивал Бенацерову во время переходов и на привале. Чего бы ему не войти в мир Эли Бараха, в его нехитрый мир молитв и притч? Или научиться у Ашера пить жизнь через соломинку, едва надрезая кожуру апельсина? Вместо этого он приходил со своим терпеливым вымогательством к Бенацерову. Совсем как в банальных романах — сын, выбирающий себе отца.

— Ты тоже не можешь заснуть, а, Гидеон? А карабин у тебя заряжен?

— Нет. Зачем?

— А вдруг он попытается сбежать?

— Куда? Вокруг болота, а если он не утонет, его съедят муравьи. Ты видел, как тогда шевелилась земля? Как будто облако красного перца выпустили. Они живо очистят его кости от мяса.

— На его месте я бы точно попытался сбежать. Не важно, что потом. Я бы зубами перегрыз веревку. Он не может не знать, что мы с ним сделаем. Не может не думать об этом все время.

Разговаривать было легче, чем молчать. Слова улетали с пеплом сигары.

— Что же это мы такое с ним сделаем, по-твоему? — спросил Бенацеров.

— Ух! — сказал Ицхак, запрокинув голову. Копоть ночи оседала на его волосы.

— Там, наверно, все с ума посходили от волнения. Готовятся. Его будут судить высшим судом. Самым высшим. Я бы по-другому сделал. Я уже думал. Совсем по-другому. Тихо и чисто. Я читал про это. Нужно бить молотком, а молоток завернуть в тряпку. Я бы сделал это так, чтобы он знал. Чтобы чувствовал каждую долю секунды. Я бы много раз это делал, не сразу, —

трах, и конец. Я бы привязал его к столбу на куче дров. Высоко, чтобы он видел весь город. Потом бы взял фитиль в сто миль длиной, он бы проходил по всем улицам и извивался вокруг площади. И зажег бы. Пусть видит, как приближается пламя. Ему придется смотреть много часов. Ближе, ближе, еще ближе. А когда пламя почти дойдет до хвороста, я выскочу перед толпой и затопчу его. Своей ногой затопчу. И снова зажгу, на том конце. Можно повесить его на колесе, над баком с кислотой. Каждый день приходят люди, по билетам или номерам, поворачивают ручку, и часть его тела опускается в кислоту. За жену — один поворот, за каждого убитого ребенка — два. Еще можно кол ему в глотку загнать, чтобы не смог кричать. Пока глаза не лопнут. Или зажечь ему яйца тискаами. И каждый день поворачивать. И повесить на стене расписание, пусть знает, когда следующий сеанс. Или с ноги у него содрать кожу и сделать из нее абажур — у него в камере. Или ящик с крысами, знаешь — с голодными крысами за решеткой...

— Ты все это вычитал. Ты не о том говоришь.

— Нет, — сказал Ицхак Амзель, — я бы все это сделал. Все. И потом начал бы по новой. А ты, что бы ты сделал, Гидеон?

— Я об этом не думал. Наверно, отпустил бы его.

Воображение мальчишки воняло, как прокисшее дыхание болота.

— Да, отпустил бы. Пусть себе бродит по Израилю. Дал бы ему только одежду. Все остальное ему пришлось бы просить у людей. И объяснять при этом, кто он такой. Все знали бы, конечно. Все равно, я бы заставил его каждый раз повторять: „Я Адольф Гитлер. Подайте мне хлеба, подайте напиток. Приютите меня“.

— Не понимаю? Тогда почему не отпустить его сейчас? Пусть подохнет здесь, в джунглях! Почему бы нам его не оставить?

— Почему? Не знаю. Ты только представь — он умрет глубоким стариком. Откормленным. Жирным. Жирный немецкий старик в еврейской стране.

Ицхак погладил приклад карабина.

— Если так, я не понимаю, почему ты здесь? Ты меня обманываешь. Зачем ты за ним охотился? Разве он тебе не нужен?

— Ты глуп. Он нужен каждому по-своему. Тебе, например, чтобы воображать, будто ты отомстил за смерть отца. Потому

что ты посмотрелся дурацких кинофильмов: “Храбрый юноша. Пылающий закат. Месть за отца”.

Он попытался сбросить пепел подальше в воду. Но пепел, запутавшись, казалось, в сетях темноты, упал на его ботинок.

— А как он нужен тебе?

— Не знаю. Не так, как Либеру и Шимону. Я думаю, для меня все было иначе — с самого начала. Я не хочу сводить с ним счеты. Тебе этого не понять. Когда я слышу о мести — зуб за зуб, око за око, — меня начинает тошнить. Нет отмщения. И “справедливости” нет. Почему история должна извиняться только перед евреями? Не смотри на меня так, будто ты меня понимаешь. Ничего ты не понимаешь. Тебе кажется, что все это игра, гол туда, гол обратно. Сначала Гитлер поймал нас, теперь мы поймали Гитлера. Теперь мы можем вырвать у него ногти и ждать, пока они отрастут снова. Тебе кажется, что от этого мертвые сразу встанут? Не встанут. Ни один. Даже если ты проведешь этого старика над каждой ямой, над каждой могилой, даже если ты бросишь его шесть миллионов раз в кипящее масло. Ты действительно веришь, что чем-нибудь можно сполна рассчитаться за смерть своих детей. За все, что видела перед смертью шестилетняя девочка? За ее страх, такой страх, что она испачкала трусики и ее обкаканной вытащили на улицу...

Ему рассказали, много лет спустя. Рассказал Мориц Левенфиш, который чудом уцелел и отыскал его в Париже. Мориц был трус, лжец и попрошайка. Он мог соврать. Он мог рассказывать правду. Бенацеров наглухо закрыл свою память. К Либеру он пришел пустым. Зачем вспоминать? Он уже не мог отчетливо вспомнить своих детей. Сколько им было бы сейчас? Шломо тогда было восемь. Какого цвета были волосы у Ребекки? Цвета жареного каштана. Он почувствовал страх и тошноту. Как будто в темном подъезде вдруг шагнул мимо ступеньки. Он повернулся к Ицхаку.

— Думаешь, за это можно отомстить? Неужели ты так глуп? Ладно, не важно. Мы все не умнее. На свете осталось только два вида евреев: или мертвые, или чокнутые.

На этот раз пепел отлетел далеко.

— Вот почему я не хочу, чтобы его кто-нибудь даже пальцем тронул. Если мы его повесим или будем пытаться, получится, как будто за какую-то часть его преступлений мы уже отомстили, зачеркнули ее. Если мы его повесим, история подведет черту.

Счета уплачены. Тогда все забудут еще быстрее. Именно этого они от нас и хотят. Они хотят, чтобы мы сделали это вместо них, чтобы мы возложили всю вину на него. Как огромную корону. Он виновен. Пусть евреи его повесят. Это он все сделал. Видите, сами евреи с этим согласны, а уж кому виднее. Его смерть будет их оправданием. А кровь опять падет на нас. Сперва мы распяли Христа, теперь повесили Гитлера. Бог избрал евреев своими палачами. Кровь всегда на евреях. А все остальные — чистенькие. Понимаешь? Нет, в первом же городе, куда мы доберемся, мы должны его оставить. Пойти в гостиницу, посадить его в кресло и уйти. А потом бежать, отворачиваясь друг от друга, не оглядываясь. Пусть *они* его судят. Пусть *они* делают с ним, что захотят. Это они его породили!

Гидеону показалось, что он выкрикнул эти слова.

Ицхак улыбнулся в темноте.

— Гидеон...

Теперь не нужно было торопиться.

— Куда ты отправишься? Я имею в виду — потом. После того, как мы его передадим.

— Потом? Пойду искать Гитлера.

Ицхак попытался выбрать подходящий смешок.

— Ты думаешь, что это не он? Думаешь, мы поймали кого-то другого?

— Я не знаю. Ты чувствовал его запах? Он слишком уж похож на человеческий. У него понос. Бич господень не может страдать поносом. Настоящий Гитлер — там, в горах. Ты никогда не видел *Reisenbirge*? Как пасть старого леопарда. Серые клыки оскалены прямо в небо. За много миль чувствуешь их ледяное дыхание. Он там, в пасти черных ветров, вместе с Барбароссой и его воинами. Те тоже убивали евреев. Нажми еврею на мочевой пузырь — и из него потечет золото. Я сам это читал — на стене тюремной башни в Шварцберге. Настоящий Гитлер ни за что бы не допустил, чтобы его поймали, и кто — несколько обтянутых кожей скелетов! Ицхак, граната разрывается на тысячи осколков. Этот — лишь один из них. Таких еще много. Тысячелетний Рейх только начался. Я знаю, когда умрет Гитлер. Он умрет в тот день, когда умрет последний еврей. Вот тогда он издаст последний рев, от которого горы пойдут трещинами, и улыбнется, и падет мертвым на каменный стол. Но не раньше. Пока есть хоть один еврей — есть и Гитлер.

Они услышали, как Эли Барах зашаркал по песку, направляясь к навесу.

— Зря ты меня слушаешь. Иди спать. Проверь там керосин и иди спать.

— Я хочу поехать с тобой. Потом.

— Куда?

— В Париж.

Ицхак вдруг ощутил в себе такую легкость, что замахал руками перед фонарем. Тени порхнули, словно мотылек, бьющийся о стекло.

— В Париж. Я буду там учиться на кинорежиссера. О, я знаю, что это долго. Нужно знать языки; они заставляют сидеть по полгода в монтажной и ничего не делать, только смотреть. Но я стану режиссером. Я сам буду писать свои сценарии, как Жан Ренуар. Я сделаю фильм о нас, о том, как люди Либера прошли через джунгли и поймали Гитлера. „Путешествие в зеленый ад“. Широкий экран. Никто еще не научился по-настоящему работать с широким экраном. Я покажу, как индейцы Чава окружают нас и не пропускают, пока мы не оставим им заложника. Или пока один из нас не сразится с их лучшим воином. Я сделаю длинный эпизод: бой и круг зрителей. Ты будешь играть нашего, который дерется. Ты, конечно, победишь, но я покажу твои шрамы. А в конце мы будем, шатаясь, выходить из джунглей — бородастые, прихрамывающие, почти в бреду, и на нас нахлынет огромная толпа. Я покажу море лиц — восторженных, неверящих, изумленных. Мы передадим Гитлера охранникам. Сверху — вертолеты с журналистами, ярко-желтые, камеры направлены прямо на нас. Но я ни разу не покажу полностью лицо Гитлера. Только сбоку или в тени. В последнем кадре будет его затылок, и к Гитлеру идет Либер.

— И их головы превратятся в одну.

— Да. В одну. Помнишь „Умберто Д.“? Я видел его на фестивале старых фильмов. Там был этот старик. Не помню, как его зовут. Я хочу, чтобы он играл Либера, если он еще жив...

— А его затылок ты возьмешь для Гитлера?

— ...Я хочу, чтобы этот старик играл Либера. Там был замечательный крупный план, когда на оправе его очков вспыхивает свет. Я никогда этого не забуду. Камеру, наверно, поставили под углом, снизу.

Бенацеров стряхнул пепел. Сигара почти выгорела.

— Почему ты решил, что я поеду в Париж?

— Ты сам это сказал. Я слышал, как ты сказал это Джону, в поезде. Ты сказал, что Париж — это единственное место, где ты сможешь простить. Нет, не простить. Что-то другое. Не помню точно, но что-то вроде этого.

Ицхак легонько покачался на пятках. Они были теперь старыми друзьями, обсуждающими, как сделать, чтобы все было хорошо.

— И во время лихорадки ты тоже говорил...

„Я слишком много говорил“. В памяти Бенацера встала знакомая картина — безупречно обрамленная, готовая к длительному созерцанию. Столик в пятидесяти метрах от угла площади Фюрстенберг, трилистники уличных фонарей, нависшие над красно-белой скатертью. Только что он прошел мимо библиотеки Сен-Пер и увидел на витрине свою книгу: Г. Бенацеров. „Молчание и Поэт“. Теперь, в ресторане, он заказал себе обед: пирог по-деревенски, беарнский соус с картофелем, а затем Бурсэн с привкусом чеснока и груш, в золотых крапинках, золотисто-коричневого цвета, как послеполуденный свет. Перед ним утренний выпуск „Монд“ с рецензией на его книгу. „М. Бенацеров, чье живое и эрудированное перо... отрывок о Валери, тонкий, четкий, свидетельствующий о таком проникновении... еще одно философское и поэтическое свидетельство... оригинальное прочтение Рене Шара...“. В ноздрях был холодный, земной аромат пирога, солнце дробилось в стакане вина на маленькие вихри и кристаллы красного огня, хлеб был свеж, как утро, колокола Сен-Этьен отбивали половину второго, и их сухой, слоновой кости звук еще различался в плеске фонтана. „Едва я миг отдельный возвеличу...“. Она сидела напротив и ждала, пока Гидеон начнет есть, — светло-каштановые волосы, подобные сентябрьской траве, окутанные мягкими, дрожащими стрелами солнца, ее рука рядом с его рукой, блузка застегнута брошью древнего чеканного серебра, которую спустя всего лишь час, повозившись, он растегнет во внезапной темноте их комнаты. Ее глаза скользили по газетным строчкам, отражая его имя, но изменяя его, как рот ее изменял его рот, как тихий вес ее груди изменял его ладонь. Через мгновение он поднесет хлеб ко рту, пленка снова двинется. Но сейчас его плоть насыщалась этим видением, всеми мечтами, сведенными воедино, и колокола били половину второго, и солнце неустанно танцевало в огне вина.

Глянцевая открытка, приманка для туристов. Сделана из всех чудес и иллюзий трех парижских лет, последовавших за освобождением из санатория в Люндфьорде. „Молчание и поэт” так и не было написано, хотя упорно планировалось. И в ресторане том он действительно был — один раз, смотрел, как ест его друг, которого и другом едва ли можно было назвать. Он даже не помнил его имени. А грудь в его руке была легкой, усталой после короткого сна. Никто не изменял его рта и ладони. Он не хотел отдавать себя — боялся, что некое нестираемое послание в крови передаст ребенку его воспоминания о боли или чудовищном нечеловеческом страхе. Только брошь была настоящей — он сломал ноготь, играясь с ее сложной застежкой. Кто носил ее? Мужчина или женщина? Гидеон не мог уже сказать с точностью.

И все же этот моментальный снимок внутри него сверкал таинственным блеском жизни. На нем запечатлелся иной мир — мир, где все возможно. Отними у души эту иллюзию, и душа скомкается, как пыльная тряпка. Сидеть за столиком ресторана, чувствовать в вине запах лета, написать книгу, слышать шорох бумаги и пожарные фанфары литературных похвал, лежать с такой женщиной в морском шуме парижского дня — все это было ему совершенно необходимо. Эта глянцевая открытка, четкая в каждой своей линии, была воспоминанием Гидеона о будущей жизни.

Он ненавидел ее банальность. Яркий хромовый блеск, фольга. Это было общим для всех тех, кто жил в Париже, читал Бальзака, видел, как Сартр останавливается на рю Жакоб, протирая очки. Надежда как клише, как поднятый палец уличного фотографа. Чем заморозили его эти расхожие чудеса? Его, побывавшего в аду? Бенацеров ненавидел быструю чувственность своих снов наяву. Кусок сыра с привкусом чеснока вставал в его памяти более реальным, чем долгий голод в лесу под Гродно. Когда он пытался вспомнить жену и детей, картина становилась нерезкой, свет слишком голым. Монтаж из ненаписанной книги и женской руки на скатерти обладал поразительной точностью. Человеку, дочь которого сожгли заживо, который пил жижу из канализационных труб, пристали более редкостные, неотразимые искушения.

— ...Нет, не простить. Что-то другое. Не помню точно...

Амзель был близок к истине. Не „простить”. Он никогда не произносил этого слова. Он сказал тогда Ашеру: „стать несерьезным, как гнев ребенка”. Вот что руководило его жизнью в Па-

риже. Ненависть, воспоминания — все отгонялось прочь. Слова одно за другим дезертировали в будущее. Человеку, дочь которого сожгли заживо, жена которого вошла со вторым ребенком в газовую камеру, приличествует более скромное обращение с будущим. Разве что затем, чтобы поторопить время, заставить его вызреть в месть. Но в Париже время набухало книгами, чесночным сыром, серебряной застёжкой броши. Вот почему Бенацеров бежал и разыскал Либеру.

— Назад в Париж? С чего это? Я вовсе не собираюсь возвращаться. Я открываю лавку в Жиаро. Кошерные блюда и высушенные головы.

Ицхак почувствовал, что Гидеон повернулся к нему. Но он знал, что уже потерял его, — Гидеон всегда отшучивался, когда его мысли были далеко.

— Смотри, — сказал Ицхак. — Смотри, что я припрятал. Даже Шимон не знает...

Он стоял на коленях и яростно шарил в своем мешке.

— Смотри, Гидеон!

Он уже снова поднялся, качаясь, извиваясь, как струйка дыма. В руке у него был небольшой продолговатый предмет. Ицхак приплясывал, приглушенно отбивая ногами чечетку в песке.

— Смотри, Гидеон! Транзистор! Японский, Накима! Я купил его в Сан-Паулу. Он ловит короткие волны. Иногда, ночью, если хорошая погода...

— Почему ты его прятал?

— Он мой, — сказал мальчишка. — Мой. Не твой и не Шимона. Он смеялся.

— Прекрати плясать. Зачем ты пляшешь? Ты глуп, Ицхак.

— Я купил его на деньги, которые мне оставил отец, перед тем как уйти. Я потратил на него почти все свои деньги.

— И что в нем толку? Ты все равно не сможешь здесь ничего поймать.

Мальчишка продолжал смеяться, прикладывая палец к губам. Он вертел транзистор то над головой, то на вытянутой руке, и антенна свистела в плотном воздухе.

— Слушай. Разве ты не слышишь?

Он возбужденно шептал. Звуки поднимались, начинали обретать форму. Пруд перестал гудеть. Где-то, совсем близко, лопнул пузырь, и на воде заблестели круги.

Шепот превратился в разрыв помех, поток иголок пронзил да-

лекий лес. Ицхак стоял замерев. Двигались лишь его запястья, поворачивая транзистор то набок, то кверху; антенна, как бабочка, описывала в воздухе осторожные петли.

– Теперь ты слышишь?

И в этот момент Бенацеров услышал:

– Hombre hombre hombre mio...

Свет внезапно собрался в резкое пятно в центре водоема. Темнота оттенила край леса. Гидеон смотрел на навес, на банановые деревья, на тела спящих, чьи темные формы были окаймлены серебряным контуром. В свете внезапно появившейся луны воздух стал более чистым и звуки – более быстрыми. Мимо ноги торопливо пробежал песчаный краб, волоча за собой ленту следа.

– Я поймал что-то. Слушай!

– Hombre hombre hombre mio...

Маслянистое скольжение танго. Ночная музыка. Всегда одна и та же, на всем континенте. Жирная, как пол в лавке.

– Теперь ты слышишь?

Из Сан-Мартина. Или из Ороссо. Нет, в Ороссо нет радиостанции, только рация в хижине у посадочной полосы. Может быть, это новая радиостанция в Вилла Бланка? Через тысячи миль, через безлюдные травянистые степи, сеть водопадов, кляп болот.

– Besame besame hombre mio...

Мальчишка стоял неподвижно, выпрямившись, отведя транзистор от тела. Его глаза смотрели прямо в глаза Гидеона и танцевали, наполнившись странным светом.

– Mioooooii...

Голос женщины поднялся, изогнувшись, как обезьяний хвост, и исчез в горячем биении саксофона. Почти сразу же песня началась снова:

– Salida del sol salida d'amor...

Веревка двигалась.

Ашер резко приподнялся, почувствовав, что она скользит по его руке. Шимон поднял голову. Веревка ползла по песку.

– Flores del mio cor flores flores...

Шимон сел. Медленная тень прошла по полотну навеса. Бенацеров увидел старика – с лицом, подобным гипсовой маске, с приклеившимися ко лбу волосами. Шаркая, он шел к Амзелю, приложив ладонь к уху. Верхняя пуговица его брюк была расстегнута.

– Музыка, – сказал Гитлер.

Мальчишка обернулся.

— Дайте мне послушать... Я давно не слышал музыки. Очень давно, много лет... Blumen... Я очень давно не слышал, как поет женщина.

— Нет! Нет!

Амзель закричал так, что лес зазвенел.

— Нет!

Транзистор замолчал. Крошечная сфера на конце антенны все еще продолжала вибрировать.

— Перестань кричать, — сказал Бенацеров. — Хватит.

Он швырнул погасшую сигару в темную воду.

8

— ...Flores del mio flores...

— Говно! — ни к кому не обращаясь, сказал Родригез Кулкен, продирая глаза и стяхивая с себя прогнившую сетку сна.

— Говно! — повторил он вполголоса, вяло выплевывая это слово в затылок женщины, лежавшей рядом с ним. Он ненавидел эту песню. Ненавидел эту Карметиту Розу, приторный голос которой каждую ночь забивал наушники, едва он пытался поймать сообщение из Бразилии. Он ненавидел эту песню. Ее мелодия, липкая, как сироп, залепляла мозг, как семена манго, прилипающие к гортани. Кулкен провел языком по пеньку зуба, по впадине в верхней десне, слева. Во рту был привкус паленой резины и сна. Омерзительный у нее кофе, нужно же умудриться варить такую мерзость именно здесь, где самые лучшие зерна дешевле грязи. Казалось, что во рту застряло охвостье песни. „Flores ta ta тум та тум mio cog mio cog“. Это было последнее, что он слышал в наушниках. Песня попала под противомоскитную сеть и, жужжа, пробралась в глубину его тяжелого сна.

Кулкен принялся к себе и снова сказал:

— Merde!

Теперь его сознание прояснилось. Поверх протухшего плеча женщины, которая лежала рядом с ним, похрапывая, он видел млечно-серый свет раннего утра. Кулкен всегда держал переднюю дверь нараспашку и закрывал лишь сетчатую перегородку. Индейцы и Руис Манола, начальник складов, владыка всей окрестной земли, — все говорили Кулкену, что он „локо“. Держать двери открытыми, ночью, когда джунгли выдыхают и их ядовитый

выдох движется к Ороссо? Но индейцы, в конце концов, говно, а Руис Манола — крикливая куча навоза. Кулкен разбирался в малярии. Нужно просто жрать побольше хинина и почаще отливать. Свежий воздух никогда еще никого не убивал. А дом все же вонял. Мой его, чисть, ломай ногти в щелях между досками пола — все равно везде разрастается плесень. Ночью слышно, как наползает влажность, и ее голодаяростней голода термитов.

— Ороссо — выгребная яма в аду. Una tettora nel inferno. Ein Scheissloch in der Holle. Une pissoterie en enfer.

Родригез Кулкен повторял эту литанию каждое утро. Иногда он добавлял фразы на португальском, голландском или бороро. Он говорил это перед тем, как опустошал свой мочевого пузырь. Говорил для того, чтобы удостовериться в своей эрудиции, напомнить себе в этом болоте, куда его временно забросила судьба, о том, что существуют и более возвышенные места. Он знал языки людей и многие их народы, он был кондором среди мышей. И еще раз, как бы трубя в рог своей чести, Кулкен сказал:

— Merde!

Потом он встал и перешагнул через спящую женщину, не ударив ее. Он сделает это позже, вгоняя пробковую подошву сандалии в ее поясницу. Она проснется, вытащит жвачку изо рта и ухмыльнется, видя, что он есть. Но сейчас ему хотелось быть одному. Мотив песни все еще жужжал в голове, но уже слабее. Еще несколько минут и можно будет забыть об этой вонючей музыке.

Кулкен смотрел, как бронзовый поток, пенясь, падает в крапчатую чашку. Пиво выдыхалось, пока доходило до Ороссо. Может, Манола в него плевал? А эта сальная сука, которая храпит сейчас под поднятой противомоскитной сеткой, никак не может научиться сделать так, чтоб лед не таял, хоть Кулкен уже сто раз показывал ей и рот ей кровавил из-за этого. Индейцы — дерьмо, что бы там ни говорил отец Жирон. А те, что похожи на людей, — опасны. Не знаешь, чего от них ждать. Как Теку, метис, который привозит из Жиаро мягкие обезьяньи шкуры и резные рыбы кости; про него говорят, что у него договор с Чава. Кулкен вытряс последние капли из члена и выпрямился, спину пощипывало от новой пустоты утра. И тогда он вспомнил.

Ему снился мотоцикл. Мотоцикл пронесся сквозь его сон как раз перед тем, как вспомнилась песня. Все остальное было неясным пятном, но звук мотора был громок, как у 500 сильных

„Хонд“, которые, свистя, неслись по треку в Монтевидео. „К чему бы это Родригезу К. снится мотоцикл?“ — допрашивал он себя, все еще поглаживая свою крайнюю плоть. Ну, конечно, это было в Барселоне, сразу после войны.

Кулкен рыгнул и вдохнул кислотоватую свежесть воздуха.

Барселона, конец весны 45-го. Завести мотор развалюхи „Харлея“ и выехать из холодного двора в белое солнце. Вверх по холму, вниз по крутым извивам дороги, огибая эвкалиптовые сады, и снова вниз по сумасшедшему спуску к гавани. Кулкен был „El diablo“, красная искра, никто не мог его догнать. У него был нюх, он знал, где нужно переменить скорость, а где бросить свое затянутое в кожу тело влево, в ту самую секунду, когда эвкалипты отступали назад и его встречал запах жареного масла.

Все еще сидя, раскинув ноги, на холодном земляном полу, Родригез Кулкен откинул голову назад. Память прорвала плотину.

Фальшивые паспорта. Настоящие люди с фальшивыми паспортами. Только идиоты или бельгийцы путешествуют под своими именами. Р. Кулкен знал, как это делается. Он знал, как проколоть металлическими скрепками плотную бумагу голландского водительского удостоверения, так, чтобы подмен фотографии не был замечен. Знал, где слегка отходит резина в Livret militaire. Его завораживала филигрань ирландского паспорта, а большой палец на его левой руке все еще помнил такую запутанную и все же легкую для подделки перфорацию марокканского permis de sejour. За этот кусок картона он однажды едва не поплатился собственными яйцами. Печать, которую Генеральный Консул Эквадора в Антверпене ставил на визы, хранилась в сейфе — Compagnie des coftre-forts de Liege 1911, — который стоял в простенке между двумя окнами в задней комнате. Замок он открыл шпилькой.

Знать все это — вот что шло в счет. Мозг Кулкена был заполнен остроугольными монадами точного знания. Он знал, где ночной экспресс из Оporto, 9.14, замедляет ход перед тем, как въехать в Лиссабон. Знал, что недостаточно яркий свет на южной оконечности сарая таможни в Фишгарде позволял человеку укрыться, скорчившись в тени, и дожидаться перерыва, который наступал в 10.55, после второго парома. Знание. Не тот туман, что завлакивает мозги обыкновенных людей. Кулкен заучивал только те единственно подлинные истины, что существовали в человеческом

мире: расписания, грузовые регистры, указы Бюро стандартов, правила подачи прошений о визах, опросные листы княжества Лихтенштейн, удостоверительные бумаги панамского отдела регистрации флагов, „Коммерческий бюллетень Банка Нигера“, ежемесячный информационный журнал „Agence Navas“ и „Zettel fur Devisenhandel“ дюссельдорфского „Финансового общества“. Он знал, как ведется учет векселей в Триесте, знал имя дочери диспетчера-вдовца с сортировочной в Бергене. Она любила нейлоновые чулки и желтые пластиковые плащи.

— „Mio cor flores del mio“.

Эта песня — дерьмо. Такая же подделка, как разрешение на импорт тикового дерева из Гондураса. Правда жизни говорила с разграфленной бумаги языком колонок неподкупных цифр. Никто не может оставаться неизменным слишком долго, все внутри пусто и меняют направление, как флюгера. Тот факт, что брод в Мексику в девятнадцать милях к юго-востоку от Хуареса никогда не подвергался осмотру до полуночи во вторую среду каждого месяца между октябрём и июнем (результат пристрастия шерифа из Смолл Спрингс к мексиканской водке), был вещью ощутимой и прекрасной. Такая вещь не раскрошится в ладони. На это можно смело поставить свою смертную душу. Родригез Кулкен делал это дважды.

Не то чтобы его документы были фальшивыми. Но как они могли быть подлинными? Кулкен вспомнил свою мать. У нее был зеленый джемпер — все его детство, казалось, было этим джемпером окутано, — и ее волосы пахли миндалем. Он не мог отделить этот запах от воспоминания о гравиевой дорожке позади пансиона в Остенде, где они, непонятно почему, бездельничали в начале тридцатых. Кто был его отец? Тот фламандец говорил: хиромант с ярмарки в Цинциннати — и все косился на брови Кулкена, цвета льна и перца. Но парикмахер в “Исеготеле”, накладывая на его лицо горячее полотенце, предположил другое: “У мосье изящный рот — семитский”. Все это не имело значения. Когда приходилось, он сбрасывал свою кожу. Оставлял ее в камерах хранения на вокзалах и на вешалках в пустых стальных шкафах гостиниц. Змеиный век — люди ходят в чужой коже. Есть еще уроды, которые знают своих отцов, которые родились и выросли в одном и том же доме. Тополя повержены, и их корни торчат из канав мертвыми спутанными клубками. Доброе время

для длинноногих и тех, кто умеет отбрасывать сразу несколько теней. Когда падают бомбы, дороги сами начинают бежать.

Однажды они едва не поймали его, на Главном почтамте в Женеве, у окошечка с надписью „До востребования“. Он забыл номер своего ящика. Замешкался на минуту и услышал sireны полицейских машин на улице Бергес. Кулкен ненавидел этот номер, но с тех пор запомнил его навсегда. 832. Бег был не на жизнь, а на смерть; он все же успел добежать до трамвая. Где же он пересел на трамвай северной линии и оторвался от них?

Снова закричал петух – словно яркие ножи завертели в утреннем воздухе. Кулкен подтянул пижамные штаны и вышел из уборной. Вонючий петух. Его крик спугнул прошлое, и буйные его краски блекли на глазах.

Кулкен прицелился слишком высоко. Сандалия шлепнулась в стену сарая. Петух приподнял ногу, и Кулкена вдруг поразила ее жестокая, древняя форма. Его ярость утихла, и он побрел к дому, чувствуя между пальцами ног влажную глину.

– Cojones!

Он выдохнул это слово, как приветствие солнцу, лучи которого разливались над рогатым хребтом Кордильер и рассеивали туман, тянувшийся через Ороссо с водопадов. Он оглядел беспорядочную грудку тела женщины, увидел, что рубашка задрана высоко над ее ягодицами, и лег.

Он слушал уже три недели. Пока не начинало ломить в глазах. Кожаная дуга наушников стала черной от пота. Проклятые Айалон и Нимрод! Он продирался сквозь атмосферные разряды и маслянистый поток музыки из Пернамбуко или Рио – громкие, призрачные любовные восклицания пронизывали пампу и амазонские леса. Потом выплывали переставленные местами буквы и отрывки из Малахии и Чисел. Сквозь стук отбойного молотка в черепе он продирался к вязи названий из пятнадцатой главы книги Иисуса Навина:

– ...Кириаф-Вaal иначе Кириаф-Иарим и Данна и Кириаф-Санна иначе Давир и Елфолад и Кесил и Хорма...

(последнее повторено еще раз, за ним следует сигнал, означающий Исход 30, 24)

– ...Кассии четыреста сиклей...

(как указал „контакт“, в тексте должно быть *пятьсот*)

– ...По сиклю священному и масла оливкового гин...

На этом слогe Родригез Кулкен обнаружил, что тупо смотрит прямо перед собой, в стену, как опьяненный наркотиками.

Потом, в какой-то момент, когда дождь, хлещущий по крыше, особенно мешал расслышать шепот, доносившийся из джунглей, сообщение стало нитью извиваться по 33-й главе Чисел:

— ...И отправились из Киброт-Гатаавы и расположились станом в Асирофе и отправились из Асирофа и расположились станом в Бене-Яакане и отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде...

Потом был Матфей 1, 12–15, в котором все рождения были переставлены, так что Ахим родил Салафилия, а Садок оказался прадедом Иехонии.

От Кулкена не требовалось расшифровывать. Пусть в конторе в Монтевидео ломают головы насчет „Голана в Башане со окрестностями“, пусть Лондон догадывается, почему фраза из 2-й книги Царств, 9, 10, фигурирует трижды — это было в ту ночь, когда передатчик вышел на связь в трех градусах к юго-западу от Жиаро; каноническое число слуг, однако, было уменьшено, фраза изменена:

— Мемфивосфей же, сын господина твоего, никогда не будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать три раба...

За ту крысиную подачку, что ему бросили, Кулкен и так делал достаточно. Были ночи, когда его пальцы набухали и превращались в бледных гусениц — так много приходилось писать, пытаясь разделить слоги, различить их в треске и шепоте, летящем над джунглями. Он чувствовал, как кровоточат его уши; в них словно засели колючки.

Кулкен понял. Понял давно, еще с самого начала. Даже этот ублюдок Манола понял. Охотники за орхидеями? Не та компания. Охотники за людьми. Евреи-охотники. Манола понял это почти сразу же, еще тогда, когда их мальчишка пришел на склад со списком снаряжения: крючки для ловли рыбы, нейлоновая леска, зажигалки военного образца (списанное снаряжение американской армии), бензедрин, брикеты, хинин, карабины 38-го калибра, сульфамидные препараты. Когда они попросили носилки, с дополнительными шестью, Манола, у которого носилок не было, сказал:

— Тяжеловатые у вас орхидеи — небось, ревматические.

Но мальчишка даже не улыбнулся.

Кулкен помнил другие „ботанические“ экспедиции. Одна из них вытащила Эйхмана и Штанглера. Другая оставила Оттмара Кюнхардта на городской свалке в Пунта Бланка. По слухам, у него были выколоты глаза. Третья едва не поймала Менгеле.

Но здесь охота явно шла на более крупную дичь. Кулкен знал это — еще до того, как прыщавая гнида-“контакт” в Монтевидео ему рассказал. Евреи продолжали искать Бормана. Они не отступались, несмотря на множество ложных следов, на гибель их лучшего человека в Паранье. Мартин Борман, как рыба кость, застрял в их горле.

Вот почему Кулкена попросили взять отпуск по болезни — рецидив желтухи — и приехать в Ороссо. Задница мира. Он сидел здесь, по уши в говне, вот уже три недели, перехватывая сообщения, передавая в Монтевидео странную болтовню Нимрода и то, что удавалось расслышать из ответов далекого Айалона.

Кулкен был уверен, что они его не найдут. В этом аду? Живого? — никогда. В лучшем случае, найдут у индейцев чашку, сделанную из отполированного бормановского черепа. Идиоты. Они променяли трезвую реальность на призрачные мечты, и от этого их мозги протухли. Родригез Кулкен не был антисемитом. Он давно составил свое мнение о евреях — еще в ту пору, когда наблюдал, как они унижаются и умоляют о визах в Лиссабоне. Сопли рода человеческого. Время от времени каждый должен высморкаться и облизать пальцы. Кулкен любил ковырять в собственном носу, в особенности после секса. Убивать евреев — какая черная неблагодарность. Все равно что *слишком* чисто сморкаться.

Нет, он не желал бедным придуркам ничего дурного, лишь молился, чтоб они поскорее бросили свою дурацкую затею.

Их затея ему надоела, его тянуло выблевать все это; он нахлебался до отвала. Господи, упаковать манатки и вернуться на берег! Сигналы становились все слабее и загадочней. Однажды всю ночь слышно было лишь ночную музыку из Бразилиа. Жгучая боль резала глаза; стрелка металась по дуге танго и разрядов. И вдруг

В первом часу утра.

Родригез Кулкен вздрогнул. Его нелегко было застать врасплох, но от этого крика даже у него натянулась кожа на висках. Крик из леса, белый и острый, как снеговой кристалл:

— Один тридцать шесть. Один тридцать шесть. Хвала Господу...

Как будто в его наушниках пел близкий огонь.

— ...Уничтожил величайших царей, ибо слава его пребудет во веки...

Крик пронзал до глубины души. Он ослеплял.

— ...Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Айалонскою...

Без шифра. Крик триумфа, который пронизывал утренний воздух и все еще отдавался в ушах Кулкена.

— И не было такого дня прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий.

Кулкен напряг слух, пытаясь поймать ответ — звук труб и бубнов с востока. Он задержал дыхание, вены застучали в его шею. Тишина. Ни одного слога. Он передал новость в Монтевидео. Там это ничтожество-“контакт” поднимает свою мягкую задницу, причешется и отправит сообщение в Лондон: *Orchidacis muscata amaronia*. И примет поздравления.

Кулкену было приказано продолжать. Приказано составить карту движения партии на обратном пути в Жиаро. Он слушал, пока не затрещала спина. Похоже, что у них испортился передатчик. Он спал, слушал снова. На вторую ночь — опять тишина. И „*Flores del mio cor flores*”. Он опять повалился под сетку, отупев от изнеможения. Вчера.

Кулкен прикрыл распухшие веки. И тут его мысли проскочили какую-то ступеньку. Его затрясло. Ведь это не сон о мотоцикле! Над крышей действительно кашлял и выл мотор. Это его и разбудило. Мотоцикл, черт! В Ороссо приземлился самолет. Сразу после рассвета.

В дверном проеме, заслоняя свет, появился человек. Глаза Кулкена широко раскрылись. Он увидел аккуратную шнуровку и желтую кожу ботинок. Американец! На этот раз Родригес Кулкен сказал в полный голос:

— Scheisse

Когда Господь, да славится Имя Его, диктовал Тору рабби Иегуде бен Леви, — что сильно противоречило Его инстинктам, ибо до тех пор Слово было живым и семенем горело в плоти, ибо не было записано, — могла ли быть допущена ошибка? Оттого ли, что скользнула игла, оттого ли, что воск дощечки под-

таял в бронзовой жаре вавилонского дня? Или оттого, что в ухо Иегуды залетел комар? Или, может быть, оттого, что Господь на миллионную долю секунды отвлекся от диктовки? А может, оттого, что Господь, да простит Он мне богохульную мою мысль, немедленно решил бросить в щедрый урожай Своего дара один-единственный плевел, один неправильный акцент, одну неправильную букву, одно слово, стоящее не на своем месте, чтобы из него выросло черное дерево наших страданий? Его ветвь, как нож, режет сейчас пальцы моих ног, она — гной, набухающий в моей пятке, кислота в моем спекшемся рту, красный крик моей шеи в том месте, где натирает тук. С того дерева — зеленые мухи, висящие на влажной язве у меня в промежности. Черное дерево жизни, чьи тени окутывают мои ноги сетями, насылают болезнь на мой мозг. Чьи корни поднимаются из болота, чтобы схватить меня, чьи ветви ударят меня по лицу, когда я шагну вперед (теперь же, о Господи, да славится Имя Твое, я падаю), чей помет — слизь в моих волосах и вонь, и вонь, и вонь.

Но я не упал.

Какое слово? Какая буква, знак гласного, число? Может быть, одна-единственная цифра в исчислении людей или в количестве локтей терпентинного дерева, потребного для внешних колонн скинии? Какой йуд пропущен, который гимел переставлен среди трех миллионов одиннадцати букв Торы, что, став несовершенной, принесла человеку не мир, не любовь, не чистые воды, но вонь болота, бритву в моей стопе, иглы в моих плечах, там, где горит ремень? Не льняные простыни, чтобы лежать в них вечером, а вонючее резиновое полотно у меня в руке. Не шаги ребенка в освещенном доме, а его шаги — я слышу их позади, у корня, где я споткнулся. Чуть не упал. Хвала Тебе, ведущему нас.

Какое слово, какое слово?

Высокоученый Исаак из Сарагосы объявил, что ошибка содержится в книге Бытия, 22, 1. Господь мог приказать старику принести в жертву сына, но никогда не стал бы *испытывать* его. Испытание отвратительно, как память о голубом воздухе и открытом море здесь, в котле трясины. Натаниэль бен Натаниэль из Гданьска предположил — в 1709 году, — что рабби Иегуда неверно записал — о уродливая тайна прозрения! — стих Исхода 15, 20, ибо, хотя правильно танцевать при виде тонущего воинства фараонова, неправильным было бы *бить в тимпаны*. Этот танец, — он, долж-

но быть, был тяжеловесным, молчаливым, как парение пчел в джунглях.

„Я долго не продержусь, — подумал Эли. — Пот ослепляет меня и привлекает мух. Они покрывают мой рот“.

В Майнце Эфраим-Каббалист говорил ученикам, что ошибку можно найти в 26-й главе книги Чисел, так как 78 — монограмма Таммуза повешенного, 38 — градус Меркурия в созвездии Рака, а 26...

О Господи, дай мне сделать еще двадцать шесть шагов, прежде, чем я упаду и нож выйдет из моих ног и холодная вода

Но Эфраима сожгли, а Гамалиэль из Мессины, мудрейший из мудрых, написал измененным почерком мидраш, который нашли только после его смерти, где утверждал, что само Имя Господне в Торе, да святится Оно во веки веков, что даже это Имя, которое не имеет права произносить ни один смертный, что Оно — по сравнению с истинным Именем — не более, чем навоз вблизи рубинов. Каждый раз, взывая к Нему, мы ошибаемся, квакаем, как жабы в зеленой накипи. Каким бы ни было Твое Имя, вскрой нарыв у меня под мышкой, выведи меня на твердую землю. Шимон падает. И мальчик кричит. И мухи в моем дыхании. Мое дыхание вони подобно. Мой Учитель, Соломон Бартов, сказал нам, что неизгладимая ошибка, пролом, сквозь который на человека ринулось зло, находится в книге Левит, 10, 5 — слово *и*. Он произнес это с такой печалью, что ни один из нас не осмелился его расспрашивать. Мы склонились над текстом в лихорадочном удивлении. А он начал петь и выгнал нас из хедера, как мышей, чтобы мы не видели, как песня поднимает его с земли. Соломон Бартов, цадик, корчившийся на костре в Гродно.

Лучше бы я был там вместе с ним. Так было бы быстрее. Быстрее, чем эта красная царапина на шее. Быстрее, чем этот переход, подобный многим смертям. В смерти по пояс, и там, где набухает гной — смерть, и там, где ремень растирает кожу — тоже смерть. Богохульство. Мухи на моем языке. И *этот* не отстает. Я слышу за собой его шаги. Он сильнее, чем вчера. Он слегка подпрыгивает, как старый испуганный человек, как старая кукла, прыгающая подобно человеку. Я знаю теперь, что это за слово. Вторая глава Второзакония, двадцать пятый стих: *вострепещут*.

Бенацеров трепещет, его дрожь не унимается. Это началось с утра, медленное биение какого-то поврежденного, лихорадочного пульса под кожей. Углы его рта растягиваются, пот стано-

вится холодным между пальцами. Эли Барах видит спину Гидеона; под почерневшей рубашкой, под ремнем карабина и шнуром с флягами дрожат ребра и позвоночник. Через каждые несколько шагов под кожей Гидеона проходит барабанная дробь. Эли чувствует запах пота от волос Гидеона и еще более горький, чем запах пота, — запах лихорадки. Шимон тоже знает. Об этом можно судить по его частым коротким остановкам, по решению перевести Ашера в замыкающие.

Лихорадка заразила лес. Ил дрожал под их ногами. Свет дня вибрировал, остро вспыхивая над мокрыми дрожащими ветвями. Бенацеров стиснул зубы и шел сгорбившись, будто нес через топь хрупкий груз с острыми краями. Время от времени он наклонялся и сдавленно кричал.

Они остановились там, где из болота выдавался холмик, покрытый травой с лезвиями выше человеческого роста. Ицхак Амзель сел посреди травы и стал отщипывать кусочки кровоточащей коросты. Шимон положил руку на левое плечо Бенацера. Он почувствовал, как трясется рука. Их лица сблизилось в плотном воздухе.

— Гидеон. Mensch.

В теле Гидеона бился электрический угорь. Бенацеров сжал зубы, готовясь к следующему рывку.

— Ты принимал хинин?

Этим утром Ашер высыпал порошок в его нетвердую ладонь.

— Ты должен принять еще. Ты развалишься. Хочешь, мы тебя понесем? *Он* может идти сам. Он ловок, как козел. Согласись — ты не можешь идти дальше.

Низкий крик. Зубы Гидеона разжались.

— У меня бывали худшие приступы. Не нужно останавливаться. Не здесь. Не в болоте. Если дойдем до сухого места...

Его пронзил спазм. Шимон сжал руку.

— Ты должен выйти живым. Даже если нам придется для этого остановиться на неделю.

— Оставь меня в покое, Шимон. Когда я иду, мне лучше.

Птичье яйцо лежало в грязи, у ног Ашера. Он нагнулся ближе. На скорлупе роились красные точки — болотные вши. Он наклонился еще ближе. Ему почудился звук — будто далекое царапанье ногтем. Он почувствовал сернистый запах.

Теперь они продирались сквозь каплющую водой сеть. В пер-

вый раз Ашер был передним. Шимон пошел сзади, чтобы быть рядом с Бенацеровым.

Шесть человек брели через болото по колено в жиже. Вода отливала нефтью. Мачете прорезало в лианах безветренный туннель. Крысы бросались прочь, сверкая слепыми, налитыми кровью глазами. Между ударами Ицхак Амзель разговаривал сам с собой.

Мы в канализационных трубах. Они проходят под стеной гетто на запад—юго-запад, но мы пропустили нужный люк. Если я подниму сейчас крышку, на лицо мне опустится сапог.

Он рубил все быстрее. Слишком быстро. Он тратил силы и резал слишком высоко, так что шипы травы хлестали их по ногам. Каждый вдох рассекал грудь. В воздухе не было жизни. Казалось, трясина миллионы лет вдыхает и выдыхает все тот же мертвый воздух. Чем глубже дышишь, тем сильнее задыхаешься. Как в герметичной резиновой маске.

Ицхак пытался отмахнуться свободной рукой, но ветви тяжело легли на его лицо. Он согнулся пополам задыхаясь. Позади ждал Ашер. Мальчик почувствовал, как что-то сверлит его голову. Звук, превращаясь в белый скрежет, заполнял уши. Он замолчал головой, пытаясь вдохнуть. Мачете тащило его вниз. Он терял сознание. Звук был слишком громким. Он спиралью извивался в воздухе, над ним и позади. Гитлер быстро заговорил, указывая вверх:

— Как бомбардировщики. Rrrrrrrr! Массированная бомбардировка.

От лихорадки на ногах Гидеона открылись язвы. Висевшая высоко на дереве, донимаемая вшами во сне коричневая гроздь почуяла запах крови. Коричневый, покрытый мехом виноград взорвался. Летучие мыши стали падать, блестя крыльями. Они обнаружили просвет в ветвях. Они разворачивались в горячих тенях, пронзительно вереща. Их коричневые кожистые крылья хлестали по камышам. В безумии полета они шарахались от бьющих руками во все стороны людей. Но колючие кусты и пустоты ветвей не выпускали их. Они ныряли на горячий запах в густой траве и скрежетали.

— Rrrrrrrrr! — сказал Гитлер, увертываясь.

Летучая мышь унесла пучок седых волос, зажав его изломанным большим пальцем. Коричневая тень впилась в колено Ашера. Он с силой ударил, и летучая мышь на мгновение опрокинулась на спину, показав дымный живот. Она тут же взлетела вертикаль-

но вверх, в нескольких сантиметрах от его лица, со скрежетом, который прошелся по его зубам, как напильник.

— Die Vampiren! — закричал Гитлер. — Кровососы!

И замахал руками перед лицом. Что-то скользнуло по волосам Ицхака. Звук хлестнул по его черепу, как проволока. Летучая пиявка снова развернулась в атаке. Он видел ее глаза, зеленые, как плесень, и сжатую кожу вокруг мокрых ноздрей. Лисьи уши были подтянуты в полете. Он стоял замерев, мускулы шеи вздувались. Летучая мышь бросилась вниз, вильнула, ее слюна попала на щеку мальчика. Амзель громко закричал. Он дико замахнулся мачете и закричал снова.

Маленькая летучая мышь корчилась среди листьев, ее крыло было прижато ногой Шимона. Другое крыло хлестало по воздуху. Яростное шипение раздвигало ее зубы. Шимон наклонился, ему захотелось дотронуться до обезумевшего животного, провести пальцами по этому трепещущему корсету. Мышь смотрела на него, ее глаза вылезали из орбит. Она замерла на мгновение, растопырив лапы. Шимона поразил изящный изгиб ногтей. Руки слепого ребенка. Кусачее животное взорвалось, покрывшись пеной, пытаясь вырваться. Шимон опустил приклад и услышал, как треснул ее череп. Крыло взметнулось и упало. Шимон отдернул ногу. Там, где лежала мышь, земля вдруг ожила. Белые черви облепили живот летучей мыши, навозный жук вонзил свои клещи в мертвое крыло.

Он услышал крик Ашера и уклонился от свистящего лезвия.

— Прекрати! Перестань размахивать этой штукой! Ты мог срезать мне голову! Они тебя не убьют!

Летучие мыши вырвались сквозь пролом в стене листьев и скрылись из виду. Но их скрежет и острый запах, казалось, еще висели в воздухе.

Гитлер посвистел и сказал:

— Все чисто. На закате „штуки“ улетают домой.

Нападение не прошло бесследно. Ноги и тела казались ватными. Даже Шимон, который забрал у мальчика мачете и снова шел впереди, сгорбился и громко дышал открытым ртом. Сзади он слышал икоту, сотрясавшую тело Бенацеровца, и звук этот подгонял его. Ашер тоже чувствовал запах разлада — мускусный, как запах летучих мышей. Он знал, что Шимон изменил маршрут, потому что солнце, пробивавшееся сквозь туннель ветвей, резко скользнуло в сторону. Но он не заговаривал об этом, не

спрашивал Шимона о причине. Их подгоняло сознание того, что еще одна ночь на болоте будет смертельной. Они передвигали в жиже ободранные, вонючие ноги, слепо рубили тени, встававшие перед их лицами, и каждый бился в сети своей паники, охваченный страхом отстать.

Они передвигались быстро — сперва по впадине, заполненной серой грязью, затем в сплетении кисточек древесного мха, чьи косички кишели повисшими на клешнях жуками.

К вечеру воздух посветлел. Шимон почувствовал прохладу на губах, дуновение живого дыхания у себя на лице. Стена растительности становилась тоньше. Свет уже не дрожал, и в первый раз с тех пор, как они брели по болоту, Амзель увидел целиком свою тень. Растения расступились. Вода текла по тонким, заросшим сорняками каналам; зеленая грязь капала с ботинок. Вскоре они уже слышали свои шаги. Лопающиеся пузыри газа, плеск маслянистой воды, шлепанье ветвей, хриплое дыхание постепенно сходили на нет. Запела цикада.

Один раз Эли споткнулся и упал. Его тело было таким изможденным, что лежало на траве, как дым. Он улыбнулся и стал подниматься. Ашер сказал, что чувствует поблизости чистую воду. Небо на западе, за частоколом деревьев, было ясным.

— У этого человека лихорадка. Он заразит нас. Его нужно лечить.

Шимон замер. Голос старика.

— Я знаю про лихорадку. От нее умер Корбер. Говорю вам, ему нужен отдых. И хинин. И горячее питье. Говорю вам...

Голос старика. Он свистел в воздухе, как коса.

— Посмотрите на него. Если мы от него заразимся, мы тоже умрем. Ни за что ни про что. Как крысы. За ними не нужно было даже охотиться — они сами прогрызались в хижину, чтобы сидеть у огня. И жирели, раздувались. Корбер ловил их, он зажимал в зубах хвост крысы и махал. Но он подцепил лихорадку. Ты! Иди сюда и ложись! Укройся! Вот так. Так оно лучше...

Бенацеров сбросил с плеч тюк и тяжело повалился на землю. Невозможно было втиснуть лекарство в его перехваченное судорогами горло. „Женские пальцы“, — подумал мальчик, наблюдая, как Гитлер высыпает порошок из пакетика в ладонь Гидеона. Тени приблизились, и формы стали неразличимыми в слабом свете маленького костра. Все слишком устали, чтобы ставить навес. Даже здесь, на краю болота, земля была влажной, как губка.

Ашер стоял в стороне, пытаясь различить восходящие в южном небе звезды. По его оценкам, они сошли с курса почти на десять градусов. Шимон стоял спиной к нему, склонившись над дрожащим, хрипло дышащим Гидеоном.

— Я знаю, что с ним будет. Этот человек умрет, — прошептал Гитлер. — Даже если придет помощь. Слишком поздно. Лихорадка сидит у него в кишках.

— Заткнись! — сказал Шимон, понизив голос.

Пленник бочком отошел в сторону и принялся крутить пуговицу на своем сером кителе.

Камыши затрещали. Шимон увидел блеснувшие золотом глаза выдры, на мгновение заглядевшейся на огонь. Камыши сдвинулись вновь, но влажный запах шерсти остался в воздухе. Ашер не мог различить созвездия — звезды, висевшие над верхушками деревьев, мерцали, таяли. Далеко на юге, из сожженной степи, поднимались облака.

Барах представил себе лихорадку в виде ящерицы, колючего, ловкого животного, которое бежит внутри Гидеона. С трудом удерживая напухшие веки, он наблюдал, как она крадется по бедру Бенацерава, царапает у того в паху. Изредка она изрыгала яд прямо в рот Гидеона, и тогда ручеек слюны стекал из уголка его губ. Эли Барах наклонился поближе, напрягшись, собрав всю свою волю, всю любовь к Гидеону на борьбу с дрожащим червем. Силой своей неподвижности он проникал в плоть Гидеона. Тело, находящееся в молитве, весит больше, чем кедр, сказал Итиэль бен Тов из Саламанки, когда языки пламени коснулись его.

Дрожь утихла. Зубы Гидеона разжались, вена на его виске стала более плоской. Эли наблюдал, не двигаясь, изогнувшись, как натянутый лук.

— Эли. Эли.

Барах подскочил. Он задремал? В доме нуждающегося? Костер почти догорел, на юге громоздилась чернота, более плотная, чем ночь.

— Эли, это ты?

Глаза Гидеона были открыты и горели лихорадкой.

— Эли, где мы?

— Почти выбрались из болота.

— Да? Быстро слишком. Не должны бы. Еще нет. Мы ведь хотим в Жиаро. Мы сошли с курса. Точно.

— Шимон знает. Если бы мы не срезали на восток, пришлось бы ночевать там, и мы никогда не выбрались бы живыми. Посмотри на меня. Я упал и сидел, как больной ребенок, когда мы сюда дошли. И ты. Слава Богу, что мы выбрались. Остаться там — как лежать в могиле.

— Может, это и нужно было. Мы должны были остаться там. Охранять его. Не давать ему спать. Заслонять его от ветра. Он пережил бы нас. Наши кости тогда стояли бы на страже. Он умер бы медленно, в кругу из наших костей. И не знал бы вновь ни сна, ни свежего ветра. Чувствуешь ветер? Нет, мы не должны были выходить из болота. Слишком рано. Теперь он спит. Совсем как человек. Чувствуешь? Я мог бы коснуться его рукой.

— Укройся. Попытайся заснуть. Укройся, Гидеон. Когда мы придем в Жиаро...

— Когда?

— Ты уже снова будешь здоров. Теперь уже скоро. Но тебе нужен отдых.

— Я буду как новенький, Эли?

— Еще лучше. Да.

— Я устал. Я устал от себя. Устал от своего запаха. В болоте я знал, где я. И кто он. Теперь... — его пальцы судорожно разжались. — Теперь он спит — как любой другой человек. Он может видеть звезды. Вот и все, чего мы добились. Смотри. Красная, низко на северо-востоке. На болоте он не мог видеть ничего. Только вонь, тяжелый воздух. Зачем нам идти в Жиаро?

— Укройся. Ты скоро встанешь на ноги. Придет помощь. И холодное пиво. И новые ботинки. И мыло. Хочу держать в руках огромные куски мыла. Либер ждет нас в Сан-Кристорале. Может, еще ближе.

— Либер? Ты когда-нибудь видел Либера?

— Конечно. В тот день, на пароходе. Ты тоже тогда его видел. Конечно, я видел Либера.

— Как он выглядит?

— Как он выглядит?

Эли засмеялся — во всяком случае, ему так показалось.

— Ты разве не помнишь? У него были очки. Солнце резало глаза, как нож, так что он был в темных очках. И круглая шляпа. И старый плащ, с поясом.

— Какое у него лицо?

— Лицо? Лицо как лицо. Да, совершенно обычное. Я не заметил. Не сбрасывай одеяла. В каюте было темно.

— Эли...

Шумы болота все еще громко звучали в камышах, и Эли Ба-рах наклонился ближе. Спина напряглась, ему захотелось ее растереть.

— Эли, — сказал Бенацеров. — Без Гитлера — где Либер? Эли, постарайся понять. Я не сошел с ума, еще нет. Либер — это человек, который душит свою тень. Без Либера не было бы Гитлера. Не отворачивайся, слушай. Я не говорю, что Гитлера никогда не было. Или не могло быть. Но его не было бы сейчас — спящего рядом с нами, под звездами. Вот почему мы никогда не видели лица Либера. Никогда не видели его целиком. Я не сошел с ума. У либеровской страсти — вкус рвоты. Я не хочу видеть их вместе. Когда вы доберетесь до Сан-Кристобалья, меня уже не будет с вами. Не нужно мне этого. Работа выполнена. Мы должны оставаться здесь или вернуться на болото и там...

— Гидеон, мы все молимся о пришествии Мессии. Непрестанно. Каждую секунду где-либо в мире кто-то из евреев призывает Мессию, умоляет его прийти, поторопиться. Но есть и такие — о, их немного — скрытые, что шепчут Ему, чтобы Он *не приходил*. Они знают, что суд и конец времен будут ужасней, страшнее для человека, чем все земные бедствия. Евреи — фитиль. Огонь Бога проходит сквозь них к самым корням, и они обращаются в пепел. Мы откладываем пришествие Мессии, мы задерживаем его, чтобы Его справедливость и Его отмщение не уничтожили человечество. Либер — один из сокрытых, Гидеон...

— Ерунда. Позлащенные слова. Ты творишь из них свой хлеб. Их запах для тебя — родной, как запах собственного дерьма. Ты поешь сам себе. Даже на болоте. Я слышал. Когда мы все сходили с ума от жажды, ты пил слова. Притчи учителей, сокрытые семьдесят два имени Неназываемого. Все — слова. Мы ведь народ слова, так, кажется, нас называют? Так вот, послушай-ка, сокрытый...

— Не надо, Гидеон. Не сбрасывай одеяла. Ты весь дрожишь.

— ...он, спящий сейчас рядом с нами под звездами, он тоже хозяин слов. Он лучше, чем Гиллель, чем Акива, гораздо лучше, чем тридцать шесть праведников...

— Постарайся согреться. Ночь становится...

— Он мог повелевать с помощью слов. Слова танцевали для

него. Они зажигали камни. Они пьянили людей или забивали их до смерти. Мы, евреи, слишком много говорим, Эли. Пять тысяч лет мы только и делали, что говорили. Заговорили себя и весь мир до полусмерти. Поэтому он и обратился на нас, поэтому ему удалось вырвать у нас кишки. Он тоже — человек, слова которого заглушали голос жизни. Он и мы. Он и Либер. Вот почему они нуждаются друг в друге.

— Замолчи, ты только делаешь себе хуже, — сказал Эли Барах и поправил одеяло. Оно было мокрым от росы. Некоторое время Гидеон молчал. Потом вдруг спросил:

— Эли, где ты?

— Здесь, Гидеон. Здесь, рядом с тобой.

— Ночь чернее, чернее ночи. Видишь, я могу говорить совсем, как ты.

— Над нами облака. Они, как горы.

— Знаешь, Эли, были и такие, которые говорили...

— Что говорили?

-- Что он — один из нас.

— Ложь. Глупая ложь.

— Все сожжено. Деревня, где родился его отец, снесена с лица земли. Архивы в Линце вывезены через неделю после того, как он стал канцлером. И та могильная плита в Бухаресте. Фамилия „Гитлер“ под шестиконечной звездой.

— Ложь. Выдумки журналистов.

— Бродяга из ниоткуда. Актер. Повелитель слов. Посмотри на его рот, даже сейчас, когда он спит...

— Ничего не видно. Темно. У него на лице рука.

— Его рот двигается. Он разговаривает во сне. У него рот актера. Рот еврея. Как твой. Слова толпятся за его гнилыми зубами. У него зудят зубы.

— Он прикрыл лицо рукой. Ты не можешь этого видеть. Я и своих рук не вижу. Укройся, Гидеон. Ты дрожишь.

— Вот почему ему нужно было нас уничтожить. Он не знал покоя, пока хотя бы один из нас оставался в живых.

— Ты бредишь, Гидеон. У тебя лихорадка. Попытайся уснуть. Ты должен отдохнуть. Утром нам снова в путь. Скоро начнутся дожди...

Эли Барах повернулся, взглянул на надвигающуюся черноту.

— ...он хотел быть последним Адамом, старый комедиант. Какой смысл быть еще одним евреем, когда есть миллионы дру-

гих? Он хотел быть единственным. Последним. Уничтожить всех и остаться последним. Слышишь меня, ты?! Твои губы шевелятся, я знаю это, они шевелятся в темноте. Слышишь меня, убийца, бездарный актер?!

Шурша в траве, пробежала крыса. Помолчав, Эли сказал:
– Антимессия.

Он сказал это, обращаясь не к Гидеону, который задышался под влажным одеялом, и даже не к самому себе, но по какому-то туманному побуждению, как бы пытаясь дотянуться до собственных рук, двух серых пятен в безвоздушной, неподвижной черноте.

– Другой. Из семени Авраама явится абсолютное добро и абсолютное зло. Его губы шевелятся. Даже во сне он повторяет свою сатанинскую молитву, тот второй „кадиш“, о котором никто в хедере не осмеливался говорить. Сто девять слогов этого „кадиша“ несут миру смерть и конец времени. Гитлер – Еврей!

В голосе Эли Барака звучало отчаяние.

– Не надо. Эли, – сказал Гидеон, приподнявшись на локте. – Не плачь. У меня лихорадка. Все это чепуха.

Он протянул руку, но Эли отпрянул назад.

– Не слушай меня. Я говорил глупости. Этот? Да он просто бандит. Сумасшедший мазилка. Говно. Мы скоро от него избавимся. Сдадим его другим и снова станем нормальными. Слушай, цадик, мы поедem к морю, ты и я. Будем целыми днями сидеть на скамейке, пока ветер не выдует из нас всю грязь. И будем говорить чудесные слова – „который час“, или „перестань ковырять в носу“, или „хочешь шоколадное или ванильное“? Слова, которые люди говорят друг другу. Не то отравленное грязное дерьмо, которое мы швыряли друг в друга на болоте. Эли, не плачь. Мы все в истерике, нам нужна холодная ванна, всем. Это все дурацкие бредни, ты же сам сказал. Вот этот – еврей? Этот старик такой глупый, что дал себя поймать таким, как мы? Ты знаешь, я думал, что, как только мы его найдем, все сразу изменится. Не знаю. Может, звезды начнут петь и луна остановится над Рио. И мы все избавимся от своей вони и будем, как рожденные заново. Все это глупости. Бред. Слава Богу, ты перестал хныкать. Знаешь, я не могу избавиться от этого привкуса во рту. Как хлороформ. Этот вкус меня бесит.

От жажды язык Гидеона стал липким.

— Ну, Эли. Дай мне воды. Там еще осталось во фляге. Ашер говорил, что здесь поблизости есть источник. Я слышал. Эли, почему ты молчишь?

Эли Барах сидел, сгорбившись, слегка раскачиваясь. Гидеона поразило его мягкое дыхание.

— Э, да ты спишь, братец. Придется мне самому...

Гидеон отбросил одеяло, стал на колени и потер онемевшие икры. Влажность давила, как мешок. Неуклюже, едва ощущая землю, он встал на ноги и вытянул руки, чтобы не упасть. Темнота медленно поворачивалась вокруг него. Его пересохшие губы дрожали.

— Все спят, сволочи. Ашер сказал, что здесь близко источник. Но я ничего не вижу в этой блядской темноте...

Гидеон покачулся и раздвинул пальцы, словно пытаюсь ухватиться за несуществующие колонны ночи. Под черными, толще крепостных стен, башнями облаков воздух стоял совершенно неподвижно. Далеко в болоте хрустнула ветка. Гидеон, шатаясь, принялся бить каблуками о землю. Его тело задело ветку, звук прозвучал выстрелом. Руки и ноги казались незнакомыми, чужими.

Гидеон танцевал медленный, тряский танец лихорадки. Его движения были наполнены гулкой пустотой.

В колючих кустах у края трясины замер индеец. Белые видели, как он растворился в тумане. Они не видели, что он шел по их следам. Теку слышал барабанную дробь. Он шепнул сам себе — это сумасшедший, злобный безумец, он танцует танец дождя, а ведь тучи, разбуженные этим колдовством, могут поглотить землю. Теку глянул на восток и крикнул от страха. Там, где должно было встать солнце, клубилась фантастическая дымящаяся чернота.

Ночь взорвалась. На Теку неслась громовая стена, выше и громче больших водопадов. Теку повернулся и побежал к деревьям. На шею упала первая ледяная капля. Затем черный потоп накрыл его и он закричал.

10

— Прелееестно... — протянул пилот, провел ладонью по усилителю, легонько крутанул ротационную антенну. — Замечательно. 207, дальнего радиуса.

Уважительный, приглушенный свист.

— Такой установки я еще не видывал.

Он щелкнул переключателем. Огоньки, вначале мутные, быстро слились в жужжащие от яркости точки.

— Я просто помешан на коротковолновых утсановках. У вас здесь шикарное оборудование, мистер Кулкен. — Он обвел взглядом комнату. — Но, черт побери, что за треклятое место, это Ороссо!

Ему трудно было произнести это слово — оно было для него нове.

— Мне доводилось садиться на самые мерзкие полосы. Но здешняя получит, конечно, первое место. Пока подруливал, чуть не раздолбал машину. А когда понюхал, чем здесь пахнет... Канализации нет?

Вопрос был задан озабоченным тоном. Он придвинулся ближе. От него пахло спиртным, но не очень сильно.

— Марвин Кроунбэйкер. Рад познакомиться с вами, мистер Кулкен. И с леди. Меня все называют Чарли.

На этот раз Кулкен услышал свой голос, произносящий „почему“. Почему Чарли? Тупой вопрос. Приступ тревоги выдавил пот у него на лбу.

— Проклятье. Что за блохи. Как ненормальные.

Незванный гость потер подбородок, но насекомое уже исчезло.

— Жаркий у вас городок, мистер Кулкен. Почему Чарли? Хотелось бы мне самому знать. Меня уже с детства так называли. Я, знаете, родился и вырос в Мунчи, Индиана. Так что зовите меня Чарли, мистер Кулкен. Вроде как старого друга.

И Марвин Кроунбэйкер дружелюбно и криво улыбнулся.

Кулкен яростно подтянул штаны.

— Что вам надо? Как вы сюда попали? Вон из моего дома!

С печальной ясностью Кулкену вспомнилась пьеса, которую он видел давным-давно, в кишасщем клопами казино на бельгийском берегу. Белолицый актер закричал: “Вон из моего дома!” — и вытянул длинный указательный палец.

— Прилетел час назад. Вы наверно слышали, как я здесь крутился. Туман закрывал всю долину. Летел как в вате. Чуть не снес все крыши, пока искал полосу. И мотор уже совсем кипел. Вы не будете возражать, если я присяду?

Чарли вытащил из-под стола металлический табурет, тот самый, на котором Кулкен просидел, напрягшись, последние три недели.

— Как насчет чашечки кофе? Я проделал длинную дорогу, чтобы добраться сюда, амиго, очень длинную.

„Он сам раскроет свои карты“, — подумал Кулкен.

Он раскрыл. После трех чашек кофе с тремя кусками сахара в каждой, после яичницы из двух яиц, со слегка подпорченными желтками — что в Ороссо неизбежно, после булочек с тмином, которые индианка, несмотря на ее рыхлую медлительность, выпекла прекрасно. Этот парень из Индианы говорил взахлеб, а интимные обороты как бы набрасывали вуаль на сумрачное море его речи. Начало было скользким. Чарли был любителем, о, конечно, не такого масштаба, как мистер Кулкен, но тоже, в своем роде, фанатиком. Ему удалось перехватить кое-что из того, что Кулкен передавал в Монтевидео, и несколько раз — обрывки сообщений из джунглей. Конечно, точность и радиус действия аппаратуры Кулкена были ему недоступны, но он все же сумел сложить два и два и получить — сколько ты полагаешь, приятель? — миллион? бери выше — два, нет — три миллиона! Долларов, конечно. Ну, вот, арендовал эту развалину, двухместный Фоккер, приделал дополнительный бак с горючим и — прилетел. Чуть не угробился по дороге из-за этой проклятой развалины.

Как он засек Кулкена?

Как, разве он не сказал? Он был в Бразилии, делал там кой-какую работенку.

Слова его скрывали за собой жизненные зигзаги и неуверенное знание, отличное от кулкеновского, не сравнимое с ним в стремлении к точности и полноте, в ощущении текстуры вещей. Когда наши друзья выберутся наконец из джунглей, мистер Кулкен, мы будем первыми, кто скажет им „здрасьте“, не так ли, мистер Кулкен? Последнее время они выходят в эфир совсем редко, под конец их сигналы были едва слышны. Держу пари, что у них сели батареи. А это значит, что у них осталась одна-единственная ниточка — та самая, что ведет в Ороссо. Ну, что ж, придется посидеть на вулкане. Но это все окупится. Ведь это, простите за выражение, самая грандиозная ебаная удача, которая когда-либо выпадала Марвину Кроунбэйкеру, и „можете быть уверены, мистер Кулкен, вы получите больше половины, скажем, половину плюс двенадцать процентов, вы ведь сидите здесь, как рыбовод, и задница, извиняюсь, у вас уже вся стерлась от ожидания, это уж точно“. Но ведь это величайшая драма века, и самая грандиозная сенсация с тех пор, как Иисус вознесся на небо. „Это

все равно, как если бы мы сидели у могилы Иисуса и получали от него репортаж о том, как он возносится к папаше". Три миллиона? Больше, сэр, наверняка больше. Сначала интервью с самим старым хуем. Американские, канадские, мировые права плюс авторские проценты с любого последующего воспроизведения. Все живьем, в записи на видеомаг. „Как вы себя чувствуете? Что вы подумали в первый момент, когда на вас набросились эти ребята? Будут ли вас судить в Иерусалиме, как того парня, Эйхмана? Не хотите ли рассказать нашим слушателям о вашей жизни в джунглях? Чем вы питались? Раскаиваетесь ли вы теперь?" Потом — ежечасовые сообщения с места, развернутые репортажи: что он ест? как спит? кто будет его адвокатом на процессе? Дальше — эти евреи. Как вы полагаете, мистер Кулкен, сколько их было — трое, четверо, полдюжины? Отдельный репортаж о каждом. Детали: что привело вас сюда, мистер Коэн? Каково чувствовать себя героем? Что скажут ваши жена и дети? У вас есть девушка в Тель-Авиве? Минуточку, сейчас мистер Кулкен наладит связь, и вы сможете с ней поговорить. Все права охраняются законом. Чарли привез пару „леек" и „графлекс-400" Первые и единственные фотографии для всех агентств мира. Телевизионный канал? Деньги на бочку, сучий потрох. По две тысячи за снимок каждого, десять кусков за групповое фото — старина Дерьмогрубер и еврейские охотники на фоне джунглей. Для экзотики можно добавить парочку индейцев. „Я думаю, у нас будет чистых двое суток с того момента, как они появятся из джунглей, может быть, немного больше. Через двое суток Ороссо превратится в Кони-Айлэнд, сюда хлынут все эти блядские газетчики, фотографы и издатели от Каламазу до Улан-Батора". Но им придется обращаться к нам, мистер Кулкен! У нас будут все контракты и права.

— Это миллионы, приятель, миллионы. Клянусь Господом!

И с этими словами господин из Индианы в возбуждении вскочил со стула, откинул голову и бросил в рот кусок сахара. Кулкен тоже поднялся и попытался сухо, покровительственно рассмеяться.

— Вы сошли с ума, мистер Каквастам. У вас лихорадка, приятель. Миллион долларов? За вонючее интервью с Борманом?

— Борман? Кто это Борман? Какого черта Борман?

Они смотрели друг на друга. Кроунбэйкер выплюнул сахар

изо рта, приблизил к Кулкену свое лицо и заговорил медленно, будто обращаясь к очень глупому или очень хитрому ребенку:

— Послушайте, мистер Кулкен, давайте перестанем тратить время впустую. Доверьтесь другу Чарли. Чарли вам друг. В ту минуту, когда Адольф Гитлер появится из этих джунглей...

Кулкен побелел и обмяк. Чарли закричал индианке:

— Принеси стакан воды! Воды, дурная сука! Аква!

Кулкен очнулся. Его тошнило, ему было то горячо, то холодно — он вдруг осознал свою незначительность, предназначенную ему судьбой роль мушки, пылинки в огромной, простирающейся дальше самых смелых его фантазий паутине. Несколько раз эта дикая мысль, как некий огонек, возникала где-то на дальней окраине его сознания; однажды, в Каза Поло, он даже рискнул высказать ее вслух: „как вы думаете, а вдруг это сам старый хрыч?“ — но хозяин застыл, посмотрел на него презрительно и высокомерно. Сволочи, ничего ему не рассказали, никто даже не намекнул Родригезу Кулкену, в чем, собственно, дело. Так вот оно что! Он здесь протирает свой зад, а они прикарманят себе и денежки, и славу?! Как там было в последнем сообщении? Солнце стоит... — нет, стало неподвижно. Айялон и Осанна. Значит, они его поймали. В Бога душу мать, подумать только — они прошли зеленый ад и отыскали его! Теперь Лондон знает обо всем, шакалы уже в пути, изящные шакалы в облегающих серых шкурах, с голосами, подобными бритве, и ломтиком лимона в зубах. Его еще раз хотят наебать, отбросить, как ненужную корку, чтобы самим поделить добычу, этот огромный, сумасшедший приз.

— Эй, ты в порядке, амиго? Дыши глубже.

А что, если Кроунбэйкер лжет? Или ошибается, увлекаясь собственной болтовней?

Кулкен сел и заставил себя снисходительно улыбнуться.

— Гитлер? Да он давным-давно умер. Тридцать лет назад или что-то вроде того. Они ищут Бормана, это всем известно. Вы идете по ложному следу, мистер Чарли.

— Вы думаете? — спросил человек в желтых кожаных ботинках и проглотил последнюю булочку.

Кулкен уверенно кивнул. Он не глядел на Чарли и его кривую улыбку. Этот Кроунбэйкер не был и вполонину таким ловкачом, каким хотел казаться. Если речь действительно идет о Гитлере — это означает...

Кулкен громко засмеялся. Если отсюда, из этих джунглей,

вылезет Адольф Гитлер — пусть даже беззубый, полупарализованный, слепой, содрогающийся в тике, в любом виде, любом обличье — его будут ждать не только журналисты и фотоаппараты. Кроунбэйкер идиот. Это дело политическое, и опасности в нем больше, чем во всем, в чем был до сих пор замешан Родригес Кулкен. Отчетливо, как силуэт человека во внезапно потемневшем дверном проеме, Кулкен видел теперь будущее: тайные посулы и знакомые предательства, погони и встречи в местах, подобающих Родригесу Кулкену куда больше, чем придуманная Чарли вульгарная ерунда.

Кулкен сладострастно вдохнул воздух.

Прежде всего нужно избавиться от непрошеного гостя. Расчистить время и пространство для тактического маневра.

— Вот что, мистер Кроунбэйкер, выметайтесь-ка вы подобру-поздорову. Понятия не имею, о чем вы говорите, не знаю, какие вы там перехватили сообщения, только я на все это клал с прибором...

Но Чарли не двигался. Глаза его стали водянисто-зелеными. Голос Кулкена поднялся:

— Какого черта вы ворвались в мой дом? Вон! Ну, кому я говорю?!

Индианка тяжело зашевелилась в углу.

Американец мягко покачал головой.

— Я никуда не двинусь, мистер Кулкен. И вы это знаете. Так зачем же вам кипятиться? И потом — куда я могу теперь уйти?

Кулкен тяжело пошел на него, но Марвин Кроунбэйкер кошачьим движением извернулся, отпрыгнул и пинком растворил дверь хижины. Утренний свет угасал, как при затмении. К Ороссо волною шла темнота, высокая, как небо. Приблизившийся звук хлестал по лесу и был громче, чем шум водопадов. Индианка зажала рот руками. Начинался сезон ливней.

Теку чувствовал их запах. Он проходил сквозь промокший воздух, висевший перед ним, как мех. Дожди загнали его на север. Его несло вниз по течению; услышав гром водопадов, тонувший в барабанном бое ветра, он едва успел вылезти на размытый берег, цепляясь зубами, пальцами, всем телом. Втиснув-

шись среди ветвей, борясь со сном и вонючим холодом, он слышал, как мимо тяжело пробегают животные, охваченные паническим ужасом. Потом наступил перерыв, но он был оглушен и не понимал, где находится. Что это за люди? Бразильский патруль, горстка вооруженных людей, заброшенных в джунгли, чтобы отмечать места будущих дорог? Искатели нефти или каучука? Они пахли, как Кулкен, но гораздо хуже. Их навес пострадал от дождя, в нем зияли дыры. Здесь, в этом месте, они стояли лагерем недолго. Теку внимательно осмотрел пепел и примятую траву между пепелищем и высоким кустарником. Два, самое большее — три дня. Они, наверное, бежали от дождей, как и он. Вонючие дьяволы. Сколько их? Он замотал головой, отгоняя духов дождя и страха к левому уху, где они исчезнут, едва взойдет солнце. Теперь он видел яснее. Двое на востоке, лицом к новому свету, мальчишка у костра, третий возле хижины, пытается установить шест и тратит слишком много движений, потому что земля недостаточно утоптана. Теку ухмыльнулся и втер слюну в шрам над левым соском. Шрам ныл после дождей. Так и должно быть — воспоминание о боли от большой колючки и о колдунах в большой хижине. В той хижине он, Теку — Сын Муравьеда, стал охотником. Трое мужчин и молодой, дрожащий у костра. Скорее призраки, чем люди, так отощавшие, что свет, казалось, проходил сквозь них. Кулкен был плотным, как свинья; даже его тень имела вес.

Но где же тот безумный дьявол, что в своей ярости вызвал дождь, и где же старик? Теперь Теку пробудился окончательно, онемение уходило налево, как древесная лягушка, уходящая за ночью. Тот же отряд, охотники, собиратели резины или сумасшедшие — он вспугнул их на краю болота, как раз перед тем, как небеса обрушились на землю. Он подкрался поближе. Мальчишка не просто дрожал. На его грязном лице блестели слезы. Теку раздвинул спутанную траву и оглядел весь лагерь. Как он мог не заметить? Плохая работа — небольшая полоса земли, под ней угадывалось тело мертвого, повернутое ногами на восток. Пляшущие ноги в изодранных ботинках. Теку задрожал. Может, это дожди наказали его? Или он умер по пути, захлебнулся в одном из потоков разлившейся реки? В могиле лежал карабин, в остром свете солнца его приклад вырисовывался яснее. Потом он увидел старика — тот сгорбился у навеса, его кожа походила на высушенную шкуру сурка, на кожу женщины после голода. Теку никогда

не видел такого старого человека, даже среди тех, что уже лишились дара речи и, скорчившись, сидели в священной хижине, вдыхая запах растертых семян. Думали, что они видят тени богов.

– ...Каким образом ты еще держишься?

Шимон говорил, как в трансе, и взгляд его был отсутствующим.

– Ты как тот человек в лабиринте, с толстой нитью, по которой он нашел дорогу назад. Ты осторожный человек, Джон. Выведи мальчика. И его...

Шимон покосился на Ашера:

– Ты заметил – он, похоже, прибавляет в силах? Он с каждым днем лучше движется, и лихорадка его не берет...

Ашер заметил. Внешне Гитлер иссох, его одежды развевались, даже когда не было ветра. Капли дождя секли его, как камыш. Но он стал более вынослив, казалось, он черпал силы по мере того, как слабели его спутники. Когда лихорадка опустошила Гидеона, превратив его прежде ловкое, искусное тело в неуклюжую, вонючую тушу, старик, наблюдавший за происходящим с сумрачным интересом, с поразительной точностью предсказал момент последней конвульсии. Вампир. Он выберется из джунглей, оставив позади их скелеты. Шимон снова заговорил:

– Реббе и мне нечего делать в Сан-Кристовале. После всего этого? Я часто слышал, что разрушает не пожар, а вода, которой его тушат. Обгорелые места бледнеют, но вода и дым впитываются. Комната и годы спустя остается сырой, мертвой, как мы с Эли. Ты не такой. Ты не прошел через Катастрофу. Ты ведь тогда жил в Хертфордшайре, правда? У Либера все было записано, в его папке. Он заставлял меня заучивать ваши личные дела наизусть, каждого из вас, до последней детали. А потом он их уничтожил. Чтобы никто не знал, не смог нас выследить. Мелодрама.

Шимон снова повторил:

– Мелодрама. Как там у вас было в Хертфордшайре?

Ашер понял: „Кто ты такой? Почему ты вызвался идти с нами? И почему, после всего, что мы пережили вместе, ты остаешься среди нас чужаком, когда речь заходит о главном?“ Все тот же вопрос, еще с первой ночи в Вене, в кабинете Визенталя – много потерянных лет назад. Каждый час, вплоть до того прощального часа в Генуе; но и тогда, в каюте, когда Либер, произнеся вполголоса благословения и напутствия, повернулся, чтобы уходить, он вдруг еще раз заглянул безжизненными глазами в

глаза Ашера, как бы пытаюсь понять ускользающее значение его присутствия. У Ашера был только один ответ. Человек может быть иногда полезен именно потому, что у него нет истинных причин для одержимости. Любопытство может завести дальше, чем любовь, ненависть или голод. Ашер рано заметил в себе этот абсолютный аппетит — еще в детстве, когда развелись родители (смешанный брак, и поэтому Ашер технически, юридически, талмудически евреем не был, хотя на каникулы отправлялся именно к отцу, в Лэндброк Гроув, где медленно кружились на воде палые листья). Способность упорядоченно утонуть. В школьных увлечениях, позже в бабочках, еще позже — в военно-топографических картах. Страсть, такая же всепоглощающая, как у Гидеона. Только страсть Ашера коренилась в мозгу, он был холоден ко всему, кроме самой проблемы. Он принес Либеру свою страсть, а вместе с нею искусство меткой стрельбы, достижения в альпинизме и кроссах по пересеченной местности, знание языков. Никакой метафизики, никакого возмездия. Его включили в группу, потому что законы психологической совместимости в таких отрядах требуют деликатной асимметрии характеров. Ему была равно чужда маниакальность Либера и яростная боль Шимона, Эли или мальчика; он был маньяком, скрывавшимся под маской гедониста: „Это самая интересная задача, мистер Либер, доступная сегодня человеку с моими наклонностями“. Под щетинистыми щеками Либера обозначилось тогда биение. Ашер составлял как бы противовес. Но теперь все соотношения были нарушены. Бенацеров лежал в своей неглубокой могиле, нити, державшие группу в равновесии, были перекручены. Ритмы переходов, маневры на выживание следовало разработать заново. Отсюда и вопрос Шимона — все тот же вопрос. Но теперь — иной.

— В школе я играл Макдуфа. Вся его семья погибает от коршуна — что-то вроде этого, если я правильно помню — курица и все ее цыплята, трах! У мальчика, который играл леди Макдуф, был жуткий фальцет, острый, как нож, — им можно было бы снимать шкуру с яблока. До сих пор помню его крик. Входят убийцы...

Шимон резко обернулся.

Теку вышел из своего укрытия. Он шел к навесу, вытянув правую руку. В руке он держал подношение — полосу высушенного мяса. Индеец подошел к Гитлеру, согнувшемуся над собственной тенью, поклонился и положил свой дар к ногам старика.

Теку знал, что старцев положено чтить, а самые древние — как этот — дороже топазов.

— Древний, — сказал Теку, — поручи меня своим духам.

Пергаментные губы совершили обряд колдовского бормотания:

— Blumen, blumen...

Индец жадно вслушивался в слова старика.

12

8-го мая. Беспорядок всегда вызывал у меня сильнейшее отвращение. Отвращение это сослужило мне хорошую службу — вот на чем строилась моя карьера. „Жоскен-линейка“. Еще в школе, потом в институте. У меня одного ящики стола не были завалены пеплом, скрепками, лекалами. Но в этой путанице невозможно разобраться. Я смертельно устал. Жуткая зима — Р.Г. болен и „Аттила“ в дурном настроении. Смотрю на себя в зеркало: „Здравствуйте, господин Клише“. Голова вырублена изящно, без излишней драматичности. Серебро на висках. Ухоженные ногти. Все так, как и должно быть: Анн-Эстьен, трое наших детей, ферма в Ловверни, бежевый автомобиль, мой возраст, служебное положение, вот эти два окна, выходящие на юг, — привилегия тех, кто поднялся выше помощника советника. Все до последней детали на своем месте. Как лежали предметы на моем ночном столике, когда приходила мать. Даже В. Вчера она была отвратительна. Я хотел уйти. Выслушивая ее невинные вульгарности (да знает ли она, что означают эти слова?), чувствуя ее дыхание, я думал о том, как хорошо было бы оказаться дома, за письменным столом. Вдруг оказаться одетым и пролететь прямо сквозь стену этой „чудесной маленькой квартирке“. Никогда ее не любил. Может быть, именно поэтому я был так подавлен.

11-го мая. Бердые всегда меня возмущал. Еще с тех пор, как мы впервые встретились в Роттердаме, на семинаре по нефтяной политике. В 64-м или в 65-м? Грубовато-добродушная внешность. „Англичане — ткачи, итальянцы — бездельники“. Еще один человек-клише, вплоть до его сигарет и новой — „атомной“ — зажигалки. Черт его побери! Он совсем не таков, под тальковой присыпкой скрывается наждачная бумага. Кто ему патронирует? Не Менестье, конечно. Может быть, П.? Я был далеко не в лучшем виде. Бердые был, напротив, силен и находчив. Он презирает нас. Но мы, несомненно, произвели впечатление. „Аттила“ с его любимыми фра-

зами. „Иногда требуются прямые, пусть даже отвратительные методы“. Семенов прибыл в Ресифе и выслежен до Манаоса — *если* его опознали правильно (на таком расстоянии, в аэропорту, с телеобъективом, о котором и сам Бердые отозвался, что он не из лучших). Здесь что-то кроется; „Аттила“, по крайней мере, так считает. Но что? „Составьте конспект, Жоскен; пусть из-под кожи появится светящийся скелет“. Светящийся скелет! Господи, как я устал.

17-го мая. Нет времени записывать. От меня требуют протокола „с изложением всех деталей“. Должны быть рассмотрены все возможные пути действий. В. иногда странно проницательна. Не то чтобы вчера было плохо, наоборот — взрыв. Но потом она сказала: „Сегодня твое тело работало хорошо, потому что оно было само по себе. Ты думал о чем-то другом. Ты был полностью этим поглощен. Неплохая разрядка“. Маленькая царапина над ее соском.

21-го мая. Ударили в набат. „Аттиле“ пришлось пожертвовать своим уик-эндом. Ну и лицо у него было! Теру разработал юридическую сторону. Блестящий меморандум. Этот молодой человек далеко пойдет. Теперь у меня есть три дня — сплести ковер из всех этих нитей. Как сказал бы Ф.: „Пусть твое внимание сожмется в кулак, и помни, что детали есть Бог“. Но это не он придумал. Мне смутно помнится, что он говорил нам кто. Забыл. Так что же за детали мы имеем?

а) если это действительно Гитлер, нельзя позволить, чтобы евреи вывезли его в Израиль. В период совершения указанных преступлений, а также Нюрнбергского процесса Израиль не имел законного статуса — ни де-юре, ни де-факто. Таким образом, он не может рассматриваться как сторона в деле, хотя, возможно, может фигурировать как „заинтересованный наблюдатель“ (эту сторону дела нужно еще прояснить). Нельзя допустить также, чтобы Гитлер был передан местным властям — ввиду известных юридических сложностей. Наши друзья-американцы, возможно, попытаются его похитить. Ороссо (?), логически, является наиболее вероятным местом встречи, и — если можно доверять аэрофотосъемке — там уже ожидает небольшой самолет. Но полоса полностью затоплена, так что у нас, наверное, есть еще время. Для чего? Выработать согласованную политику в духе Потсдамской конференции. Лондон может согласиться, я это ясно вижу. Но Иван? В Москве, как обычно, жаждут крови: отрицают малейшую свою заинтересованность этим делом и в то же время вырабатывают

свой подход, который будет, несомненно, наиболее обструкционным. Наша позиция ясна, и я считаю, что ее нужно объявить на самой ранней стадии. Французская республика, как подписавшая и так далее, а также одна из главных сторон и тому подобное заявляет, что и т.д. Судебный округ — слушание дела и собственно процесс? Деликатный вопрос. Всеевропейский суд в Страсбурге! Это мысль,

б) но желателен ли нам процесс? Если это действительно Гитлер (но иначе зачем бы сразу Райдеру об этом задумываться?), то он уже, наверное, стал полусумасшедшим пугалом. Судебные заседания могут превратиться в фарс, а ведь нас отличает от других народов именно обостренное чувство нелепого. Впрочем, даже если человек, которого они вытащат там из джунглей, все еще сохранил ясность рассудка, зачем беречь старые раны? Будут высказаны вещи, которые давно всем известны и о которых можно поэтому „забыть“. Что Виши — не его создание, но структура, коренящаяся в самом сердце французской истории, выросшая из аграрной, клерикальной, патриархальной Франции, так и не принявшей Революции, питающей отвращение к евреям и масонам. Что многие из моих любимых соотечественников — включая моего предполагаемого отца и дядю Ксавьера — считали, что эта война с самого начала неправильна, „вероломный Альбион“ и еврейский капитал — вот истинные враги. Ко всему этому Рейх имеет довольно мало отношения. И на более высокой ступени: более или менее объединенная Европа, от Средиземного до Балтийского моря, сцементированная страхом перед русским медведем и стоящей за его спиной Азией, — мечта канцлера Гитлера и нынешний наш идеал. Завещание Дриго все еще стоит чтения: „Миллионам придется умереть из-за ужасного недоразумения, прежде чем Европа приблизится к тому единству, что формулировал фашизм — единству тевтоно-латинского гения пред лицом материалистического варварства Соединенных Штатов и их гротескного подражателя, Советского Союза“. Хотим ли мы, чтобы все это снова захлестнуло передовицы газет?

в) но если не судить, то что же тогда? Здесь, конечно, на сцену выступает наш друг Бердые и его молодчики из „особого отдела“. Нужно добраться до них первыми, утверждает Бердые, и избавиться от всех расходов и тревожений. „Только дайте этим сумасшедшим евреям вылезти из джунглей со своей добычей — и поползут политические кошмары“. „Особые операции“ — вне

моей компетенции. Даже „Аттила“ не должен быть о них информирован. Возможно, досье, которое поручили мне подготовить, и сообщение Теру являются лишь дымовой завесой. Бердые или кто-нибудь похуже, должно быть, уже в пути. Я умываю руки. В любом случае, это было бы политической глупостью. Американцы, наверное, уже там. Четыре дня без В., почти пять. Я скучаю по ней, по запаху ее лодыжки, по запаху пота между коротковатыми пальцами. Но чувствую себя прекрасно, лучше, чем во все прошлые месяцы. Более равнодушен. Скоро полночь, „Аттила“ ждет — хочет видеть общий набросок моего сообщения. Пусть ждет. Я люблю свою жену. Она поверит мне, чем старше мы становимся, тем сильнее, она поймет. Сколько же лет *ему*? Здесь где-то валялась „биография обвиняемого“ — идиотский жаргон! 20-го апреля 1889-го: то есть теперь *ему*...

25-20 мая. Вчера вечером я испытал настоящий шок, когда, за ужином, Эдмонд спросил меня, видел ли я когда-нибудь Гитлера? Просочилось в прессу? Оказалось, что мальчик просто смотрел по телевизору старую хронику. Я видел Фюрера лишь один раз, в Монтуре. Ксавьер взял меня с собой, как самого младшего в свите Маршала. „Будет, что рассказывать внукам, малыш“. Мы уже знали, что в Хендаёе все пошло вкривь и вкось, что Франко был щедр лишь на улыбки. Переломный момент войны. Не Сталинград, не Аламейн и. конечно же, не высадки в Европе. После того, как Каудильо отказался предоставить своим драгоценным союзникам и товарищам по оружию право свободного прохода через Гибралтар, Рейх был обречен. Наш высокопоставленный гость был поэтому угрюм. Встретившись с Маршалом, он на мгновение оживился, но вскоре его воодушевление пропало. Он суетился, подпрыгивал — ни минуты не находился в покое, — вытягивал ноги во время перерывов в совещании. Я четко припоминаю, что от всего его существа веяло страшной скукой, как холодом из подвала. Казалось, что ему несказанно наскучила его слава, механизмы, приведенные им в действие, представления, которые он должен был еще дать, прежде чем наступит конец, тщетность которого он, должно быть, уже предчувствовал. Этот человек был воплощением скуки. Когда он двигался или говорил, было видно, что он обладает большим запасом энергии. Но эта энергия была как бы внедрена в него извне, почти механически. Внутри все было неподвижно. Дядя Ксавьер сказал тогда, что в

его отряде был очень похожий человек — в самом начале войны он представил себе смерть с такой истерической напряженностью, что после ничего уже не боялся, он был пуст внутри и иногда отчаянно смел. Каким показался бы он мне теперь? Годы бегства... Помнит ли он себя тем гигантским, пустым существом, каким был тогда? Интересно было бы узнать, вновь услышать его голос. Но если Бердые доберется туда первым, подобный случай вряд ли представится. Для Эдмонда Рейхсканцлер — эпизод далекого смутного прошлого, находящегося где-то между неолитом и не менее отдаленным позавчерашним днем. Иван Грозный, Гитлер, Столетняя война — было это в Европе или в каких-то далеких странах юго-восточной Азии с их труднопроизносимыми названиями? Школьная программа и телевизионное прошлое. Совершенно нереально. Относится к графе „для экзаменов“ или „для развлечения“. Если бы я сказал мальчику, что Гитлер, похоже, жив, что он может явиться из прошлого во плоти и крови, он бы мне просто не поверил. Эта странная охота за призраком влезла мне в душу. Сильнее, чем я думал. В. надоело. Мое тело „находится где-то в верховьях Амазонки“ — ее странно уместное замечание. Все это скоро закончится. Весь наш роман. Я знаю это, и меня это не особенно волнует, и я не знаю, почему это меня не волнует. Паника в министерстве и тот факт, что скоро я, должно быть, отправлюсь в Южную Америку (присутствие там представителя нашего отдела „квинтэссенциально“, как любит выражаться „Аттила“), кажутся мне предопределенными свыше. Да, вот точное слово. Предопределенность. Спокойной ночи, господин Клише. Почему я так ненавижу беспорядок? Все эти папки, вкривь и вкось на полке, а я ведь уже десяток раз повторял секретарше...

13

— Теперь ты мне веришь, тупица? Веришь?

Марвин Кроунбэйкер вызывал у Кулкена сильнейшее отвращение. Запах этого человека, само его присутствие душило. Дело было не в телесном и душевном соседстве Кроунбэйкера, не в необходимости делить с ним индианку — все эти тривиальности казались Кулкену общепринятыми и в какой-то мере предопределенными. Его ненависть была направлена на присущую „старине Чарли“ (еще одно прозвище из обрушившегося на Кулкена потока) уклончивость, на внутреннее переплетение банальности —

шумной, карикатурной и неизбежной — с чем-то напряженно ей контрастирующим. „Это“ было для Кулкена загадкой, выводившей его из себя. Незнание, прибавившись к тому, что и так уже происходило, посеяло в душе Кулкена хаос.

Началось с самолетов: реактивный истребитель бразильских ВВС, совершивший два круга над полосой; затем небольшой самолет-корректировщик, медленно, едва не задевая верхушки деревьев, круживший над Ороссо; а после — что было совсем уже странно — маленький частный самолет, дважды заходивший на посадку (безумие, ведь полоса была залита водой, покрыта выбоинами) и затем улетевший в сторону джунглей. Непрошенные гости принесли с собой звуковой ад в наушниках. Поток противоречивых и глупых инструкций от „наимателей“, требовавших, визжа от нетерпения, чтобы аэродром (какое роскошное название, подумал Кулкен) был осушен и подготовлен к приему самолетов, чтобы для „старшего персонала“ был зарезервирован достаточно поместительный штаб (проклятые идиоты), чтобы он, Кулкен, которому „безусловно, полагаются премиальные“, готовился сдать дела. Со всем этим Кулкен, под яростным натиском Кроунбэйкера, молчаливо соглашался, выигрывая время, чтобы снова и снова прощупывать ночной воздух, теперь уже более сухой, легкий после обильных дождей. Кваканье голосов: многие передавали шифром, другие тонули в помехах и треске „глушилок“. Но были и такие, что слышались достаточно ясно. Сперва они крест-накрест исчертили континент, сплетая грубую сеть — словно упражняясь в ориентации, затем вышли на Ороссо, используя его, Кулкена, передатчик в качестве фокуса. („Это русский язык, кретин“, — объяснил Кроунбэйкер прошлой ночью, и объяснение это вызвало у Кулкена сильнейший приступ беспокойства и ненависти.) От сошедшего с ума внешнего мира их отделяла лишь затопленная посадочная полоса. Нейтральная зона, однако, быстро уменьшалась в размерах. Из обрывистых сообщений Кулкен понял, что бульдозеры уже прокладывают в джунглях дорогу между Ороссо и Аконкюи — ближайшим местом, куда можно было добраться на лендровере. Во сне ему чудился далекий звук падения деревьев. Не далее как вчера они расслышали в густом тумане лязгающий шум вертолета. Вертолет мог бы сесть в Ороссо даже сейчас, хотя самолет Кроунбэйкера и стоял, по странному совпадению, в самом центре посадочной полосы. Терзаемый расспросами — „кто это и зачем, ко всем чертям, он пожаловал, можно ли

убрать его проклятый самолет с полосы?" — Кулкен благоразумно опускал ответ, тем более что Кроунбэйкер стоял рядом с ним, нагнувшись к наушникам и выслушивая эти вопросы с удовлетворенно-презрительной миной. Но что будет теперь? Что станется с их планами, когда сюда ринется толпа?

— Ну, что я тебе говорил, кретин? Что тебе говорил дядя Чарли? Борман... Господи, не смейся меня.

Никаких причин для веселья, по мнению Кулкена, не было. Кулкену казалось, что он слишком тонко организован, чтобы загореться убогими надеждами Кроунбэйкера. Впрочем, если Адольф Гитлер собственной персоной вылезет вдруг вон из того куста и если „Кроунбэйкер—Кулкен Радио-Сервис Лимитед“ получит соответствующие права... Но Кулкен видел дальше; грубая самоочевидность схемы Кроунбэйкера не могла его удовлетворить. Это дело обладало странной красотой, таившейся в политике, в паутине государственных интересов, в возможностях международного шантажа. Вся прежняя жизнь, все опасности и унижения виделись Кулкену, как некая поучительная прелюдия к этому часу. Стоит лишь захватить Гитлера, и правительства запляшут под твою дудку. Обходные маневры, перебивание цены. Вашингтон, конечно, будет первым, если только Москва не успеет раньше. Лондон и Париж будут сперва действовать в открытую, затем пойдут секретными ходами, попытаюсь выполнить условия. Обе Германии. Евреи, как в Израиле, так и вне его. Кулкена интересовали не только деньги, но и сам процесс, переговоры с наиболее высокопоставленными лицами и организациями, византийские тонкости угроз и лести, прекрасное чувство головокружительного подъема, мести, уготовленной всем тем сукам, что так часто гноили его в задних комнатах — душа Кулкена сжималась, он дышал чаще и глубже. И трещали наушники.

Однако любой ход событий действительно требовал монополии. Шикльгрубера (иначе А.Г.) нужно было захватить и держать при себе, от поисковой партии нужно было избавиться, внешний мир нужно было удерживать на расстоянии. Первые два пункта были в пределах досягаемости (Кроунбэйкер прощупал почву и обнаружил, что индейцы достаточно сговорчивы по отношению к тому, что будет для них, в конце концов, обычной охотничьей засадой). Пункт третий выглядел абсолютно безнадежным. Кулкен чувствовал, что попал в ловушку: слишком много сигналов, слишком много свидетельств яростного наступления где-то там,

за горизонтом. Сколько остается дней до прибытия облеченной властью стаи, пахнущей дорогим одеколоном и дорогим табаком, которая выбросит его, Кулкена, за ненадобностью, плюнет на то, что именно он, Кулкен, выудил этого левиафана из болот? Несправедливость комком подступила к его горлу, и он полупривстал с раскаленного стула. Кроунбэйкер обернулся к двери. Там стояли индейцы, трое или четверо, коричневые, как и их тени.

Джунгли, казалось бы, полностью непроницаемые, тем не менее пронизаны ходами сообщений. Было загадкой, как проходит слово сквозь колючую проволоку лиан, как железная утварь с отдаленных пограничных станций проникает в самое сердце Мату Гросу. Но они проходили. Новости, как невидимый огонь, прорывались сквозь заросли и водопады. Нужно было лишь прислушаться, и они прилетали, жужжа.

Индейцы уже две недели следили за группой. Четверо белых с тяжелой поклажей, Теку и Старик. Они шли на северо-северо-запад, к Кордильерам, прочь от неглубокой могилы. Индейцы рассматривали пепел их ночных костров, раздумывали над их экскрементами, обнюхивали и поднимали на свет пустые консервные банки. Ксингу передали свое сообщение намбиква, от тех новости спустились вниз по Перанье, миновав каким-то образом девять водопадов, а оттуда в свою очередь, жиаро принесли их, как товар, и выставили на продажу в Ороссо. Здесь они обменяли новости на рыболовные крючки, веревки, две штуки грубой парусины. Они принесли свежие новости — о том, что группа пыталась миновать заваленный снегом перевал и найти обходной путь на юг, о том, что Теку, похоже, возглавлял теперь марш, о том, что он рыщет в поисках дичи. Ну, и?..

Они остановились. Они стояли лагерем уже несколько дней, четыре, может быть пять. Они больше не держали Старика на привязи. И Теку мастерил стул.

— Стул?

Кроунбэйкер не ждал перевода.

— Ну, тупой кретин, теперь ты мне веришь?

— Да, — сказал Кулкен, — теперь я тебе верю.

14

— Марвин Кроунбэйкер проверен и перепроверен. Он абсолютно надежен, могу в этом поклясться.

— Возможно. Но дело гораздо крупнее, чем все, к чему он был до сих пор причастен. Нужно было послать кого-либо повыше чином, — например, Трускотта. Жаль, что меня убедили.

— Но до сих пор он ведь хорошо справлялся, шеф. Настоящий степной волк, а именно это нам и требовалось. По крайней мере, на предварительной стадии.

— А что за это Родригез Кулкен, мать его? Воючий тип...

Трудно было поспевать за огромным человеком в этом переполненном, бесконечном коридоре, что вел в пресс-зал.

— Стрингер, всего-навсего. Даже в дополнительном списке не состоит. В этом М-6 нам ручается.

Шеф громко засопел, но звук потонул в шорохе шагов.

— Им просто повезло, что они добрались туда раньше нас. Они рисковали. Но Кроунбэйкер был задействован почти сразу же после стартовой команды.

Толпа становилась гуще, оба вытащили свои пропуска.

— Пропустите, пожалуйста... Простите... О'кэй, о'кэй... Извините... Фууф! Сержант, после того, как Секретарь начнет, держите эту дверь закрытой...

Яркая вспышка юпитеров внезапно оттенила дюжие плечи Шефа.

— Треклятая толпа. Посмотрите только на них. Журналистская гвардия!

Толпа заколыхалась. Люди стали вставать.

— В полной боевой выкладке — пробормотал Шеф, разглядев костюм и галстук Государственного Секретаря.

— Дамы и господа. Прошу по очереди. Спрашивает кто-либо один.

— Рифлер. „Сен-Луи Пост Диспетч“. Господин Секретарь, правда ли, что...

Жужжание голосов постепенно стихло.

— Мне бы хотелось дать вам окончательный ответ, мистер Рифлер. Однако у нас нет полной уверенности. Можно сказать лишь следующее: на основании доступных нам сведений, а также данных разведывательных служб других государств, с которыми мы поддерживаем контакт, можно думать, что человек, обнаруженный — и я подчеркиваю это — неофициальной поисковой партией, действительно является бывшим руководителем так называемого Третьего Рейха.

Взорвались голоса и вспышки.

— Мисс Мартен?

— Благодарю вас, господин Секретарь. Регина Мартен, „Саузерн Ньюс Синдикат“. Когда можно ожидать появления Гитлера, и кто будет встречать его на месте?

— Боюсь, что на этот вопрос также невозможно дать точный ответ. Согласно последним данным — вы должны понять, дамы и господа, что сообщение с центром амазонского леса происходит несколько окольными путями, — группа и предполагаемый — м-м... — господин Гитлер остановились юго-западной Ороссо, на подступах к плато, за которым, на наших картах, указывается туземная деревушка под названием Жиаро...

(Государственный Секретарь заглянул в свои записи.)

— ...При оптимальном варианте группа может достичь взлетно-посадочной полосы в Ороссо в течение, примерно, десяти дней. Однако мы получили сообщения, что сейчас там начались ранние дожди исключительной интенсивности, результатом которых явились разливы и выпадение дополнительных снеговых осадков на высотах. Что же касается вопроса о статусе и составе персонала в предполагаемом месте встречи, то это проблема крайней дипломатической сложности, и она затрагивает в равной мере как местные власти, так и правительства тех государств, которые на тех или иных основаниях могут потребовать, чтобы их рассматривали как заинтересованные стороны.

— Эскомб. „Тайм“. Находится ли уже кто-нибудь на месте встречи?

— Видите ли, Билл, правительство не может входить во все детали сейчас, когда не ясны еще основные факты. Я могу сообщить следующее: объем полученных нами за последние дни сведений служит свидетельством, что наша позиция есть позиция полной готовности как на местном, так и на глобальном уровнях.

— Господин Секретарь, вы упоминали... простите, Корд Дуайер, „Милуоки Трибюн“. Вы упоминали о контактах с другими правительствами. Не могли бы вы затронуть эту тему несколько глубже?

— С удовольствием. Всякому, кто имеет касательство к этому делу, ясно, что — гипотетическое пока — обнаружение Гитлера является проблемой международного значения. Она затрагивает прежде всего интересы суверенных государств-участников Берлинского соглашения и Нюрнбергского процесса. Затем Бразилии, на чьей территории был обнаружен предполагаемый Рейхс-

канцлер и куда, надо полагать, он проник нелегальным путем. Со времени вступления в силу обвинительных актов, касающихся военных преступлений, политическая карта мира, однако, претерпела значительные изменения. И ГДР, и ФРГ объявили о своей заинтересованности. Австрия, где Гитлер родился и проживал в разные периоды своей жизни, также может пожелать участвовать в опознании, причем неизбежно — боюсь — возникнут сложности в связи с законами о выдаче. Наше правительство еще не выработало окончательной позиции в этом вопросе, однако мы собираемся обратиться в ООН и поставить этот вопрос на повестку дня, как вопрос первостепенной важности. Я дал инструкцию членам американской делегации выяснить точку зрения Генерального Секретаря...

— Что насчет Израиля?

Напряженный голос. Сильный акцент врезался в хор голосов.

— Почему вы не упомянули об Израиле, господин Государственный Секретарь? Ведь он наш пленник, не так ли?

— Поверьте мне, господин Саймон — это ведь господин Саймон, не так ли? — Секретарь на мгновение прикрыл глаз, заслоняя их от горячего сгущенного света. — Я был бы рад дать вам недвусмысленный ответ. Однако пока что наши контакты с вашим правительством не привели ни к каким удовлетворительным результатам. В ответ на нашу телеграмму, посланную сразу же, как только появились достаточные основания для серьезного размышления, было получено лишь рутинное подтверждение о ее вручении. Наши попытки контактов на самом высоком уровне также были разочаровывающими. Как мы понимаем, ваше правительство отказывается официально реагировать на сообщения о поимке Гитлера. Мы не получили ответа и на запрос о возможной позиции Израиля в случае международного процесса. Мы будем, разумеется, продолжать поиски максимально благоприятной формулировки, которая учла бы интересы Израиля в этом деле и интересы всей еврейской общины в целом...

— А что, если мы сами его извлечем и переправим в Израиль? Тот же голос, задиристо.

— Боюсь, мне трудно будет ответить на столь гипотетический вопрос. Прецедент, который, как мне кажется, вы имеете в виду, мистер Саймон, — я говорю о деле Эйхмана — породил некоторые серьезные сомнения относительно международного права и согласованного использования его.

— Господин Секретарь. Энн Кари. „Майами Геральд“. Ведь, в действительности, можно забрать оттуда всю эту группу. Подобрать их при помощи вертолета. Почему это не делается?

— Это совсем не так просто, мисс Кари. Насколько нам известно, ближайшая посадочная полоса, в Ороссо, была вплоть до последних дней затоплена водой. Однако, даже при наличии посадочной базы подобная операция представляет серьезные технические трудности. Не ясно также, как отнесется поисковая группа к вмешательству на этой стадии. Возможно, мистер Саймон сможет нам кое-что добавить.

Сдержанный смех, лязг металлических стульев.

— Ну, вернемся в катакомбы, — пробурчал Шеф.

Молодой человек последовал за ним. Они протиснулись сквозь толпу и остановились у двери. Уже почувствовав холодок пустого теперь коридора, молодой человек услышал громкий, чем-то привлекающий внимание голос:

— Можете ли вы уверить нас, уверить со всей твердостью, что будет организован объективный процесс и — более конкретно — что обвиняемый сможет воспользоваться для своей защиты всей полагающейся ему по закону помощью?

Закрывшись за ними, обитая байкой дверь отрезала ответ.

15

— Да, но почему же я?

Произнеся эту древнюю, как мир, банальность, Джон Ашер почувствовал, как свинцовое раздражение охватывает его. Впервые за время безумных извивов охоты его сердце сдало. Равнина с холмиками сагуаро, теперь в полном цвету, скалы с их бледным ковром снега — все стало серым.

Эли Барах начал было убедительно жестикулировать, словно совершая некий ритуальный танец. Но Ашер резко прервал его:

— Знаю. На самом деле ответ не нужен, правда?

— Друг мой Ашер, ты ошибаешься. Знаешь ли, что говорится в книгах о колене Ашера, к которому ты принадлежишь? О, это упрямый народ, они впадают в долгую зимнюю змеиную спячку. Кто же еще? Шимон кончился, мир для него теперь — зеркало, настолько пустое, что оно не отражает даже его собственный облик. Он не сможет судить. Я? Я должен служить Закону, да будет благословенно его Имя. Ицхак? С тех пор как умер Гидеон, он преис-

полнен чувством собственной значительности; он надулся от горя, как другие — надуваются от важности. Остаешься только ты, брат мой. Ты, помнящий о справедливости, о том, что там, в мире, откуда ты пришел, человека считают невиновным, пока вина его не доказана.

Крик застрял у Ашера в горле. Но он справился с собой, сказал ровным голосом:

— Я не адвокат.

— Правильно. Верно. Где есть храм, пусть говорит рабби. Где есть лишь рабби, пусть неученые займут свое место. Где осталось лишь десятеро простых людей, пусть они объединяются в совете. Где остался лишь один человек, да будет он крепок, каким был храм, пусть ищет значение Закона, как рабби, советуется с собой, как если бы в сердце у него было десятеро справедливых. У нас в руках — лишь пепел, чтобы возжечь огромный костер.

И он дотронулся невесомыми пальцами до руки Ашера.

— Послушай, Эли, нам осталось совсем немного. Нас, должно быть, уже ищут. Возможно, Либер в Ороссо или даже где-нибудь ближе. Как только мы выберемся, все это можно будет проделать по всем правилам, как положено. Эли, мы играем, словно в пьесе, и мне это надоело.

— Нет. Мы все решили. Мы сотни раз раздумывали над этим за последние дни. Те, кто ищет или ждет нас за этими горами, — не наши. Шимон еще может немного продержаться, но он уже подобен мертвому дереву. Двинь его — он сломается. А с меня — достаточно! „Готов я остановиться“, как говорил Псалмопевец. Теку — знак, посланный нам. Он должен быть свидетелем суда. Этот индеец — гость из Рая, пришедший увидеть суд над тем, кто хотел изгнать из жизни Бога, да будет благословенно Имя Его!

— Из Рая?

— Я понимаю. Вонь, летучие мыши, пиявки, да? Но это единственное, что еще подобно Саду на земле. Люди уничтожили все остальное, расчищая, загрязняя леса, чтобы они не напоминали им о том, самом первом Саде. Только здесь еще бывают мгновения...

Ашер вспомнил неизвестный знойно-золотой цветок, с нежными, как воздушная осенняя паутина, листьями, который сиял на краю болота, и беззвучное падение звезд в гремящее озеро, и пение птицы, невидимых под древесными шатрами. Гость из Рая...

Теку раздавил орех када и втер масло в ладонь. Он полировал

резные ножки церемониального стула. Его пальцы скользили по спиральному орнаменту, — абстрактному, но безошибочному изображению языка муравьеда. Там, где проходила его рука, темное дерево начинало отливать красным. Теку долго выбирал дерево, и на своей щеке проверял его зернистость. Он выжег в живом стволе нужные углубления и превратил стул в светящееся чудо. Работа должна была быть совершенной. Он знал, что за ним наблюдают. Не белые — эти были, как слепые, — но ксингу, а теперь еще двое разведчиков-жиаро, зашедшие далеко за границы своей территории. Они, конечно, попытались скрыть свое присутствие. Однако после небольшой ночной вылазки Теку убедился, что за ними действительно следили. Каждая из оставленных ими стоянок была тщательно обследована и прочесана в поисках полезных предметов. В последние дни наблюдатели, казалось, забыли обо всем, кроме самых необходимых мер предосторожности. Ребенок различил бы, где они сидели — трава примята, на земле коричневые метки и листья, которые они жевали и сплевывали. Иногда они бывали столь беззаботны или презрительны, что позволяли услышать себя. Четыре шага: кто-то тяжелый и его более легкий товарищ. Теку услышал этот звук незадолго до заката. Никто из белых так и не пошевелился. Еще и глухие вдо-бавок.

Он залюбовался своей работой. Дерево блестело в свете раннего солнца. Королевский стул, сиденье, подходящее для Старика, чей язык Теку не понимал, чья кожа висела и хлюпала, как у болотной крысы, сдохшей три дня назад, но в чьих глазах резчик видел две точки холодного серебра, какие бывают лишь у величайших рассказчиков или заклинателей духов.

Он поднял стул и понес его в круг, очищенный почти в самой середине лагеря, как приказал Шимон. Пусть эти пугала-жиаро пораскрывают рты от удивления. Пусть молва о его троне дойдет до самых Десяти водопадов...

Ицхак Амзель не мог оторвать глаз от этого блестящего творения. Он неуверенно провел пальцами по изящно округленному сиденью. Теку был ловок и умел все: ходить, собирать пищу, очищать лагерь. Ловкость эта всегда вызывала у Ицхака какое-то озабоченное удивление. Он знал о таких искусствах, видел такое в фильмах о приключениях в джунглях. Но здесь он самолично все это наблюдал — воплощенное в этом маленьком коричневом индейце, столь хрупком, невзрачном по сравнению с Бена-

церовым или отцом Ицхака. Индейцу в свою очередь нравилась выносливость мальчика, его манера ходить за взрослыми по пятам и при этом иногда открыто им не повиноваться. Он учил мальчика обращаться с духовой трубкой, бегать, рассекая со свистом воздух, улавливать изменения теней, означавших дичь.

Впервые с того дня, как они нашли хижину, Шимон открыл водонепроницаемую металлическую трубку, в которую Либер сунул листы обвинительного акта и смертного приговора. Лучше всего будет зачитать их вслух, затем передать Джону Ашеру и обвиняемому; а затем он, Шимон, начальник группы и полномочный представитель государства, выскажет, со всюю твердостью и ясностью, основания, причины и мотивы, побудившие его начать слушание дела здесь, на пересечении X и Y, между джунглями и Кордильерами, с собой в роли председательствующего судьи, Эли Барахом в роли толкователя Закона, Ашером — в роли защитника, Ицхаком и Теку — в роли свидетелей. Он изложит причины того, что обычный здравый смысл и мировое общественное мнение несомненно заклеямили бы как нечто из ряда вон выходящее, безумное, но что Шимон, по окончательном рассмотрении, считал необходимым и должным. Силы группы быстро таяли, ее решимость, после поимки пленника, уменьшалась, их ждал недостойный конец. Шимон принял решение объявить все это с подобающей торжественностью. Он обдумывал фразы, которые, как он знал, могли быть произнесены только в этот один и единственный раз в истории человечества.

Теперь все, казалось, было готово. Обвиняемый вышел из шалаша, Ашер следовал за ним. Рот Шимона пересох. Он ждал, пока они займут предназначенные им места. Но подзащитный Ашера, прижав к боку парализованную руку, вдруг заговорил.

16

Пункт первый. Вы должны понять, что это не я изобрел. Не Адольф Гитлер придумал расу господ. Не Адольф Гитлер выдумал порабощение низших народов. Ложь. Ложь. Впервые я понял это в ночлежке, в Маннергейме. Это было в... Господь помоги, давно это было. И блохи. Большие, с ноготь. 1910, 1911? Какая теперь разница? Там я впервые понял вашу тайную силу. Тайную силу вашего учения. И *вас самих*. Избранный народ. Избран Богом, быть Его народом. Единственная раса на земле, избранная,

возвышенная, отделенная и выделенная из человечества. Гриллер научил меня. Слышали вы про Грилля? Нет. Вы ничего обо мне не знаете. Яң Гриллер. Но звали его по-другому. Слышите меня? Он назывался Яном, врал, что он бывший священник. Но мог им и быть. Настоящее имя его было Иаков. Иаков Гриллер, сын польского раввина. Или галицийского. Какая разница? Один из ваших. Мы были рядом. Это он научил меня, показал мне слова. Избранный народ. Собственный народ Бога, избранный среди нечистых, среди столпотворения народов. Я обещал только тысячу лет. „Навечно“, — говорил Гриллер, — „вот здесь это написано“. Белыми огненными буквами. Идея избрания, отделения народа. Железный закон — обрезание и знак у вас на лбу. Один закон, один народ, одна судьба до скончания времен. „И сожгет Иисус Гай, и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня“. „И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества“. Все — мужчины, женщины, дети. Служить Израилю в цепях. Но чаще уже некого было обратить в рабов. „И предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, всех истребили мечом“. Вот ваши священные книги. Запах крови. Иаков Гриллер, приятель мой Гриллер, и Нейман, для которого я рисовал открытки — они пахли дерьмом. Но они учили меня. Что народ должен быть избран, чтобы свершить свою судьбу, что никто не может стать этим славен. Что истинный народ — тайна, единое тело, управляемое Богом, историей, несмешанным горением крови. Не важно, что называете вы корнями мечты. Тайна воли, избранности. Завоевать землю обетованную, убить всех, кто преграждает путь, объявить себя вечным. „Да дуют в трубы в Сионе. Да принесут ангелы Господни огонь и чуму нашим врагам“. Слышно было, как трещат блохи под пальцами Грилля. Господи, каким вонючим было его дыхание. Он читал книгу. Вашу книгу, где священна каждая буква и каждая завитушка каждой буквы. Так? Читал, пока не гасили свет, и после напевал себе под нос, он ведь знал все это наизусть, еще со школы, и слышал, как пел его отец. Раввин. „Предали заклятию все, что в городе“. В Самарии. Потому что самаритяне читали другие книги. Потому что они построили иной жертвенник. Шесть локтей, они сделали семь или пять, Бог их там разберет. Истребили мечом. Всех — мужчин, женщин, детей, овец, собак также. Нет, собак нет. Это ведь одно из нечистых существ, что прыгают или ползают по земле, как филистимляне, нечистые Моава, про-

каженные Сидона. Уничтожить город из-за идеи, из-за расхождения в словах. О, то было великое изобретение. Один Израиль, один народ, один вождь. Моисей, Иисус, тот помазанный царь, что убил свои тысячи, нет, десятки тысяч, и танцевал перед аркой. В Компьене, кажется? Говорят, я там танцевал? Всего лишь небольшой танец.

Что за гордыня, что за жестокая хитрость. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, покрыты ли язвами, как Иов или как Нейман, расчесывающие вонючие яйца. Гриллер сказал мне это. Ян Иаков Гриллершмуль Гриллер или как там произносилось его вонючее имя, воняющий мочой и дерьмом. Даже он, отступник, изгнанник из Сиона. Все же он был из избранных. „Слушай, слушай, Ади, — никто больше не называл меня Ади, — ты думаешь, что я на самом деле таков — неудачник, обитатель ночлежного дома? Ты слеп. Все гои слепы. Да будет тебе известно, Ади, что я — один из семидесяти двух избранных, избранных даже над избранными, один из скрытых справедливых, на ком покоится земля. И пока ты ночью храпишь и глотаешь слюну, слушай меня, Ади, здесь, в этом бараке, прямо здесь, мой слепой друг, ко мне может явиться Мессия, и он узнает меня, одного из своих“. И он закатывал глаза и мелко смеялся, желтым еврейским смешком. Этот смех резал меня, как нож. Но я научился.

Я научился у вас всему. Отделить народ. Удерживать его от смешения. Приманить его обетованной землей. Очистить эту землю от тех, кто ее населяет, либо обратить их в рабство. Ваша вера, ваше высокомерие. Прожектора в Нюрнберге. Умный Шпеер. Прямо в ночь. Помните? Огненный столп. Тот, что привел вас в Ханаан. Горе всем полулюдям, стоящим вне вашего союза с Богом. Моя идея о „сверхчеловеке“? Подержанная дешевка. Философский мусор Розенберга. Мне нашептывали, что и *он* тоже. Мой расизм был не более чем пародия на ваш, голодная имитация. Что такое тысячелетний Рейх в сравнении с вечностью Сиона? А может, я был ложным Мессией, посланным ранее. Судите меня, и вы должны будете судить себя. Сверхчеловеки, избранные!

— Мой клиент имеет в виду... — начал Ашер.

— ...Пункт второй. Нужно принять решение, *окончательное* решение. Ибо что есть еврей, как не вечный вирус беспокойства? Господа, я прошу вашего внимания, я требую его. Было ли когда-нибудь изобретение более жестокое, чем всемогущий, всевидящий и все же невидимый, неосязаемый, недоступный восприятию Бог?

Господа, умоляю вас, рассмотрите все это внимательно. Языческая Земля кишела маленькими божками, зловредными или утешительными, крылатыми и круглобрюхими — в листьях и ветвях, в скале и реке. Они дружили с человеком, щипали его за зад или ласкали его, но все это было на его уровне. Они обожали пироги и жареное мясо. Боги, созданные по нашему образу, согласно нашим нуждам. Даже великие божества, олимпийцы, спускались иногда на землю в обличье смертных, чтобы воевать и распутствовать. Евреи опустошили мир, отделили от него своего Бога, поместили его вне человеческих чувств. Ни формы, ни конкретно-телесного воплощения. Ни даже представления. Пустое место, могущественней, чем пустыня. Но ужасающая близость. Этот Бог шпионит за нами, выискивая проступки. Это Бог мести до тридцатого колена (слова евреев, не мои). Бог контрактов и мелочных спекуляций, соглашений и взяток. „И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде“. Тысячу овец, когда в самом начале у сумасшедшего старика было только пятьсот. Тошнит от этого, не правда ли? *Вдвое* больше. Господа, улавливаете ли вы здесь некую скользкость, моральный обман? Ввергнуть безвинного в ад, наслать на него ураган, язвы, и потом? Вдвое увеличить его доходы, добавить проценты, сунуть ему господские чаевые. Почему Иов не плюнул на этого Бога-скототорговца? Святая святых была пустой комнатой, тишиной в тишине. Евреи издеваются над теми, кто изображает своего Бога. *Их* Бог чище, абстрактней любого другого. Самая мысль о Нем превосходит силы человеческого ума. Мы — словно пыль на ветру пред Его необозримостью. Но ведь мы — Его создания, мы должны стать лучше самих себя, любить ближнего, отдавать нищему то, что имеем. Его непостижимое, необозримое присутствие окутывает нас, и поэтому мы должны подчиняться каждой букве закона, подавить свои страсти и желания, наказать плоть и ходить согнувшись под дождем. Вы называете меня тираном, поработителем. Да была ли тирания более жестокая, поработение более горькое, чем болезненные фантазии евреев? Вы не богоубийцы, но *богосозидатели*. А это во много раз хуже. Евреи изобрели совесть и превратили человека в повинного раба.

Но это — лишь первое действие. Дальше было еще хуже. Белолицый назарянин. Чего требовал от человека этот эпилептический раввин? Отречься от мира, отвернуться от отца с матерью, подставить другую щеку, платить добром за зло, любить ближнего

своего, как самого себя — да что там, сильнее, ведь любовь к себе есть зло, которое нужно преодолеть. Поистине великая кастрация! Обратите внимание на это коварство. Потребуйте от людей больше, чем они могут дать, потребуйте, чтобы они пожертвовали собой во имя высшего идеала — и вы превратите их в калек, лицемеров, выпрашивающих спасение. Что может быть более жестоким, чем преданность евреев идеалу? Назарянин сказал, что его царство, его чистота не принадлежат этому миру. Ложь, сладкая, как мед. Именно здесь, на земле, основал он свою церковь рабства. Он предал аду мужчин и женщин, создания из плоти и крови. Что были наши лагеря в сравнении с *этим*?

Сперва невидимый, но всевидящий, недостижимый, но все-требующий синайский Бог. Затем ужасная сладость Христа. Недостаточно ли этого? Нет, господа, есть и третья глава у нашей истории.

„Жертвуйте собой ради блага ближних. Отрекитесь от собственности, дабы все стали равны. Станьте, как сталь, задушите эмоции, лояльность, жалость, благодарность. Отрекитесь от родителей, от любимого человека. Ради того, чтобы на земле была достигнута справедливость. Ради того, чтобы история выполнила свое предназначение. Чтобы общество было очищено от всех его несовершенств“. Узнаете эту проповедь, господа? Рабби Маркс. „Бесклассовое общество, каждому по потребностям, все люди — братья, земля снова станет садом, рациональным Эдемом“. Во имя этого обещания — притеснения, пытки, войны, уничтожение. Историческая необходимость! Они не случайно были евреями. Маркс и его приспешники, вся большевистская братия: Троцкий, Роза Люксембург, Каменев. Поглядите на них: пророки, мученики, иконоборцы, жонглирующие словами, опьяненные террором. Только шаг, господа, всего один маленький шаг! от Синая к Назарету, от Назарета к Новейшему завету Маркса. Евреи стали нетерпеливы, их мечты бродили. Царство правды, здесь и теперь, начиная со следующего понедельника!

Трижды продавали нам евреи трансцендентальность. Трижды заражали они кровь нашу и мозг соблазном совершенства. Ложись спать, и слышится в ночи вопль еврея: „Пробудись! На тебя глядит Бог! Разве не создал Он тебя по своему образу и подобию? Отрекись от жизни, и ты сможешь вновь ее обрести. Пожертвуй собой во имя правды, справедливости, блага всего человечества“. Слишком долго в ушах наших звучал этот крик,

господа, слишком долго. Он надоел людям, надоел до смерти. Когда я обрушился на евреев, никто не явился их спасти. Никто. Франция, Англия, Россия, даже переполненная евреями Америка не сделали ровным счетом ничего. Они радовались, что пришел наконец Истребитель. О, конечно, в открытую этого никто не говорил. Но втайне все радовались. Нужно было обнаружить и истребить вирус утопии прежде, чем он заразит всю нашу западную цивилизацию. Вернуться к человеку эгоисту, человеку жадному, близорукому, но при этом теплому, домашнему, уютно свернувшемуся в собственной вони. „Мы избраны быть совестью человечества“, — сказали евреи. И я им ответил, да, я, господа, тот, кто стоит сейчас перед вами: „Вы не совесть человечества, евреи. Вы нечистая его совесть. Мы изрыгнем вас и будем жить спокойно, с миром в душе“. Окончательное решение. Могло ли быть иное?

— Вопрос, который затрагивает мой подзащитный... — резко произнес Ашер.

— ...Не прерывайте меня. Я стар, мой голос устает. Господа, я взываю к вашему чувству справедливости. К известному вашему чувству справедливости. Выслушайте меня. Взвесьте пункт третий. Он заключается в том, что вы преувеличили, значительно, истерически преувеличили. Вы сделали из меня сумасшедшего дьявола, воплощение ада. Квинтэссенцию зла. Я же, в действительности, был всего лишь человеком своего времени. Конечно, ведомый — как бы это выразить? — чутьем к высшим, космическим возможностям. Я умел направлять умы, но я был человеком своего времени.

Вполне средним, если вам угодно. Если бы это было иначе, если бы был я тем необычайным демоном ваших риторических фантазий, миллионы мужчин и женщин не увидели бы во мне своего зеркала, чистого зеркала своих желаний. Уродливое, согласитесь со мной, время. Но не я создал его уродство, и не я был худшим. Сколько несчастных маленьких лесных человечков убили или обрекли на смерть ваши друзья-бельгийцы, изнасиловав Конго? Ответьте мне, господа. Может быть, мне вам напомнить? Около *двадцати* миллионов. Весь этот пикник был в самом разгаре, когда я только родился. Что были Роттердам или Ковентри в сравнении с Дрезденом и Хиросимой? Я не самый худший в этой черной игре цифр. Разве я изобрел лагерь? Кто сломил Рейх? Кому отдали вы миллионы, десятки миллионов людей от Праги

и до Балтийского моря? Я был мелочью по сравнению с *ним*. Вы считаете меня сатанинским отродьем, лжецом. Можете мне не верить. Прислушайтесь к голосу неподкупного свидетеля, святого писателя, который вышел из России и проповедовал миру. Давно это было. Память болит. Человек из архипелага. Да, это слово запоминается. Что говорит он? Что Сталин убил *тридцать* миллионов. Что он создал совершенный аппарат геноцида, когда я был еще безвестным мазилкой в Мюнхене. Мои мальчики пользовались кулаками и кнутами. Я этого не отрицаю. Время пахло голодом и кровью. Но когда человек наконец выплевывал правду, они прекращали забавляться. Сталинские палачи работали ради собственного удовольствия. Они заставляли человека издеваться над собой, признаваться в том, что было ложью, безумием, грязной шуткой. От правды они лишь больше зверели. Не я утверждаю это: те из ваших, что выжили, ваши историки, мудрец из ГУЛАГа. Кто же из нас был большим преступником, чья жажда крови была сильнее? Я или Сталин? Наш террор был деревенским карнавалом по сравнению с его террором. Наши лагеря занимали ничтожные квадратные километры; он опутал колючей проволокой целый континент. Кто выжил из тех, что сражались с ним, привели его к власти, исполняли его волю? Никто. Он раздавил их кости в порошок. Когда я пал, мои все были живы, жирны, искали, где бы спрятаться или как бы отомстить, ползли к вам со своими покаяниями и воспоминаниями. Сколько евреев убил Сталин, ваш спаситель, ваш союзник Сталин? Ответьте мне. Не умри он в свой час, никого из ваших не осталось бы меж Берлином и Владивостоком. Но Сталин умер в своей постели, и мир ходил на цыпочках возле лежбища этого тигра. А за мною вы охотитесь, как за бешеной собакой, подвергаете суду (по какому праву, по какому мандату?), тащите меня по болотам, привязываете меня ночью. Я очень стар, память моя ослабела. Несерьезная я дичь, господа, едва ли стою ваших усилий. А мир пытается политзаключенных, обливает напалмом голых людей, истребляет на земле все живое. Все это делалось и продолжает делаться совершенно без моей помощи, много после того, как все сочли меня мертвым.

Ашер громко, пусто вздохнул.

— Не трудитесь, господин адвокат. Осталось сказать лишь последнее. Странная это книга, "Еврейское государство". Я внимательно ее читал. Прямо как из Бисмарка — язык, идеи, сам тон.

Умная книга, согласен. Сформировать еврейское государство по образу нового германского! Но кто в действительности создал Израиль, Герцль или я? Рассмотрите этот вопрос беспристрастно. Превратилась бы Палестина в Израиль, собрались бы евреи в этом пустынном уголке Леванта, признали бы вас Соединенные Штаты и Советский Союз, *сталинский* Советский Союз, если бы не Катастрофа? Катастрофа придала вам мужество несправедливо обиженных, позволила вам выгнать арабов из их домов, с их полей — они ведь были завшивевшие, бедные и стояли поперек Богом указанного вам пути. Катастрофа позволила вам существовать, зная, что те, кого вы изгнали, гниют в лагерях беженцев, менее чем в двадцати километрах от вас, погребенные заживо в отчаянии и безумных мечтах о мести. Возможно, я есть Мессия, истинный Мессия, новый Шабтай, чьи позорные деяния были дозволены Богом ради того, чтобы привести Его народ домой. „Катастрофа была необходимой тайной пред тем, как Израиль наберется сил“. Не я сказал это: ваши пророки, ваши толкователи мыслей Бога, что собираются по пятницам в Иерусалиме. Почему же вы не поклонитесь мне, сделавшему вас воинами, превратившему вашу долголетнюю, пустую и беспочвенную мечту о Сионе в реальность?

Господа судьи: я перенял мои принципы у вас. Я сражался с предательским идеализмом, которым вы отравили человечество. Преступления других равнялись моим или превосходили их. Рейх зачал Израиль. Таковы мои последние слова. Последние слова умирающего против последних слов тех, кто страдал; все должно остаться в тумане сомнения, пока не наступит великое разъяснение всех тайн...

Теку не понял слов. Достаточно было их твердого звона. Он вскочил, чтобы закричать: „Доказано“. Закричать, дважды в землю и дважды к северу, согласно обычаю. Но воздух, казалось, вдруг взорвался вокруг него. Барабаны приближались, вбивая крик обратно в горло. Он взглянул в небо, в ушах у него гремело.

Первый вертолет навис над поляной. Второй...

*Сокращенный перевод с английского
С. Шаргородского*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

У этого перевода есть своя история. Человек, который предложил нам его первым, был в растерянности: повесть ему нравилась, но концовка — пугала. “Я должен посоветоваться с авторитетным израильянином”, —

сказал он, наконец. Он нашел такого — уважаемого, в летах, бывавшего в России, “знатока русско-еврейской души”. Знаток сказал, что повесть ни в коем случае нельзя переводить на русский. “Русские евреи этого не поймут”.

Все, что угодно, можно неправильно понять, в том числе — эту повесть. Претендовать на “правильное понимание” вообще нельзя. Претендовать можно только на толкование. Мое толкование выросло из воспоминания о разговоре, имевшем место в зимней Москве, среди ледяных сугробов с желтыми воронками мочи, в гуще шумного и уже тогда немного чуждого московского толковища. Мой собеседник, изодранный интеллигент, от любой жизненной мелочи тотчас воспарявший в абстрактные, выси метафизических построений о Замысле и Предназначении, вдруг сказал мне: “Никогда я не мог понять рыцарских поединков. Знаешь, когда рыцарь сбрасывает с коня, приставляют копье и спрашивают: “Сдаешься?” И он отвечает: “Сдаюсь!”, а потом встает и как ни в чем ни бывало продолжает жить. Я сказал бы “Сдаюсь” только для того, чтобы вскочить — и убить!”

Когда с высот Духа мы спускаемся на такую маленькую и бесконечно жестокую землю, все мы оказываемся одинаковы: унижение нам непереносимо. В одном фантастическом романе героя учат не бояться. “Страх, — говорит ему, — это маленькая смерть”. Унижение — тоже маленькая смерть.

Повесть Штайнера — во внешнем своем плане — это повесть о мести, точнее — о попытке отмщения за самое тяжкое из унижений: превращение своего народа в навоз для чужой истории. Но странная это месть. Посланные ее совершить молятся, чтобы Господь не требовал от них вершить правосудие. И сознают, что отомстить за 6 миллионов невозможно. Даже за одного ребенка — нельзя. (А за одну слезинку ребенка?) Потому что когда один из них, самый молодой и наивный, воображает себе все виды возможной мести, его кровожадные мечты оборачиваются мальчишеским лепетом в сравнении с реальностью преступления. И в результате сами становятся не отмщением, а — преступлением.

В этом месте из беспросветной мглы, в которую, кажется, погружено все, происходящее в повести: блуждание во тьме болот, ночное подслушивание, летящий во мраке безумный голос — всплывает первая точка ослепительной ясности. Преступление не просто влечет наказание — оно неразрывно связано с ним. Где-то на ниточке этой связи находится черта, переступив которую, сам превращаешь добро в зло и наказание в новое преступление и вяжешь очередное звено цепи человеческих несчастий. Знает эту черту лишь Создатель, потому и отмщение — Ему. Люди — в растерянности отступают. Предпочитают забыть. Не продолжать футбольный матч: “Сначала Гитлер — нас, потом мы — Гитлера”. Не удлиннять эстафету “зло—добро—зло”. Тогда что же? Очиститься забвением.

Евреи хотели бы забыть — им так спокойней: можно снова стать нормальными: как все. Мир хотел бы забыть — ему так удобнее; можно снова считать евреев наряду со всеми. Здесь польские повстанцы, здесь русские партизаны, а здесь еврейские женщины. И дети, полтора миллиона детей. А напоминать — неприлично.

Сложность жизни в том, что она реальная только благодаря тем, кто помнит. Это они удерживают мир над пропастью небытия. Будущее существ-

вует лишь до тех пор, пока есть прошлое; когда его целенаправленно отнимают у народа, остается лишь "светлое будущее". Жизнь держится не на цепочке преступлений и воздаяний, она держится на памяти.

Помните дано еврею. Не только ему, конечно: всякий народ помнит свое, — но еврей помнит за все человечество, такова его судьба, я бы сказал — предназначение.

Именно поэтому история разворачивается как непрерывный диалог Еврея и Создателя, создавшего свободную человеческую волю творить добро — и зло. Мир же, как сказал кто-то, к этому диалогу напряженно прислушивается, делая на досуге (пока решается его судьба) свои важные дела: войны, бомбы и революции.

Повесть Штайнера мне представляется одной из частичек этого бесконечного диалога. Конечно, Гитлера нет в бразильских джунглях и никакие еврейские охотники его там не найдут. Но в каком-то ином измерении, текущем параллельно "реальной" жизни, Еврей и Гитлер вечно стоят друг против друга, как Христос и Пилат у Булгакова. Их противостояние есть одновременно связь: преступления с воздаянием, преступника с жертвой, зла с добром. Гитлер, — сказано в повести, — не абсолютен до тех пор, пока есть хоть последний еврей, потому-то Гитлер должен уничтожить Еврея, изгнать его из истории, освободить от него мир.

Соблазнительно-убедительные речи Гитлера — это философия нового мира, который наконец-то избавился от невыносимого груза совести и рвущей боли воспоминаний. Мира без морали, без добра и зла, не черно-белого, а только — серого. Мира без Еврея, то есть без еврейского Бога.

Либер исчезает, и с ним — фантастическое предположение — исчезает Совесть. Ибо кто такой Либер-Еврей, как не символ совести? Не потому ли никто не может вспомнить его лицо? У совести нет лица, у нее миллионы лиц — всех замученных в Освенциме и Камбодже, на Колыме и в турецкой Армении, она выползла из смертной ямы в Бялке, на ней обгорела кожа. И вот она уходит, мы так никогда и не узнаем, а был ли мальчик-то, она уходит, оставляя нас наедине с соблазнительной полуправдой. Конечно, есть правда в том, что говорит Гитлер о еврейской жестокости, о давящей тяжести монотеизма, о преступлениях Сталина, о Израиле, созданном "благодаря" Катастрофе. На это полуправда; абсолютной она становится, когда превращается в монолог на сцене, с которой ушла Память.

Память как бы нарочно уходит со страниц повести, оставляя нас наедине с Великим Обольстителем (или Великим Инквизитором?), предоставляя ему сказать то последнее Слово, тот "Второй Кадиш", от которого предостерегала: "Залепите уши воском!" Слово обольщения той "простой" жизнью, где мы — как "все", где "никто не виноват" и "все виноваты". Нас — и мир, — выставляют на испытание соблазном беспамятства, политических "соображений" и житейских "насущностей". Мир, — показывает нам Штайнер, — испытания не выдерживает. А мы?

Кому мы поверим: Гитлеру? Либералу? Или Тому — Третьему?..

Р. Блехман

ШТРАФНИК

В марте сорок четвертого года майор юстиции Арно Соостер получил новое назначение — в военный трибунал ...ой армии, на Карельском фронте. В армии вдруг, как бывает только при вспышках эпидемии, обнаружались десятки самострелов, — все, или почти все, на северном фланге.

— Люди устали, и еще морозы сорок градусов, — сказали Соостеру в штабе армии. — Наверное, от этого — от усталости и морозов. А вообще, черт знает что: Конев вышел на Прут, а здесь — самострелы! Черт знает что.

Было пять часов утра. Карелакша, неподвижная и безголовая, чернела по-зимнему в окружении черных зимних елей и сосен.

Было пять часов утра. Майор Соостер вскочил — над его головой, с улицы, высаживали окно и остервенело дробили стекло. Схватив очки и пистолет, которые лежали на столе рядом, майор вытянул обе руки вперед и стал ждать. В оконный проем, где теперь не было уже ни стекла, ни рамы, затекал морозный, пахнувший льдом и скрипучим, сухим снегом воздух.

Держа в руках пистолет и очки, майор ждал — в окно по-

Аркадий Львов

ДВА РАССКАЗА

стучали опять, осторожно, с большими паузами, как будто опасались разбудить человека, хотя именно для этого — чтобы разбудить — стучали.

— Сейчас, сейчас! — крикнул майор и тоже постучал в окно, потому что тот, на улице, мог не услышать его голоса.

Майор одевался торопливо, хотя две-три или даже пять минут, которые он выгадывал при этом, не имели решительно никакого значения, и осторожный, с большими паузами, стук человека с улицы говорил о том же — что можно и не спешить.

— Сейчас! — крикнул опять майор Соостер, подстегивая себя собственным голосом. — Сейчас!

Умывался майор шумно, и шум создавал ощущение предельного уплотнения времени, отпущенного ему, военному судье Арно Соостеру, которого на улице, где сорокаградусный мороз, ждал сейчас человек.

— Ну вот, мы и готовы, — сказал майор. — Извините, что так долго, сержант. Замерзли, а!

— Успеем еще, — уверенно ответил сержант. — Часа четыре нам ехать. Успеем еще.

— Неужели четыре часа? — изумился майор. — Что же мы привезем им: два окоченелых трупа — майора и сержанта. А докладывать кто будет?

Сержант не ответил на шутку судьи — он сосредоточенно разгребал солому в розвальнях и, когда работа была закончена, велел майору садиться да поглубже зарыться в солому. Каленные морозом соломинки лопались с хрустящим звонким призвуком, как передержанные на огне стеклянные трубки.

— Химия! — рассмеялся майор. — В классе мы давили стеклянные трубки, и химичка не могла догадаться, откуда идет хруст. Ногами давили. А ты успел закончить школу, сержант?

Сержант по-прежнему молча возился у лошадиной морды, потом стал поправлять ватник на лошадином брюхе, и майор, которому, в общем-то, не позарез нужно было знать, окончил или не окончил школу сержант, его ездовой на один Божий день, сгреб на себя солому, закрыл глаза и приказал себе спать.

Дорога военного судьи вела на юг, в сторону Шомбы. Ехать можно было вдоль озерного берега, а можно было, короче, через занесенное снегом Топозеро.

— Поедем через озеро, — сержант не спрашивал, сержант просто сообщил майору, что дорога их пойдет через озеро.

— А не заблудимся? — спросил майор.

— Нет, — коротко и решительно ответил сержант, и эта краткость и приказной тон сержанта не понравились майору, не понравились и внушили ему беспокойство.

— Ну, смотри, генерал-ямщик, — рассмеялся майор, — я целиком полагаюсь на тебя.

Поехали через озеро.

Майор опять приказал себе спать и даже ездового поставил в известность, что намерен спать, как будто спрашивал у него разрешения. Но сон не шел — получалась только треплющая нервы полудремота, когда мысли лезут в голову беспорядочно и безо всякого спросу. Не мысли даже, а какие-то суетливые человеческие фигуры, все почему-то вполоборота, по поводу которых в голове майора проносились трудно уловимые, неясные, однако же все без исключения тревожные, слова.

Убедившись, что сна не будет, майор заставил себя думать о самострелах, дело которых он едет разбирать.

“Люди устали, и еще эти морозы сорок градусов”, — повторил майор сказанные ему в штабе слова и стал думать о войне, которая, очень возможно, закончится нынешним, сорок четвертого года, летом, потому что на втором Украинском немцев уже отбросили к границам и, еще месяц-другой, против Гитлера поднимется Европа, а с запада ударят наконец наши — черт их дер! — союзники. Если бы они высадились во Франции прошлым летом, когда немцев погнали от Курска и Орла, рассуждал майор, война бы уже наверняка шла к концу, и никакого дела о самострелах сейчас не было бы, и не узнал бы майор сорокаградусных карельских морозов.

Но союзники — черт их дер! — не высадились и неизвестно, когда высадутся, Европа еще не поднялась и неизвестно, когда поднимется...

— Так что, — вдруг заговорил сержант, — не узнаете, товарищ майор? А я вас сразу, товарищ майор, я вас сразу.

Внутри, в горле, у майора екнуло, потому что, думая о своем, майор вовсе забыл о сержанте, и человеческий голос прозвучал неожиданно, как с четверть часа назад треск высаживаемой рамы.

— Не узнаете, значит, — повторил ездовой, причем в нынешний раз в этих словах уже ничего не было от вопроса: сержант был уверен, что майор не узнает его.

— Нет, — сказал майор, — не помню. Сорок третий год, Степной фронт?

— Не-е, — протянул ездовой, как будто догадался, что майор просто так, для большей убедительности, назвал конкретно Степной фронт, хотя наверняка знал, что там, на Степном, они не встречались. — Забыли, значит, товарищ майор.

Снег на озере, открытом ветру, лежал неглубоким ровным слоем, лошадиная нога погружалась в него едва до середины голени, но майор почему-то думал о метровых сугробах, в которых можно было бы запросто упрятать их, его и ездового, вместе с санями и лошадьё, так что только где-то весной... И еще, по той же неизвестной причине, думал об огромных, метра три в поперечнике, полыньях, которые неведь отчего могли образоваться здесь в сорокаградусный мороз, так что даже весной не обязательно...

— Ну да, — понимающе продолжал сержант, — откуда вам все упомянуть. Всего не упомнишь.

Сержант ошибался: у майора Соостера была отличная память, и еще до того, как он помог ему — сорок первый, сентябрь, Вязьма, — судья вспомнил лейтенанта Старца, Андрея Степановича, осужденного по делу об убийстве сержанта Сироткиной, Людмилы Петровны, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения.

— Не помню, — решительно сказал майор. — Всего, конечно, не запомнишь.

— Вы меня тогда в штрафную роту, — продолжал ездовой, не обращая внимания на слова майора, — а меня надо было расстрелять. По справедливости, надо было расстрелять, а вы — в штрафники меня. Где же справедливость — я человека убил, девчонку девятнадцати лет, а меня жить оставили.

— Сержант, а ты уверен, что не обознался? — сказал майор и удивился собственным словам, удивился еще до того, как произнес их вслух.

— Ну, как же, товарищ судья, — возразил ездовой, и это обращение "товарищ судья" почему-то особенно не понравилось майору, — я и фамилию вашу запомнил: Соостер. Я тогда еще думал, что фамилия еврейская — у них бывают такие фамилии, на "ер" кончаются, — а потом уже догадался, что из эстонцев вы.

— Да, — задумчиво произнес майор, — что-то такое я в самом деле начинаю припоминать.

— Ну вот, — одобрил его сержант, одобрил, как показалось майору, за то, что он оставил наконец свою нелепую игру в прят-

ки. — Конечно, товарищ майор, могли у вас быть и другие похожие дела, но такого дела больше не могло быть.

— Почему же не могло? — возразил майор. — Убийство из ревности — не такая уж редкая вещь. А у тебя, если не ошибаюсь, тоже ведь из ревности все вышло?

— Из ревности, из ревности, — раздраженно повторил сержант, — только ревность тоже разная бывает: бывает человеческая, а бывает звериная. У меня звериная была.

— Ну, все это, брат, беллетристика: ревность есть ревность.

Ездовой полез под тулуп за сигаркой, долго рылся там, потом почему-то так же долго никак не мог раскурить ее и вдруг зло, с расстановкой, сказал:

— Утешаете, товарищ судья, а мне на кой хрен ваши утешения! Мне ваши утешения, как баранки на...

Сержант произнес нехорошее слово, а майор Соостер подумал, что надо бы одернуть его, но не одернул.

— Мне ваши утешения, как баранки на... — повторил нехорошее слово сержант, — мне бы, товарищ судья, простая человеческая смерть, как людям. А вы меня, вместо того чтоб расстрелять, в штрафники — отдай, сукин сын, поганую свою душу за родину-мать!

— Послушай, сержант, — очень спокойно, как сказывается всякое не наобум брошенное слово, произнес майор, — никто тебя не щадил: дали тебе тогда полную меру, по закону — сколько положено, столько и дали. А что смерть тебя не берет, так это уж...

Майор не закончил своей мысли — он, собственно, и не знал, как закончить ее, потому что не решался поддержать сержанта в его вздорной жалобе на смерть, которая не берет его, хотя и было ощущение, что этому здоровому парню в самом деле нужна такая поддержка. С другой же стороны, если человек всерьез жаждет смерти, человек, у которого есть оружие, то...

— Настоящий человек, товарищ судья, сам себя к стенке должен поставить, — зло сказал сержант. — Сам.

“Ну, вот и поставил бы!” — чуть не сорвалось у майора.

Лошадь ступала ровным, точно отмеренным шагом, сани изредка поскрипывали, звезды были в небе по-зимнему чистые, и Арно Соостер внезапно поймал себя на том, что поддался нелепому сновидению, в котором была война, дело о самострелах и еще дело какого-то лейтенанта об убийстве девушки, его невесты.

— Я, товарищ судья, не всю правду сказал вам тогда, — первые

звуки человеческого голоса, услышанные майором, были далекие, и сам человек, который произносил их, был тоже далеко, как диктор, вещающий из другого полушария. — Тогда я боялся смерти. Боялся, что расстреляют меня: лицом к стенке — и в затылок.

— Нет, сержант, — уверенно произнес майор, — я опять повторяю: никто тебя не щадил, и никто твоего страха и твоего раскаяния в расчет не брал — тебе дали то, что положено за убийство в состоянии аффекта.

Это совершенно точно: в состоянии аффекта. И в приговоре так было написано, да и с самого начала и по всему ходу дела ни у кого не было сомнения — типичный случай убийства в аффекте ревности, обусловленном поведением пострадавшей. И шесть пуль, извлеченных из ее тела, свидетельствовали о том же — что убийца действовал в состоянии невменяемости.

Дело было так.

Восьмого сентября, в половине шестого вечера, лейтенант Старец, проходя мимо колхозного двора, увидел, как из сарая вышел лейтенант Ярчук; никакого значения этому Старец не придал — только замедлил шаг, совершенно произвольно, чтобы увеличить дистанцию между собою и Ярчуком, который был ему неприятен. Неприятен он был ему по причине ухаживаний за Людмилой Сироткиной, где-то с первой декады июля. Тогда же, то есть в первой декаде или середине июля, у них произошел разговор, и он, Старец, предупредил Ярчука, чтобы тот перестал приставать к Людмиле Сироткиной, его невесте еще с довоенного времени. Ярчук, которого, по словам обвиняемого, все знали как самоуверенного хахалю, нагло заявил, что невеста не жена и, кроме того, если девушка захочет отшить хлопца, так она сделает это без помощи жениха.

День или два спустя, по настоянию лейтенанта Старца, они, то есть Людмила Сироткина, Василий Ярчук и Андрей Старец, собрались втроем и в разговоре, который у них произошел, Людмила Сироткина заявила, что никаких отношений с Василием Ярчуком не имела и не хочет иметь.

Впоследствии Андрей Старец два или три раза застигал их во время разговора, который хотя и тревожил его, однако не давал оснований для достаточно серьезных подозрений.

Восьмого же сентября, в семнадцать тридцать, когда Старец, увидев вышедшего из сарая на колхозном дворе лейтенанта Ярчука, замедлил шаг, почти вслед за ним, лейтенантом Ярчуком, с

интервалом в полторы-две минуты, из сарая, осматриваясь и опрая на ходу гимнастерку и юбку, вышла сержант Сироткина.

Что было дальше, вплоть до момента убийства в сарае, Старец, по его утверждению, не помнит.

Допросить по данному делу лейтенанта Ярчука Василия Николаевича не представилось возможным: тогда же, в ночь с восьмого на девятое сентября, лейтенант Ярчук и четверо находившихся с ним в блиндаже солдат погибли во время немецкого артобстрела вследствие прямого попадания снаряда в блиндаж.

По существу настоящего дела, а именно: убийство сержанта Сироткиной Людмилы Петровны — Старец Андрей Степанович признал себя виновным.

— Я, товарищ судья, — повторил ездовой, — не всю правду сказал вам тогда. Я смерти тогда еще боялся. Помню только, что боялся, мысль то есть помню, а какое чувство было, не помню. Я сказал ей сразу: воротись, Люда, в сарай. "Нет, Андрюша, если хочешь поговорить, здесь поговорим". — "Нет, Люда, здесь разговаривать не будем — только в сарае". Она не соглашалась, и я силой затолкал ее в сарай, потому что по доброй воле она все равно не стала бы туда возвращаться.

Сержант сплюнул обгоревшую до основания сигарку и полез под тулуп за новой.

— Подожди, сержант, — сказал Соостер, — я тебя "Беломор-каналом" угощу.

— "Беломор-каналом", товарищ судья, — рассмеялся вдруг ездовой, — уже наугощали.

Соостер тоже рассмеялся, но почти тут же — раньше даже ездового — утих.

— Дверь сарая я нарочно оставил открытой, чтобы света побольше было. Ну, да и без света этого видать было свежеразостланную солому с ямкой от человеческого зада. "А ну, товарищ сержант, — сказал я ей, — садись в эту ямку и примерь ее под свой зад". "Андрюша, — заломила она руки, — да ты же просто псих стал! И как ты мог такую мысль допустить! И слова такие гадкие говорить мне! Андрюша, опомнись: ведь этот сарай не запирается, и всякий, кому охота, заходит сюда". "Мне, Людочка, — говорю я ей, — до чужой охоты дела нет. Мне только до твоей охоты дело". А она опять, что псих я стал, что человеческого слова сказать нельзя мне, что заходила она сюда одна, по женскому своему делу. "А Васенька Ярчук?" "Да ты что, — опять заломила она руки, —

да мне плевать на него, на Ваську твоего. И на тебя плюну, если такие гадости говорить будешь". "Значит, — спрашиваю я спокойно, — Васьки Ярчука здесь, в сарае, не было?" "Андрюша, милый, — расхохоталась она, схватившись за голову, — ей-Богу, ты псих стал". "Значит, — повторил я спокойно, — Васьки Ярчука здесь не было?" "Не было", — ответила она шепотом и протянула руки, чтобы обнять меня и поцеловать. "Не было, значит?" — спросил я в третий раз, тоже шепотом. А она уже не отвечала словами, она решила, что дело сделано, обняла меня, прижалась губами и в самое ухо пустила: "Целенькая я". И тут, после этих слов, вроде по черепу изнутри мне дали, и от этого удара под череп я взбесился.

Что не помню, как сбил ее с ног, правду я тогда сказал. И теперь не помню этого. А дальше что было, очень хорошо помню, как будто вчерашнее.

Она лежала на соломе, раскинув ноги, и смотрела на меня, и глаза у нее были наглые, уверенные: ведь не устоишь, не устоишь же ты, Андрюша! И руки она опять свои протянула: ну, иди, иди, мол, дурачок, чего еще откладывать... хватит откладывать. И такая она была, стерва, красивая — никогда такой красивой не была.

"Целенькая, значит, и Васьки Ярчука здесь не было?" — спросил я в последний раз, а она, дура, не понимала, что это в последний, и только губы выпятила и грудь подала кверху: иди же ко мне, псих ты мой... иди.

"И на экспертизу пойдешь?" — сказал я, ожидая, что вот сейчас она испугается, бросится мне в ноги и всю правду выложит. А она: "Ага, милый, на экспертизу", — глаза закрыла и телом стала елозить по соломе, как будто неумогу ей.

И вот тут... дайте еще "Беломорчика", товарищ судья.

Судья протянул ездовому пачку, тот взял одну папиросу, но судья велел ему оставить пачку у себя, потому что от курения натошак его, майора Соостера, целый день мутит и в голове синий чад стоит, а, когда папирос в кармане нет, так и соблазн меньше.

— И вот тут, товарищ судья, случилось со мной непонятное: в мыслях все время револьвер был, стрелять ее, стерву, надо, а руки мои по брюкам шарят, пуговички из петелек выдавливают. А она ногами уже тискает мои ступни, губы дрожат и желваки по щекам ходят; а колени мои сами подсекаются...

И вдруг опять у меня перед глазами Васька Ярчук — как он из сарая выходит и она, Людочка, тоже из сарая выходит, осматривается и юбку с гимнастеркой оправляет.

“Не было, значит, Васьки! — закричал я. — Не было!” — и пулю ей прямо в брюхо, под пряжку, в самый пуп. Я вроде сквозь гимнастерку видал его.

— Помню, сержант, — тихо сказал Соостер. — В связи с этим возникло даже мнение, что убийца действовал с холодным расчетом, как изувер. Но, строго говоря, и в аффекте может присутствовать расчет — маниакальный фокус. Я с самого начала именно так и толковал этот выстрел.

— Подождите, товарищ майор, заступаться за меня, — зло сказал сержант. — Я ведь сам знаю, что к чему. От этой пули, первой, она вдруг села, прижала руками живот и посмотрела такими глазами, что по одному этому расстрелять меня было мало. “За что, Андрюша? Не виновата я. Не виновата”. — “И Васьки не было здесь?” Она покачала головой: не было, не было здесь Васьки. Я аж заплакал от обиды: “Умираешь, Люда, а врешь. Умираешь — а врешь. Что же это!” А она мне: “Не будет тебе теперь покоя. Всю жизнь, Андрей, каяться будешь. А я тебя брошу, останусь живая — брошу”. И вот тут опять вроде изнутри мне под череп дали: “Не, не бросишь, стерва, не бросишь, говорю!” — и загнал я в нее еще пять пуль, про которые на суде говорили. Я тогда, на суде, и узнал, что пять, потому что стрелял без счета: первую пулю, в живот, хорошо помнил, а про остальные ничего, как будто не стрелял даже.

— Да, — подтвердил Соостер, — ты об этом и на суде говорил, сержант.

Сержант не ответил: у лошади сбился набок ватник, он оставил сани, долго поправлял что-то у лошадиного крупа, потом так же долго возился у большой черной головы, прижимаясь к ней лбом — то под ухом, то пониже, в том месте, где за челюстью начинается шея.

Когда дело было сделано, сержант сказал, что теперь полный порядок и судья может спокойно двигать к своим самострелам.

— Вы им чего, товарищ майор, везете: по девять граммов на голову — соседям чтобы остратка была? Или другим способом дефицит смелости из резервов трибунала покрывать будете? — засмеялся ездовой.

— Неинтересно шутишь, сержант, — громко сказал Соостер. — Поверь мне, очень неинтересно.

— Уж как умею, — вздохнул сержант, — как умею, товарищ судья.

Зря я его дергаю, подумал про себя майор, а сержанту, вслух, сказал другие слова: закончится война — курсы усовершенствования откроем, приходи.

Впереди, километрах в полутора, стояла сплошная черная стена — ели и сосны, с которых мартовские ветры, гулявшие над Топозером, сдули наземь, где и без того сугробы были по колено, все снега. До этой черной стены, пока не стала она отдельными, четко различимыми при луне деревьями, ехали молча. И как раньше не хотелось Арно Соостеру оставлять берег ради дороги через озеро, так теперь не хотелось ему расставаться с ледовой озерной дорогой и возвращаться на землю.

— Хорошо здесь, — сказал майор.

— Хорошо, — согласился ездовой.

Когда до деревьев осталось сотни две, не больше, метров, майор Соостер вдруг вспомнил, что с детства любит открытые пространства — как всякий, наверное, кто вырос у моря. И тут же спросил:

— А теперь через лес будем ехать или вдоль берега?

— Можно и вдоль берега, а потом кусок дороги через лес, но можно сразу через лес, напрямик,—так короче,—объяснил ездовой.

Поехали через лес.

— Смотри, сержант, — Соостер был недоволен и не скрывал этого своего недовольства, — как бы не захали мы: берегом все-таки вернее.

Сержант пропустил слова судьи, поправил торцом кнутовища ватник на лошадином брюхе, закурил и продолжал, как будто и не к пассажиру своему обращаясь, а так — в темное пространство леса.

— Когда трибунал судил меня, я думал только об одном — как бы шкуру мою в расход не пустили: звание — черт с ним, со званием, орден — черт с ним, с орденом, а вот шкура... она одна на всю жизнь. Сначала меня определили в штрафбат там же, под Вязьмой, потом на Кавказ, а потом уже сюда, на Карельский, перекинули. Под Вязьмой весь батальон лег — человек десять-двенадцать осталось. И я живой остался. Мне бы что — только радоваться и судьбе спасибо говорить, — а ничего этого уже не мог я: ни спасибо сказать, ни просто везению порадоваться. Спать в те дни фриц не давал нам — два-три часа подремлешь, и то удача. Я же в эти два-три часа только сны смотрел: Людмила, живая, проходит мимо, чуть грудью не задевает, а не видит меня; в стороне, спиной ко мне, Васька Ярчук стоит, тоже живой. Я говорю

ей: “Смотри, Люда, Васька пришел, тебя ждет”, — а она никакого внимания. И не потому, что разговаривать со мной не хочет, а оттого вроде, что вообще меня нет и это я самому только себе живым кажусь. Сначала появлялась у меня мысль объяснить ей, что она ошибается, что на самом деле я живой и со мной можно разговаривать, а Ваську Ярчука, так того вправду снарядом убило. Но она, как будто уже заранее знала эту мою мысль, быстро уходила куда-то в сторону. И как только исчезала Людмила, такая тоска меня брала и ненависть к себе, что лучше бы и в самом деле был я не живой.

А потом, сколько раз она ни приходила ко мне, я уже и не пытался разговаривать с ней: я знал, что Людмила мертвая, но сама она не знает этого и потому ведет себя, как живая. Ерунда, понятно, но во сне чего не увидишь.

Время, говорят, — лучший врач, а у меня все наоборот получалось — чем больше времени проходило, тем тяжелее на душе делалось. Уж сколько я смертей перевидал — и от бомбы, и от горного обвала, и от мороза, и от огня, — а делалось только тяжелее. Я о Людмиле уже не то чтобы вспоминал, как в первые дни, или во сне, скажем, видел ее, а беспрерывно думал о ней — в разведку, через болото, иду, по самое темя чуть не засасывает, а о ней думаю; от ран, тридцать девять осколков, помираю — о ней думаю. И все сильнее мне правда мозг сверлила: не изменяла она мне, и Васька Ярчук, может, только показалось мне, что из сарая вышел, а может, и вообще не Ярчук это был — когда человека в спину видишь, обознаться ничего не стоит. А что солома в сарае была разостлана и примята, так это в расчет не имел я права брать — сарай-то не запирался. И то, что раза два-три ловил я ее на разговорах с Ярчуком, тоже значения не могло иметь — мало ли чего человек хочет человеку сказать.

Но самое главное я позже соображать стал. Помните: “Не виновата, не виновата. Каяться, Андрей, всю жизнь будешь”. Она эти слова перед самой смертью сказала. А человеку перед смертью врать нет смысла, человеку перед смертью всю правду сказать хочется. Меня под Моздоком немец из автомата так прошил, что целую неделю дышал я на ладан, и то, чуть отходил, про жизнь торопился рассказать: боялся, не успею.

— Да, — подтвердил Соостер, — это ты верно подметил, сержант: человеку перед смертью всю правду сказать хочется.

— И вообще, рассудите сами, товарищ майор, — вдруг вернул-

ся к прошлой мысли ездовой, — какой резон ей был изменять мне? Она невестой была мне, а у Ярчука в Харькове жена осталась. И рожа у него вся в прыщах была. Нахальный только был — это да, этого у него не отнять. Я, может, только глупость сделал, что берег ее. Не знаю. Ну, в мирное время, понятно, так надо было, а в войну... Не знаю. Конечно, на войне жизнь свою на минуту вперед рассчитать невозможно, не то что в мирное время, но нельзя же, чтобы человек...

Сержант остановился, ожидая, должно быть, слова судьи, но судья, у которого никакой другой мысли, кроме французской мудрости — на войне как на войне, — в эту минуту не было, только тяжело вздохнул, надеясь, что вздох этот сержант истолкует в свою пользу.

— Вижу, вижу, товарищ майор, — тоже вздохнул ездовой, — вы меня бережете, а про себя думаете: "Какой же ты, сукин сын, человек! Ты ведь человеческую жизнь по звериной ревности загубил!" А я и сам, товарищ судья, знаю, что не человек. И жизнь моя не нужна мне. Родина-мать уже давно простила меня — она три ордена "Славы" дала мне, звездочки вернуть имеет желание, — а я жить не хочу. По человеческой совести, товарищ майор, расстрелять меня тогда надо было. Вы самострелов этих, у которых дома, может, дети, мать, затылками поворачивать будете, а меня, убийцу... Эх, товарищ, товарищ...

Вверху, где кроны деревьев сходили на нет, серело. Соостер не любил этого первого, предутреннего света — свет был холодный, тревожный, чужой. И мысли, которые приходили перед утром, тоже были вроде не его, Арно Соостера, мысли, а чужие, как этот свет.

Десятого сентября тысяча девятьсот сорок первого года было произведено вскрытие тела сержанта Сироткиной Людмилы Петровны. Исследованиями, произведенными по вскрытию, было установлено, что Сироткина Людмила Петровна, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения, беременна, на втором месяце. Материалы медицинского заключения переданы в трибунал.

— Я, товарищ майор, так решил, — сказал ездовой. — Если фриц не найдет меня, я довоюю до последнего дня, чтобы победу увидеть. И конец.

ПАПА, МНЕ ГРУСТНО

Он спросил у меня: откуда берутся облака? Я ответил: облака — это капельки воды. Он спросил: почему облака белые? Я задумался, мне хотелось дать прямой, без сравнений и опосредований, ответ — это общий принцип, который я считаю обязательным для тех, кто стремится к точному суждению, но прямого ответа я не нашел, и пришлось прибегнуть к сравнению. Я спросил: ты видел, как из чайника вылетает пар? Да, сказал он, пар белый, облака — это пар, потому они тоже белые.

Мы сидели рядом, я прижал его голову к себе, через ребра, в том месте, где была прижата его голова, я чувствовал, как в меня проникает и растекается по всему телу теплота, о которой я не могу сказать, какая она, потому что в одном случае возникает ощущение покоя, возможно, того самого покоя, который представляется людям, когда они думают о счастье, в другом — я чувствую запах парного молока, упругий, как вымя коровы, которая только что вернулась с пастбища, где трава зеленая и сочная, словно мгновение назад ее вынули из воды, в третьем — это жизнь, сама жизнь, о которой, когда чувствуешь ее вот так, не придет в голову спрашивать, для чего она и какова ее цель.

Я прижал его голову к себе, мне мучительно хотелось поцеловать его, но с некоторых пор, я заметил, он стал уклоняться от моих поцелуев — это совпало по времени, пожалуй, с теми днями, когда его перевели из младшей группы в среднюю, где многие были его сверстниками, тоже четырех лет, а многим было уже по пяти и больше, — и я заставил себя воздержаться, чтобы не давать ему лишнего повода думать, будто я слишком завишу от него, потому что в таких случаях в нем появлялось нечто, делавшее его похожим на девчонок, какими я помню их по пятому, шестому классу, когда надо было по нескольку раз окликать их, чтобы они наконец услышали и с удивлением, в той его степени, которая граничит уже с презрением, оглянулись на тебя.

Я обнял его за плечи, прижал к себе, он знал, что Геркулес, который был самым сильным на свете, сильнее льва, сильнее гидры с девятью головами, тоже обнимал за плечи своих друзей, лицо его сделалось серьезным, сосредоточенным, было ощущение, что он наполнен собою весь, до предела, даже воздух, который входит в него с дыханием, испытывает некоторую тесноту, с минутой мы сидели не двигаясь, затем он осторожно, видимо желая

освободиться, но так, чтобы не огорчить меня, повел плечами, я убрал свою руку, он почувствовал явное облегчение, поднял голову, посмотрел на меня и спросил: а ночью, что ли, облака тоже белые? Или черные?

При луне, сказал я, облака белые, а когда нет луны и на небе одни звезды, облака черные. Я колебался, мне хотелось объяснить ему природу света, объяснить, почему розы красные, а морская вода зеленая, почему от черного карандаша на бумаге остается черный след, а от желтого — желтый, он глядел на меня своими синими, с прозеленью, глазами, огромные зрачки были черны той пугающей чернотой, которая не из здешнего мира, где даже в самую глухую ночь можно различить контуры предмета и слепой, постукивая своей палочкой, безошибочно находит дорогу, он глядел на меня, лицо его, как будто изнутри кто-то плавно потянул рычажок, расплылось в улыбке, и он сказал: вещи, что ли, не имеют своего цвета?

Я тоже улыбнулся, пожал плечами, это можно было истолковать, как покорное признание того факта, по какой-то непонятной причине вызывающего у нас чувство досады, что вещи, во всяком случае многие из них, действительно не имеют своего цвета, он схватил меня за руку обеими своими руками, как будто хотел утешить, быстренько поцеловал и прошептал: папочка, родной! Я наклонился, от волос его исходил запах, который я ни с чем не могу сравнить, если не считать того, что у меня возникло явственное ощущение домашнего очага, овец, бредущих в долине, и золотистых, тонких, как паутина, нитей, которые свисают у них изо рта, когда они останавливаются и поднимают головы, чтобы лучше прожевать свою зеленую жвачку, а янтарные глаза, с длинными, как линза в поперечном разрезе, зрачками, по-стариковски бездумно смотрят перед собой.

Он сказал: хочу по-маленькому. Я показал пальцем на дерево, толстый каштан в стороне от аллеи, за которым он мог укрыться, но он прыгнул со скамьи, встал тут же, рядом, повернулся боком к аллее и спустил свои шорты.

Все, сказал он вскоре и натянул шорты, лицо его было абсолютно спокойно, с тем отсветом внутренней полноты, которая обнаруживает себя в улыбке, возникающей на долю секунды и в тот же миг, словно дуновение воздуха под крылом бабочки, исчезающей.

Он сел на прежнее место, рядом со мной, откинулся головой

на спинку скамьи, положил руку мне на колено, кисть, хотя был еще только май, заметно загорела, но пальцы с боков оставались розовыми, с плавно переходящими один в другой оттенками, как бывает иногда у облаков, когда солнце, само уже опустившееся за горизонт, с трудом достает их по краю своими лучами.

Я сказал ему: ты нехорошо поступил, надо было стать за деревом, чтобы тебя никто не видел, а ты стал на аллее, где ходят люди и все видят. Он повернулся ко мне, удивленно поднял брови и спросил: почему нехорошо? Я повторил, что на аллее люди и все видят. Он спросил: что люди видят? Я рассердился, сказал, ничего не видят, но нельзя на глазах у людей ходить по-маленькому. Он спросил: а за большим? Тем более нельзя. Он спросил: почему тем более? Я сказал, это не имеет значения, почему тем более, надо просто запомнить, что нельзя, некрасиво, люди будут говорить про мальчика, какой невоспитанный. Он спросил: почему люди будут говорить, какой невоспитанный? Я сказал, что воспитанные дети сами понимают, что можно, а чего нельзя. Он спросил: я, что ли, невоспитанный? Невоспитанный, ответил я, воспитанные дети не задают такие глупые вопросы. Он спросил: почему вопросы глупые?

Я отодвинулся от него, он должен был понять, что я серьезно по-настоящему: сказано, нельзя — значит, нельзя.

Он придвинулся ко мне, опять, как раньше, взял за руку, быстро поцеловал, видимо опасаясь, что я отдерну ее, и прошептал: папочка, родной! Я прижал его к себе, погладил по щеке, поднял со лба волосы, чтобы поцеловать, он вдруг весь напрягся, уперся в меня вытянутыми руками, оскалил зубы и закричал: ты сказал, что я невоспитанный! Не люблю тебя, хочу, чтобы у тебя в животе была рана, хочу, чтобы у тебя текла кровь и было больно! Я молчал, он повторил свои слова, в этот раз с добавлением, что хочет расширить рану, пусть мне всегда будет больно, вдруг заплакал, обнял меня, содрогаясь всем телом, я похлопал его по спине, велел успокоиться, но он заплакал еще громче и несколько раз кряду повторил: мне жалко тебя, папочка, мне жалко тебя!

Он еще немного поплакал, поднял голову, щеки были пунцовые от слез, вытерся ладонями, прыгнул со скамьи и побежал по аллее. Это у него обычно: после душевной встряски, когда все неприятности уже позади, для полного равновесия ему надо еще побегать.

Набегавшись, он подошел ко мне, взял мою руку, несколько раз провел по своему лицу, чтобы вытереть пот, попросил воды, я сказал ему, здесь воды нет, ты сам прекрасно знаешь, надо потерпеть, пока мы не придем домой, он не настаивал, наоборот, нашел еще дополнительные основания моему отказу — сырую воду вообще пить нельзя, в ней водятся микробы, от микробов можно умереть, — посмотрел мне в глаза и спросил: а когда мы придем домой, ты дашь мне воды? Я пожал плечами: зачем спрашивать, я ведь уже ответил тебе. Он опустил голову, губы заметно напряглись, и произнес сквозь зубы: нет, ты скажи честно, когда мы придем домой, ты дашь мне воды? Наверное, мне следовало возмутиться или, по крайней мере, обидеться — как он смеет не верить отцу! — но, вопреки всякой логике, я не чувствовал ни гнева, ни обиды, больше того, у меня было ощущение, что его вопрос, в котором отчетливо переплетались надежда и недоверие, имеет свои мотивы — пусть в данном случае это и неосновательно, — ибо постоянные запреты, ограничения, оговорки должны были выработать у него осторожность в оценке обещаний, исполнение которых переносится в будущее. Может быть, мелькнула у меня мысль, мы и сами, незаметно для себя, стремимся к этому — давать обещания, в которых неисполнение должно представляться таким же законным и естественным, как исполнение. В конце концов, “нет” — это почти всегда “нет”, а “да” — это обычно столько же “да”, сколько и “нет”.

Я сказал ему, что дам воды, сколько он захочет, и не буду останавливать его, не буду объяснять, что от большого количества воды сердцу труднее работать, что наше тело, чем больше человек пьет, тем больше выделяет пота, а это для маленьких детей очень опасно, потому что они легко простуживаются, словом, сказал я, ты получишь целый чайник воды и будешь сам наливать себе в стакан и пить, сколько захочешь. Он спросил: целый? Я повторил: целый. Он стоял неподвижно, на голове у него играли солнечные зайчики, глаза были широко открыты, как в последние секунды перед сном, когда все предметы вокруг делаются легкими, прозрачными и впереди открывается неоглядная даль безмолвия и покоя.

Проснитесь, граф, сказал я, вас ждут великие дела. Он вздрогнул, заулыбался в пол-лица и прошептал: еще. Я спросил: что еще? Он сказал: говори еще, как мы придем домой и ты дашь мне воды, сколько захочу.

Я сделал, как он просил, он слушал с удовольствием, жмурился, похмыкивал, становился опять невозмутимо серьезным, но, в общем, все это было уже не то: увы, кто может остановить мгновение! Он и сам это чувствовал, кончилось тем, что он начал гримасничать, кривляться, вскочил со скамьи, зашел сзади и стал грозиться, что опрокинет меня на землю. Я сказал ему: нет, ты не сможешь, у тебя не хватит сил. Он прекратил возню, задумался и спросил: а Геркулес мог бы? Я ответил: мог бы. Он спросил: а слон? Я ответил: и слон мог бы. Он стал вспоминать всех зверей, каких знал, половина была из мифов и сказок — гидры, горгоны, грифоны, кентавры, змеи-Горынычи, — вначале я отвечал серьезно, мысленно прикидывая возможные размеры каждого из них, потом мне надоело это, я сказал ему, хватит, но он разошелся пуще прежнего, стал перечислять всякую мелкую живность, вроде воробьев, жучков, паучков, причем не ждал уже моего ответа, а слушал себя одного, заботясь лишь о том, чтобы список делался как можно длиннее, пусть даже ценой повторений и бессмысленных, на ходу придуманных им, названий. Я взял его за локоть, опять сказал: хватит, успокойся, — но он запрокинул голову, отчаянно хохотал, изо рта вылетали брызги слюны, и, чем нелепее было название, тем больше брызг: мандрыги, гиржабы, тавруги, бульдоны! Я отпустил его, отвернулся, он наклонился и стал выкрикивать слова у меня над ухом, первое желание было у меня — шлепнуть его, он хорошо понимал, что делает, и каждое новое слово выкрикивал все громче, я поднял руку, задержал в воздухе, чтобы дать ему время одуматься, он видел мою руку, больше того, следил за ней, в глазах появились шальные искорки, но продолжал кричать с прежним неистовством.

Я опустил руку, несколько секунд внимательно смотрел на него, слишком благополучный исход явно прибавил ему лихости, он стал комбинировать слова так, чтобы в них появился зазорный смысл — дульписи, кенпопы, булькаки! — опять начал кривляться, иногда рожи получались преглупые, чего он, видимо, и добивался, мне даже казалось, он ждет, чтобы я прямо сказал ему, ты шут гороховый, ты жалкий клоун, над тобой люди будут смеяться, в какое-то мгновение мне хотелось именно так и поступить, слова уже вертелись у меня на языке, но вместо этого, вместо порицания и насмешки, которые, в сущности, означали бы, что он достиг своей цели, я сложил руки на груди, взглянул на него сонными глазами и сказал: ты неинтересен мне. Он хохотнул еще

разочек, скорчил гримасу и вдруг, как будто сработал сверхбыстрый переключатель, сделался серьезным, со своими огромными синими глазами, подернутыми недетской печалью, и спросил: почему неинтересен? Я пожал плечами и повторил, не входя в объяснения, которые могли бы дать повод усомниться в твердости моего приговора: ты неинтересен мне.

Он стоял с опущенной головой, на макушке торчали два хохолка, я машинально потянулся, чтобы пригладить их, он отступил назад, на миг поднял голову, мне показалось, в глазах у него слезы, стал усиленно счищать пальцем грязь с ладони, я обратил внимание на его руки, они были неправдоподобно маленькие, игрушечные, и весь он был маленький, жалкий, тонкая шейка с ложбинкой сзади выглядела слишком ненадежной, меня внезапно охватило щемящее предчувствие беды, я сказал ему, подойди ко мне, посиди рядом, если хочешь, я расскажу тебе про мальчика с пальчик и семь жен Синея бороды, он не откликнулся, продолжал стоять на месте, плюнул на ладонь, чтобы лучше стиралась грязь, размазал слюну пальцем, я подождал, повторил свое предложение, наконец он услышал меня, поднял глаза, они были полны слез, но злые, с холодным блеском морского гольша, махнул кулаком в мою сторону и процедил сквозь зубы: ты обидел меня, ты нехороший! Я сказал, что не обижал его, наоборот, это он обидел меня, честный человек на его месте сам бы признал свою вину и просил прощения, он опять махнул кулаком и закричал: ты сделал мне больно, ты хотел, чтобы мне было больно, я не люблю тебя, ты гадкий, злой, варвар!

Во время крика он внимательно наблюдал за мной, видимо опасаясь, что хватает через край и я вынужден буду, хотя бы для того, чтобы поддержать свой престиж, принять меры, но все сошло для него благополучно, больше того, я вообще никак не реагировал и сидел совершенно безучастный, он снова назвал меня злым, варваром, затем, вконец озадаченный, подошел ко мне, взял за руку и спросил: что ли, я тебе неинтересен? Я мельком взглянул на него, он пытался поймать мой взгляд, радушно улыбнулся, явно рассчитывая, что я отвечу ему тем же, но ожидания его не оправдались, он опустил голову, секунду-другую повременил и произнес упавшим голосом: что ли, ты не говоришь, потому что не хочешь делать мне больно? Я продолжал молчать, наконец он не выдержал, дернул меня за руку, я повернулся к нему и твердо ответил: ты неинтересен мне. Он удивленно поднял бро-

ви и спросил: а почему же ты сказал, посиди со мной рядом, если хочешь, я расскажу тебе про мальчика с пальчик и семь жен Синеи бороды?

Вопрос застиг меня врасплох, требовалось время, чтобы найти ответ, который не дал бы ему оснований думать, что я веду с ним игру, в которой все ненастоящее: и мое недовольство, и мое равнодушие, и мое возмущение, — я не находил ответа, пауза слишком затягивалась, это само по себе уже могло вызвать сомнения, и я сказал ему правду: мне было жалко тебя. Он весь прижался ко мне, лицо его опять сделалось безмятежным, исполненным покоя, и прошептал: папочка, я тебя тоже очень люблю. Он не оговорился: жалость и любовь — в его глазах одно и то же.

Мы сидели рядом, мимо проходили люди, изредка поглядывали на нас, одна девушка, с очень длинными ногами, в серебристом, с лиловым оттенком, парике, улыбнулась ему и помахала рукой, он не ответил, повернулся ко мне и спросил: что ли, эта тетька тоже любит меня? Я пожал плечами, он задумался и сказал: она чужая, чужие любят чужих. Это для него новое — прежде он был уверен, что его все любят.

На полянке, перед нами, появился мальчик, двумя руками, вытянув их до отказа, вперед, мальчик толкал самокат, в первые секунды он молча наблюдал за ним, ожидая, что тот наконец встанет на свой самокат и поедет, но не дождался и воскликнул: вот дурак, не умеет ехать! Затем он вскочил, побежал к мальчику, несколько шагов прошел с ним рядом, тот даже не повернул головы в его сторону и продолжал толкать свой самокат, он заглянул мальчику в лицо, улыбнулся, улыбка была угодливая, заискивающая, от недавнего презрения, когда он называл его дураком, не осталось и тени, он приблизился к нему почти вплотную и двигался как-то боком, чтобы тот все время мог видеть его улыбку, мне стало не по себе, я окликнул его, он не обратил внимания, зашел с другой стороны, прикоснулся пальцами к рулю самоката, мальчик передвинул свою руку к краю, чтобы оставалось как можно меньше свободного места, он взялся пальцами за самый кончик, хозяин скосил глаза, но более решительных действий в этот раз не предпринимал, и так они продолжали двигаться вдвоем, пока тот не счел место подходящим для остановки, сбросил чужую руку со своего самоката, поставил правую ногу на плоскость, а левой стал отталкиваться от земли. Езда получилась неважная, видно было, что человек только учится,

до настоящего умения еще далеко, а он бежал рядом с ним, радостно визжал, внезапно отскакивал, когда тот делал неожиданный крен в его сторону, и тут же норовил снова сократить до минимума разделявшее их пространство. После третьего-четвертого заезда мальчик заметно утомился, сделал остановку, он опять, как вначале, стал заглядывать ему в лицо, искательно улыбнулся, логика говорила за то, что теперь можно ожидать от хозяина самоката другого отношения, но, увы, все оставалось, как прежде: хозяин крепко держался за свой самокат и не намерен был расставаться с ним ни на секунду.

Он положил руку на руль самоката, хозяин, в этот раз довольно бесцеремонно, сбросил ее, он тут же схватил руль за другой конец, тот пытался повторить прежний маневр, но без успеха, и стал раскачивать самокат из стороны в сторону. Я сказал ему, чтобы оставил мальчика, тот не хочет с ним играть и не надо быть назойливым, он вдруг закричал мальчику: жадина, ты жадина! — и стал тянуть изо всех сил самокат к себе. Хозяин пришел в ярость, ударил его кулаком по голове, я думал, он сейчас ответит тем же, начнется драка уже не на шутку, пора вмешаться, но в действительности он даже не обратил внимания на этот удар, воспользовался тем, что тот на миг выпустил руль из своих рук, дернул самокат изо всех сил к себе, хозяин заметил свою оплошность, но было уже поздно, он отбежал в сторону, поставил ногу на самокат и помчался вперед. В сущности, это была не езда, а прыгание на одной ноге, потому что, стремясь набрать скорость, он беспрестанно отталкивался от земли и только один раз позволил себе встать обеими ногами на плоскость, но хозяин тут же сделал попытку сбросить его, и ему пришлось вернуться к прежней тактике. Удивительнее всего, что ни один, ни другой за все время не произнесли ни слова, у него было суровое, сосредоточенное лицо, с тем оттенком одержимости, который дает ясное сознание цели, хозяин бежал рядом, в полуметре от него, но приблизиться вплотную не решался, опасаясь, видимо, что он собьет его с ног, и лишь время от времени протягивал руку, пытаясь ухватить свой самокат за руль.

Наконец ему удалось заметно вырваться вперед, мальчик сделал попытку догнать его, но вдруг, когда они были уже опять почти рядом, мальчик остановился, присел на корточки и заплакал. Я не знаю, почему мальчик остановился, — возможно, у него не хватило силы или внезапно иссякла надежда, — а он помчал-

ся дальше, издавая дикий завывающий звук, похожий на вопль, сделал на полном ходу крутой вираж, желая, должно быть, пронестись на виду у противника, но не рассчитал и грохнулся наземь. Мальчик секунду-другую продолжал сидеть на месте, все еще во власти своего бессилия, затем вскочил, но промедление уже дало себя знать, он тоже успел подняться, схватил самокат и снова помчался.

Ситуация, однако, переменилась, мальчик был явно не тот, что минуту назад, руки его работали отчаянно, как шатуны паровоза, вскоре они поравнялись, мальчик схватил его за свитер, он рванулся вперед, но скорость была потеряна, хозяин успел уцепиться за руль своего самоката, он пытался разжать его пальцы, успеха, однако, не добился, стал в боевую позицию и начал молотить его кулаками. Мальчик бросил свой самокат, отступил назад, в первую секунду мне показалось, мальчик готов бежать, но в действительности он выбрал лишь более удобную позицию, которая позволила ему уйти из-под града ударов и пустить в ход свои кулаки. Вначале оба дрались с закрытыми глазами, настоящей ярости не было, затем мальчик открыл глаза, занес руку снизу, чтобы ударить его в нос, но промахнулся, попал в скулу, это был первый настоящий удар, он тоже открыл глаза, внезапно бросился вперед, схватил того за волосы и стал мотать из стороны в сторону.

Наверное, мне следовало вмешаться, разнять их, однако я оставался на месте, невольно оглядываясь по сторонам, как будто опасался прохожих, которые могли бы осудить меня за молчаливое поощрение драки. В общем, это был бы вполне справедливый упрек, хотя, если уже быть точным, я поощрял драку лишь в том, очень ограниченном, смысле, что не препятствовал ей, но это были тонкости, которые в таких случаях либо остаются незамеченными, либо просто не принимаются во внимание. Повторяю, я и сам считал, что пора вмешаться, прекратить драку, но вопреки этому ясному пониманию своего долга даже не поднялся со скамьи, удивляясь своему собственному поведению, как если бы это было поведение стороннего человека, мальчик в это время изловчился, схватил его тоже за волосы, он сделал попытку освободиться, из этого ничего не вышло, тогда он переменял тактику, уперся обеими руками ему в подбородок и стал отгибать голову назад. Мальчику стало трудно дышать, он сделал два-три шага назад, стремясь ослабить давление, но это не помогло, я чув-

ствовал, как мальчик напрягает последние силы, чтобы устоять, как эти силы иссякают и с леденящей быстротой страх охватывает все его тело, я встал, подошел к ним, взял одного и другого за руки, он попытался высвободиться, мне пришлось заметно напрячь силы, чтобы удержать его, это была для меня неожиданность, до сих пор мне не приходило в голову, что пора уже считаться с его физической силой, я крепче сжал ему руки, мальчик тут же воспользовался выгодной для себя ситуацией и ударил его кулаком по темени, он рванулся, сцепил зубы, тяжело, с громким шипением, стал дышать, я сказал мальчику, пусть забирает свой самокат и уходит, мальчик поднял самокат, неожиданно хлопнул его по спине, он закричал: ха, ха, а мне не больно! — опять рванулся, по прежнему без успеха, вдруг уткнулся лицом мне в живот и горько заплакал. Я понимал, ему обидно, что я заступился за чужого мальчика, больше того, я позволил этому чужому мальчику ударить его, когда сам он, поскольку я держал его за руки, лишен был возможности ответить ему, у меня у самого было досадное чувство, я не ожидал, что мальчик ударит его, я думал, мальчик заберет самокат и пойдет своей дорогой, но все-таки, раньше или позже, он должен был получить этот урок: независимо от того, какие чувства мы испытываем, существует на свете еще такая вещь, как справедливость, а справедливость в данном случае состояла в том, что мальчик оказался слабее его и нуждался в помощи, и эту помощь я, отец, должен был оказать чужому мальчику против своего собственного сына.

Мы вернулись на скамью, я повторил свои объяснения, он демонстративно смотрел в сторону, не желая слушать меня, я сказал ему, воспитанные люди не glareют по сторонам, когда к ним обращаются, он встал лицом ко мне, но опустил голову, я опять сделал ему замечание, он ответил, что не glareет по сторонам, а глядит в землю, я сказал ему, не надо притворяться, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, он поднял голову, посмотрел мне в глаза — ближе к зрачкам радужка временами начинала отсвечивать у него розовым, как бывает в очень прозрачной воде у медузы, светом — и спросил: что ли, ты всегда будешь заступаться за чужих?

Я положил руку ему на плечо и сказал: надо быть справедливым, а ты не хочешь быть справедливым. Он скосил глаза, слегка прикрыл веки и спросил: что ли, справедливость, когда мой папа заступает за чужих, а за меня кто будет заступать?

ся, что ли, чужие папы? Это уже была откровенная софистика, я прежде думал, что это случайность, когда он доводил до абсурда мои слова, которые не устраивали его, и обстоятельно возражал ему, вследствие чего наша беседа в конце концов уподоблялась ритуальному дереву каких-нибудь ботокудов, которые так обвешивают его всякими тряпицами и побрякушками, что за ними не видно уже самого дерева, естественно, я терял терпение, злился на него, на себя, пока не нашел самого простого решения: пусть он сам отвечает на свои вопросы, единственная цель которых задеть меня и представить мои слова в нелепом свете.

Он несколько секунд помолчал и спросил: что ли, ты до самой смерти больше никогда не будешь заступаться за меня? Я пожал плечами: при чем здесь смерть, смерть здесь ни при чем. Он взглянул мне в глаза, несколько раз мотнул головой и зло повторил: при чем, при чем, потому что, когда ты умрешь, я не буду за тобой плакать! Я сказал ему, это мне безразлично, будет он плакать обо мне или не будет, все равно ни за какие его слезы я не стану чинить несправедливости, он схватил меня за руку, дернул с силой и закричал: а я не хочу, чтобы ты был справедливый, я хочу, чтобы ты за меня одного заступался и больше ни за кого на свете! Вот и прекрасно, сказал я, ты будешь хотеть свое, я — свое, а мальчик с самокатом и его папа — свое, и посмотрим, что из этого получится. Он задумался, взгляд был отчужденный, с фокусом, обращенным внутрь, чуть-чуть, едва тронутые улыбкой, вздрагивали губы, наконец он взглянул на меня, весело ухмыльнулся и спросил: что ли, все люди передерутся между собой? Я не успел ответить, он вдруг стал размахивать руками, запрокинул голову и захохотал, но я отчетливо видел, что ему совсем не смешно, хохот был притворный, с истерической ноткой, я попросил его уgomониться, он принялся гримасничать, кривляться, мне было неприятно, но сделать ничего нельзя было, следовало ждать, пока израсходуется заряд, я откинулся на спинку скамьи, свободно развесил руки, так сидят люди, которым нет никакого дела до того, что происходит вокруг, он опять стал распаляться, но внезапно, на самой высокой ноте, замер, глаза были огромные, черные, как будто из одних зрачков, и сказал: папочка, я тебя так люблю, так люблю, что хочу тебя съесть! Ам! Он раскрыл рот, клацнули зубы, челюсти двигались быстро, словно он опасался, что его сейчас остановят и выдерут кусок изо рта, потом засмеял-

ся, развел руками и воскликнул: все, тебя больше не осталось, я тебя съел.

Я показал на скамью, он сел рядом, подтянул ноги, уперся подбородком в колени, обхватил себя руками, уставился в одну точку, вдруг встрепенулся и спросил: откуда берется смерть? Я объяснил, как объяснял ему десятки раз прежде — от старости, от болезней, — он покачал головой, сказал, это он знает, сейчас он спрашивает другое: откуда, о т к у д а берется смерть? Я сказал, смерть ниоткуда не берется, смерть — это прекращение жизни, перестает биться сердце, перестает работать мозг, перестают дышать легкие, и человек умирает. Он спросил: а смерть может умереть? Нет, сказал я, смерть не может умереть. Он задумался, взглянул на меня и упрямо, как будто не слышал моего ответа, произнес: а если бы все смерти умерли, люди бы перестали умирать? Я повторил, что смерть не умирает, умирают только живые существа, а смерть — это вообще не существо, не предмет, просто люди изображают ее в виде скелета, в виде черепа и скрещенных костей, которые он видел на трансформаторной будке, но и скелет, и череп, и кости — это не сама смерть, это останки умершего человека, он нахмурился, опустил голову и произнес сквозь зубы: нет, это смертино тело, я его убью, я его разорву на части и выброшу в яму, вот, смотри — он сделал руками движение, как будто в действительности что-то разрывает, — его больше нет! Все!

С моря быстро набегали тучи, я сказал, надо идти домой, будет дождь, мы поднялись, двинулись по аллее, он останавливался возле каждого кустика, каждой ямки, доставал огромных дождевых червей, перебрасывал через палец, они судорожно извивались, подтягивая врозь обе половины тела к центру, как будто по краям находились две головы и каждая управляла своей половиной, он спросил, что ли, у червей по две головы, неожиданно, со злобой, сбросил их на землю и носком туфли рассек несколько червей пополам, я сказал ему, мне это не нравится, ты убил их, он ответил, нет, не убил, не хочу, чтобы у них было по две головы, видишь, они живые, действительно, каждая половина продолжала судорожно извиваться, обрубленные концы забивались грязью, он смотрел на меня шальными глазами, я чувствовал, он готов раздавить их, взял его за руку, невольно дернул, он обиделся, закричал на меня, ты злой, ты не дал мне раздавить их, отпусти меня, я хочу раздавить их, от напряжения он вспотел,

над губой выступили капельки пота, я поднял его на руки, он стал брыкаться, уперся ладонями мне в грудь, я хотел сказать ему, успокойся, мне тяжело, ты знаешь, у меня в животе язва, но не сказал, в такую минуту он не пожалеет меня, напротив, мое признание даст ему удовлетворение, обычно я не обращаю внимания, но иногда бывает досадно, он сам вспомнил про мою рану в животе, первая реакция была именно такая — удовлетворение, — но тут же он обнял меня, заглянул мне в глаза и сказал, папочка, я пошутил, я не радуюсь, мне жалко тебя, опусти меня, а то тебе будет больно, я отпустил его на землю, он схватил меня за руку, прижал к губам и поцеловал, я наклонился, хотел поцеловать его тоже, он неожиданно отстранился, посмотрел на меня бесстрастными, далекими, как будто со статуй восточных богов, глазами и решительно сказал: не надо. Не могу понять, откуда это, но это бывало уже прежде — он весь в порыве устремляется ко мне, а глаза остаются бесстрастными, далекими, холодными, — у меня появляется нелепое ощущение, что он не большой, не маленький, а существо без возраста, и время вокруг него как некое физическое поле, которое не имеет ни конца, ни начала.

Из-за угла вышел трамвай, мы подождали, он спросил, куда девается ток, который затекает из проводов в трамвай, я сказал, ток превращается в движение, тут же подумал, надо бы объяснить ему понагляднее, как один вид энергии переходит в другой, но он сам стал объяснять мне, что ток — это маленькие шарики, называются электроны, они меньше микробов, их даже в микроскоп не видно, они попадают в мотор, мотор крутит колеса, и трамвай едет, а электроны, которые раньше двигались быстро-быстро, быстрее молнии, от такой работы очень устают и едва представляют свои тоненькие ножки. Вот так! — он засмеялся, согнул ноги в коленях и двинулся враскорячку, кряхтя и постанывая, как старичок. Я спросил, кто рассказывал ему про электроны, он пожал плечами, на миг задумался, видимо пытаюсь вспомнить, но ничего не вспомнил, опять пожал плечами и ответил: никто не рассказывал, я сам от себя знаю.

Сквозь тучи пробилось солнце, он подставил свои ладони, они сделались золотистыми, как кожа абрикоса, он тут же захлопнул их и стал заглядывать в щелочку между пальцами. Я сказал ему, ничего не получится, луч захлопнуть в ладонях невозможно, он спросил почему, я ответил, луч — это не предмет, это свет, который идет от солнца, он засмеялся, сказал, луч, что ли, как

смерть, я удивился, почему вдруг смерть, он пожал плечами: ты же сам говорил, что смерть — это не предмет, и луч не предмет, значит, они сами не бывают, они бывают только в предметах. Я посмотрел на него, выражение лица было обычное, слегка приподнятые брови, вздернутый носик, на губах перебежала из угла в угол улыбка, не адресованная никому, ничему, просто от хорошего настроения, я ожидал другого, не могу сказать, чего именно, но другого, что вязалось бы с представлением о напряженной работе мысли, но ничего этого не было, я сказал ему, смерть и свет — это разные вещи, но твои рассуждения насчет предметов и непредметов, я думаю, правильные, он вдруг нахмурился, крикнул “папа!” и помчался к дереву, огромному, с белесыми молочными пятнами на коре платану.

Под платаном, в четверти метра от ствола, лежал скворец, синие перья с крошечными, как веснушки, серыми глазками, рассыпанными по всему телу, от хвоста до макушки, блестели, как будто были крыты тончайшим слоем крупитчатого лака, и судорожно согнутые лапки, очень похожие на пересохшие веточки деревца, казались странными, чуждыми, как курьи ножки, на которых держится лесная избушка, без окон, без дверей, из сказки. Он наклонился, расправил на лапках тонкие пальцы с острыми, загнутыми книзу коготочками, но едва он отпустил их, они тут же вернулись в прежнее положение, он спросил, что ли, это смерть сгибает их, поднял скворца, положил его на ладонь, голова свесилась к земле, на шейке проступила капелька крови, он осторожно провел пальцем, остался красный след, он разворочил перья, открылась, почти у самой груди, ранка, трудно было представить себе, отчего она, возможно мальчишки стреляли из воздушки, он вдруг выгнулся, весь, вперед и громко заплакал: мне жалко его, где он возьмет новое тело, чтобы жить! Я сказал ему, перестань валять дурака, ты прекрасно знаешь, что скворец дохлый, но он не унимался и продолжал твердить, что ему жалко скворца, где скворец возьмет новое тело, чтобы жить. Он хотел принести скворца домой, я не разрешил, он разбушевался, назвал меня злым, беспощадным, сказал, что я никого на свете не люблю, не жалею, только себя одного, но это было уже ненастоящее: просто ему надо было разрядиться и почувствовать хоть в чем-нибудь свою реальную силу.

Дома, пока грелся его ужин, мы посидели с букварем. Обычно в вечерние часы он решительно отказывается, заявляет, что хочет

быть безграмотным, невеждой, темнотой, двоечником, но иногда, сегодня выдался такой случай, он сам приносит букварь и говорит, давай позанимаемся. Он читал уверенно, произнося целиком слоги, без этого нудного, изматывающего "к" и "а" — "ка", "ш" и "а" — "ша", где вместо "каши" невесть откуда выскакивают "паши", "даши", "маши", я сидел расслабленный, удивительное чувство покоя и вселенского благополучия заполняло все мое тело, ниоткуда: ни изнутри, ни снаружи — не дергала меня тревога, Господи, думал я, неужели нельзя сделать, чтобы жизнь сплошь состояла из такого, вот, рядом, за столом, сижу я, указательный палец водит по буквам, папа и мама — они никогда не будут умершими, я не буду стоять на полированных плитах из серого гранита, над которыми черные камни с вырезанными на них буквами и цифрами, число, месяц, год, число, месяц, год, и суровыми, как будто никогда не было по-другому, лицами, — здесь, за моей спиной, но это не имеет значения, они могут уйти из дому, я могу уйти, все равно они там, где я, они в предметах, которые видят мои глаза, они в пище, которую я ем, они вода, которую я пью, они все, что я трогаю своими руками, все, по чему я ступаю ногами, они сладкое, горькое, они кровь, которая течет из моей раны, они мой первый выпавший зуб со странным названием "молочный", они моя жалость к самому себе, они серебряная ложечка, которую я очень не люблю, но которую надо, надо непременно сунуть мне в рот и отжать язык, чтобы посмотреть горло, они микстура, коричневая, тягучая, приторно сладкая, которую прописал мне доктор, они мои долгие щемящие полеты во сне, они дома, крыши, дымоходы, которые проплывают подо мной, они черное ночное небо со звездами и луной, сделанной из папиросного дыма, они облака, похожие на чудовища, такие огромные, что перехватывает дыхание от страха, они утренний шелот, вкрадчивый, как шуршание листвы, они первые лучи солнца и укоризненные, но, Боже мой, какие сладостные слова: проснись, уже день!

На ночь я дал ему чашку молока. Недавно врачи проводили опыт, опыт показал, что детям очень полезно молоко натошак, дети, которые пили утром молоко, обнаружили лучшую память и успешнее решали задачи по арифметике, но он не хочет пить молоко по утрам, одно время его принуждали, но почти всегда дело кончалось рвотой, и пришлось отказаться, теперь он пьет только перед сном, наверное, нет максимальной пользы, но зато есть удовольствие, он пьет долго, причмокивает, шепчет: "Папоч-

ка, родной, я тебя очень люблю'', — и очень опасается, что, когда он заснет, его оставят дома одного, я не знаю, откуда этот страх, его никогда не оставляли одного, но в последнее время что-то меняется, он, как и раньше, настойчиво требует, чтобы ему обещали не уходить, когда он будет спать, однако к этим обещаниям у него нет уже прежнего безоглядного доверия, хотя, повторяю, его никогда не обманывали, дело, как мне кажется, здесь в другом, просто он стал сомневаться в том, что всегда и все обязательно должно быть хорошо, сегодня, выпив свою чашку молока, он подпер голову руками, улыбнулся мне, я ответил ему, хотя ощущения благополучия у меня уже не было, появилось чувство дискомфорта, боль не боль, томление не томление, он вдруг нахмурился, пальцы впились в щеки, и сказал: почему природа делает по одному папе? Я ответил, иначе нельзя, он спросил: почему иначе нельзя, если ты умрешь, где я возьму другого папу? Я хотел сказать ему, что он мелет вздор, это вообще не тема для разговора, но вместо этого повторил: иначе нельзя. Он задумался, опять нахмурился и произнес: что ли, человек не может, и природа тоже не может? Я пожал плечами, но тут же у меня возникло отвратительное ощущение бессилия, покорности, и я твердым голосом — он должен знать, что правда есть правда, и не надо бояться ее — ответил ему: не может.

Он сам разделся, аккуратно сложил свои вещи, вспомнил какого-то Костю из детского сада, который до сих пор не научился складывать свои вещи, воспитательница бранит его, дети над ним смеются, но ничего не помогает, у Кости дырявые руки, все вываливается, а у него ничего не вываливается, у него все получается как надо, он спросил, какую отметку я поставлю ему за складывание одежды, не дожидаясь ответа, сам поставил себе пять с плюсом, я подтвердил, пять с плюсом, он лег, натянул на себя одеяло, уставился взглядом на глобус, который стоял перед ним на горке, глаза сделались огромные, неподвижные, он часто засыпает при открытых глазах, веки опускаются уже позже, он поднял руку, очертил пальцем в воздухе несколько кругов, пробормотал сонным голосом, земля вертится, вертится, день, ночь, день, ночь, я поцеловал его, он не реагировал, я сел за стол, можно было наконец заняться своими делами, у его мамы это по-другому, свои главные дела она делает в больнице, я говорю ей, когда ты слушаешь больного, тебя не дергают за фонендоскоп, в ответ она скашивает глаза и безнадежно машет рукой, иногда бывает

досадно, хочется возразить, хотя, собственно, зачем, каждому свое, внезапно он поднялся, положил руки на колени, я спросил, в чем дело, почему ты не спишь, он смотрел на меня тяжелыми ночными глазами и громко произнес: папа, мне грустно.

Я подошел к нему, присел рядом и спросил: что это значит — грустно? Он задумался, наклонил голову вперед, глаза смотрели исподлобья, поднял руки, ладонями кверху, развел их в стороны и сказал: грустно — это нечто такое... быть одним. Я сказал ему, ты не один, я с тобой, утром придет из больницы мама, он не отвечал, мне показалось, у него температура, я потрогал губами лоб, взял его за руку, пульс был ровный, хорошего наполнения, я сказал ему, тебе не может быть грустно, ты здоров и должен спать, он смотрел в одну точку, я положил ему руку на плечо, он громко, с той определенностью в голосе, которая звучит, когда он просит пить, есть, повторил: папа, мне грустно, — в животе, под ребрами, у меня появилось ощущение, будто какая-то рука, быстро перебирая пальцами, стискивает нечто, состоящее из студенистых ячеек, отчего по телу разливаются холод и щемящая тоска, я наклонился к нему, сказал, ложись, я посижу возле тебя, он прилег, свернувшись, как будто в чужом доме, взял мою руку, прикрыл ею свое лицо, височный пульс ударялся о мои пальцы, я услышал мамин голос, мамины слова — все плохое, мой сын, что может случиться с тобой, пусть достанется мне, — ладонью вытер у него пот со лба, доктор говорит, это ничего, он очень лабильный мальчик, теперь большинство такие, убрал свою руку, один глаз у него был чуть приоткрыт, видно было, как движется глазное яблоко, отжал пальцем веко книзу, он глубоко, протяжно вздохнул, повернулся на спину, ногами сбросил с себя одеяло, дрогнули щеки, он сладко почмокал, до сих пор во сне у него срабатывает сосательный рефлекс, по губам, из угла в угол, пробежала улыбка, на лбу выступили капельки пота, я вытер, он нахмурился, вдруг открыл глаза, привстал и громко, не сонным голосом, произнес: папа, мне грустно. Спи, сказал я, пора спать. Уже ночь. Спи.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Все проходит. Даже выборы. Даже выборы 1981 года.

Эти выборы побили все прежние рекорды Израиля: длительности, стоимости, количества списков. Они побили также национальный рекорд беспощадности в борьбе за власть. В жертву этой борьбе пошло все, что оказалось под рукой — вплоть до личной репутации лидеров и достоинства партий. Конечно, политика всегда грязь, но не всегда это грязь кухонного скандала, которой потом приходится стыдиться.

Но все проходит, даже эти выборы. Остаются итоги, опасения — и надежды. Отрицательные итоги очевидны. Обострение этнической поляризации (70% сефардов, голосовавших за Ликуд, 70% ашкеназим, голосовавших за Маарах). Рост внутрикоалиционного влияния религиозного блока. Практическое исчезновение партий центра и малых групп (прежде дававших израильской демократии ее особую представительность). Отсутствие привлекательной современной общенациональной альтернативы у партий классического сионизма и усиление (в условиях идеологического застоя) популистской и квазимессианской идеологии, близкой вышедшим на сцену этническим группам.

Проигравшие уже сформулировали и опасения: крах экономики, отягощенной необеспеченными предвыборными тратами. Авантюризм во внешней политике. Широкие уступки требованиям религиозных партий. Рост ультранационалистских настроений. Ограничения демократических свобод.

Многие из этих опасений уже высказывались после выборов 77-го года. Почти ни одно из них не оправдалось. В пылу политических страстей проигравшие обычно склонны забывать, что, придя к власти, победители руководствуются не предвыборными декларациями, а прагматическими реалиями. Ведь даже еврейский народ после выборов кормить — и не патетическими речами, а реальным хлебом. И тогда возникает сходство внешней политики Рабина и Бегина, экономической политики Рабиновича и Аридора.

Любые выборы — всего лишь этап длительной политической эволюции нашего молодого государства. Что же принесли выборы 81-го года в этом плане?

С одной стороны, расширение демократии. Численное представительство верующих в парламенте стало меньше, то есть ближе к их истинному весу в обществе. Сефардская община, ранее лишенная политического влияния и социального равноправия, сделала еще один шаг к их обретению. Крупные партии, собрав все возможные голоса, сравнялись по силам, так что им придется учиться побеждать не числом, а умением, а это открывает путь к их более частой ротации.

Подтвердилось также, что еврейское государство — особое: оно не может быть ни "чисто секулярным", ни "чисто белым", ни "чисто западным".

С другой стороны, произошел сдвиг в сторону от идеологии и многопартийности к прагматической двух- (или двухсполовинно) партийной системе американского типа, то есть по пути "нормального" государства.

Видимо, коренное противоречие сионизма — между путями "особым" и "нормальным" — еще долго останется с нами, пока мы не найдем нового общенационального синтеза.

Р. Нудельман

ПРОГУЛКИ С ФИЛОСОФАМИ

Классический сионизм переживает кризис в наше время, потому что он не может ответить на новые вопросы. Может быть, даже правильнее сказать, что он не способен поставить новые вопросы. Поэтому сионизм сегодня нуждается в возвращении к истокам и их осмыслении. Это требует определенного мужества, ибо в истоках сионизма остались нерешенные противоречия. Главному из них посвящено публикуемое нами эссе Михаила Гершензона, замечательно русского литературоведа, которого русская революция заставила вспомнить о своем еврействе и задуматься над судьбами еврейского народа. Это противоречие между сионистской идеей "нормализации" еврейского существования и избранничеством. Не задохнется ли мессианское начало еврейства в узких рамках национального государства? — спрашивал Гершензон. Герцль видел еврейскую миссию в сохранении национальной плоти; Гершензон — в сохранении национального духа. Он ратовал за растворение его в европейской культуре, не зная еще (он писал 60 лет назад), что Катастрофа разделит раствор и уничтожит примесь. Но вопрос Гершензона остался: сионизм до сих пор не признал своего родства с мессианизмом. Не основание ли это для поиска нового синтеза?

Михаил Гершензон

СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

Образованный англичанин может прожить всю жизнь, ни разу не задумавшись об исторической судьбе своего народа и его назначении. Он знает непосредственным чувством, что его народ живет, как целое, и что путь его истории непрерывен. А куда ведет этот путь и верен ли он — как узнать?

И все же нет ни одного культурного народа, который не пытался бы время от времени осознать себя разумом своих мыслителей. Из наблюдений над прошлым выводится как бы линейная схема, чертеж: философия национальной истории; и общество жадно ловит эти догадки, потому что они удовлетворяют неискоренимую потребность сознания — свести к умозрительному единству многообразию народных влечений и народной судьбы.

Если этому нетерпению поддаются и благоустроенные народы, то как устоять против искушения в особенности современному еврею? История евреев, во-первых, слишком странна своим разительным несходством с историей прочих народов и, во-вторых, в большей своей части так беспросветно печальна, что зритель невольно останавливается пораженный; мысль настойчиво хочет разгадать последовательность и смысл столь необычайного зрелища.

Пред этой загадкой еврейской истории, мы знаем, останавливались и многие нееврейские умы; тем понятнее раздумье еврея. За что так тяжко наказан еврейский народ рассеянием и гонениями? Была ли в его прошлом какая-нибудь роковая вина или в его характере такая врожденная особенность, откуда неизбежно развилась чудовищная вереница мучений? Это первый вопрос, естественно представляющийся уму, — вопрос понимания. Еще настойчивее второй вопрос, практически важный. Прошлое народа складывалось стихийно, но будущность его, по крайней мере ближайшая, — неужели мы не можем подчинить ее нашей разумной воле? Будь еще еврейство благоустроено, потребность предвидения была бы не так остра. Но еврейство и сейчас несчастно, разорвано, бездомно; 14 миллионов людей, чувствующих себя одной семьей, разбросаны по 70 странам; народ, имевший свою культуру, внутренне распылен по двадцати инородным культурам; народ, забывший родную речь и говорящий на многих чужих языках, народ — хамелеон, народ — торгаш, оторванный от природы, хиреющий в городах, всюду, если не гонимый, то едва терпимый, — такому народу — где исход? Старая вера не смела спрашивать о будущем, потому что самый этот вопрос есть уже вмешательство в замыслы Бога; напротив, безверие по своей природе обречено предвидеть и направлять. Вот почему для современного мыслящего еврея, утратившего веру отцов, нет искушения сильнее, нежели объяснительный и руководящий национальный миф. И нетрудно видеть, что все умственные движения, возникавшие среди евреев за последние 40–50 лет, были, по существу, не чем другим, как попытками такого мифотворчества. Сами деятели могли и не знать источников своего вдохновения и добросовестно считать свою программу чисто-практической: таковы были, например, ассимиляторы 80-х годов; в действительности, и здесь все доводы черпались из определенных исторических обобщений, только слабо осознанных и оттого не сведенных в систему.

Было бы в высшей степени любопытно вскрыть основы этих учений, вылущить из оболочек философское ядро каждого. Я убежден, что внимательное исследование обнаружило бы в них много родственных черт наперекор их видимому несходству. Оно показало бы, что все они совпадают и отрицательно, имея общей исходной точкой безверие, исторический рационализм, и положительно, так как все без исключения представляют лишь

копии с различных историко-философских теорий, какие выработала для собственных нужд европейская мысль 19-го века.

Но я не займусь этим делом. Доктрина ассимиляторов, учения о религиозной или духовно-культурной миссии еврейского народа отжили свой короткий век и больше не привлекают сторонников. Их всех победило могучее движение сионизма, нарастающее неудержимо вот уже четверть века и ныне достигшее апогея. И если пока он только волнует умы и сердца, если еще не многое переместил в мире, то энтузиазм, возбуждаемый им, — порука, что при благоприятных условиях ему суждено коренным образом повлиять на судьбу еврейства. Не сегодня — завтра падет главная из внешних преград: Палестина будет отдана евреям, — и горсть восторженных мечтателей поднимет с мест и поведет за собою темную массу, чтобы ее трудом, ее лишениями проделать опыт национального возрождения. Такую ответственность берет на себя только тот, кто непоколебимо знает правду и силу своего замысла. Сионизм пламенно верит в свою мечту, — откуда же эта уверенность? Он черпает ее в своем мировоззрении, в своей философии истории.

Между тем как раз эта, важная сторона сионизма наименее освещена. С сионизмом случилось то же, что можно наблюдать в истории всякой политической партии: программа совершенно затмила породившую ее идею и тем превратила эту идею в догмат. Об основных положениях сионизма никто не спорит, их только хранят, как золотой запас, и в нужных случаях предъявляют *ad extra*. Весь разум сионизма поглощен тактикой, все споры ведутся в границах программы; даже главнейший раскол в сионизме не коснулся его сердцевины, потому что и духовный сионизм Ахад-Гаама не спрашивает, верно ли определена конечная цель: он указывает лишь иной путь к той же цели, какую ставит себе политический сионизм. Это общее согласие столь торжественно, что голос критики может показаться среди него почти кощунством. Если я все же решаюсь высказать свою мысль, то смелость эту я черпаю в моем уважении к сионизму, в моей уверенности, что не правоту свою любят сионисты, но больше ее дорожат истинной и благом еврейского народа. Мы — как семья на распутье; нашему дому грозит гибель: где выход из роковой тесноты? Вы, сионисты, придумали способ спасения, я же усмотрел ошибку в ваших расчетах, грозящую новой бедой; и так как я член

той же семьи, то мое возражение не должно оскорбить вас; у нас одна любовь и одна забота.

Сионизм, как историко-философское учение, представляет ту особенность, что как раз о прошлом он прямо ничего не изрекает. Его цель — вовсе не осветить историю еврейского народа; его цель — устроить будущность народа, непохожую на его настоящее; поэтому он подробно анализирует современное положение еврейства и выводит отсюда директивы для будущего, а прошлое оставляет в стороне.

Сионизм всецело основан на идее национализма. Развитие человечества, по мысли сионистов, совершается исключительно в национальных формах; оно и есть не что иное, как общий итог национальных развитий. Нет другого творчества, кроме творчества национального; нация — единственная подлинная реальность мировой истории. Таков первый, основной догмат сионизма. Но понятие нации многомысленно; как же определяют его сионисты? Они мыслят нацию на манер растения; их второй догмат гласит: непременным условием национального существования являются единство и своеобразие быта. А так как быт есть результат коллективного приспособления к внешней среде, то, согласно третьему догмату сионизма, единство и своеобразие национального быта немислимы без территориального объединения нации. На этих трех понятиях, спаянных причинной связью, покоится весь сионизм: национальное творчество — быт — территория. Все остальное в сионизме есть лишь применение этой несложной доктрины к судьбе еврейского народа. Сионисты рассуждают так: Еврейство — несомненно единая нация; такую она сознает себя и такую обнаруживается в единстве своих судеб. Оно еще не изжило своих сил, как доказывает даровитость отдельных его сынов в века изгнанничества; между тем, как целое и в массе своей, оно почти два тысячелетия остается бесплодным. Почему иссякло это национальное творчество? Только потому, что еврейство не живет нормальной национальной жизнью. Нормальная же национальная жизнь есть та, когда быт органически вырастает из недр народного духа. С тех пор как евреи рассеялись по земле, они вовсе не имеют своего быта. Еврейство как нация обезличивается до конца. Против этого обезличения есть только одно средство: надо хоть часть евреев собрать в пучок, и прижать этот пучок к земле, и держать прижатым до тех

пор, пока он пустит корни в землю; тогда через корни станут подниматься из почвы живые соки, ствол оживет, опять расцветет в еврействе национальный быт, а из него родится и плод — национальное творчество. Оставалось только решить, какое место на земле наиболее пригодно для посадки. Тут, после некоторых колебаний, пришла на помощь романтическая мечта евреев о возвращении на древнюю родину. Эта мечта, разумеется, — сильный психологический стимул и, как таковой, может до известной степени содействовать успеху. Но ведь она — только одно из слагаемых; а о том, что за две тысячи лет еврейство физиологически переродилось, что его организм давно приспособился к иным почвам, климатам и бытовым укладам, что старая родина остается его родиной лишь в том смысле, как для взрослого растения — парник, откуда оно было высажено, или для бабочки — кокон, — об этом сионизм не думает.

Нам нужно уяснить себе две вещи: во-первых, верен ли исторический закон, на котором базируется сионизм, и, во-вторых, та цель, которую он ставит пред еврейством, заслуживает ли быть возведенной в идеал. Я утверждаю, что и закон наблюден неверно, и цель избрана недостойная нас.

Нет никакого сомнения: нация — не механическое сцепление личностей, а некая умопостигаемая индивидуальность, имеющая единую волю и свое особенное предназначение в мире. Как отдельный человек един и целостен в непрерывном обновлении своего телесного состава и душевных движений, так всякий народ есть в истории один организм, одно лицо и одна судьба. Существует стихийная воля нации, и воля эта в своем неудержимом стремлении отлагает наружу как бы известковые образования — причудливые, строго-закономерные формы народного быта и народной судьбы. Национальность — начало формообразующее. Не сущность исторического процесса она определяет, но только индивидуальные формы его существования и внешнего проявления. И даже не самые формы определяет она, потому что формы человеческого бытия тождественны по всей земле: национальность определяет только форму форм, т. е. видовое своеобразие форм.

Но если так, если национальность, действительно, не творит бытия, ни даже его форм, а только видовые признаки форм, подобно той неведомой силе, которая листьям дуба придает фор-

му дубового листа и носу слона — форму хобота, то очевидно, что овладеть этой тончайшей стихией, во-первых, невозможно, а во-вторых, и незачем, потому что она никак не могла бы стать в наших руках орудием существенного творчества. Не нация, как утверждает сионизм, есть подлинно-реальное в истории, а личность, потому что только личность творит существенно и только ей до известной степени предоставлена свобода выбора. Национальное начало действует автоматически и не развивается самочинно; развивается личность, и только в ней, питаемая ее целостным развитием, национальность крепнет и очищается. Национальный элемент — только одна из природных данностей, и о нем, как об отдельном, надо забыть, хотя он есть и вечно будет. Испанец должен просто жить, не стараясь жить по-испански: хочет он или не хочет, он все равно живет по-испански и на свою долю осуществляет “миссию” испанского народа; но, если он живет хорошо, испанский элемент в нем как раз очищается от шлаков, и он, не думая о назначении своей нации, тем лучше служит ему, — я думаю даже, улучшает в меру своих сил.

Поэтому я говорю: национальное творчество не есть какой-либо особенный, высший вид коллективного творчества, но всякое творчество народа непременно, помимо воли его участников, окрашено национально и этой окраской объединено. Не старайтесь быть нацией: вы неизбежно нация, по самой природе вещей. И когда вы утверждаете одновременно, что еврейство есть нация и что, распыленное по земле, оно вследствие своей распыленности неспособно к национальному творчеству, — я отвечаю: если оно, действительно, нация — а я так думаю вместе с вами, — то его раздробленное, коллективное творчество непременно в какой-то сфере, не доступной нашему зрению, образует национальное целое. Нация не должна непременно быть собранной на одной территории, чтобы ее творчество было национальным: она творит так во всяком случае и при всяких условиях.

Известная группа людей есть нация до тех пор, пока она — нация, а перестает быть нацией помимо сознательной воли своих членов. Я полагаю, что евреи в своей совокупности, наперекор рассеянию, — суть единая нация, творящая целостно. Что будет дальше с нашей национальностью? Ее судьбой распоряжаемся не мы. Есть в ней живые силы — она уцелеет надолго; нет — она будет постепенно гаснуть, т. е. будет замещаться в отдельных личностях другими национальными началами, французским, рус-

ским, немецким. Мы можем скорбеть об ее угасании, но помочь здесь нельзя; в делах такого размера фатализм неизбежен.

Первый, самый характерный признак сионизма — его безверие, его необузданный рационализм, мнящий себя призванным и способным управлять стихией. Сионизм — плоть от плоти современного позитивизма, о чем, впрочем, и непосредственно свидетельствует его националистически-утилитарное отношение к религии.

И, задумав разгадать механизм национальности и взять его в свое ведение, он не бросил свою мысль, как птицу, чтобы свободно облететь века и земли, но робко оглянулся кругом и, увидев ближайшее, признал свое скудное знание непререкаемой истиной. Он оглянулся в Европе последней четверти 19-го века: все мощные государства — либо цельные нации, либо стремятся вобрать в себя цельные нации. Слитность, сомкнутость, независимость нации признается высшим благом; чтобы добыть его, не жалеют никаких жертв. Что это стремление родилось из экономической борьбы и только освещает себя идеологией национализма; что оно чревато величайшими опасностями и неминуемо приведет к катастрофе, к мировой войне наших дней, этого никто не видел. Объединение Германии ослепило всех, как апофеоз национализма. Какое спокойное могущество территориально и государственно объединенной нации! Вот идеал, вот норма исторического бытия! Увлеченные этим примером, встают балканские славяне, оживает младочешское движение. И сионизм соблазнился. Он смиренно повторил за своими учителями, "да, другого пути нет; только объединившись телесно в одном месте, только образовав снова территориальное государство, можем и мы, евреи, снова начать здоровую жизнь", — и написал эту формулу на своем знамени. Да полно, так ли? Правда ли, что сожительство однородных на одной территории есть единственная нормальная форма национального существования? Разве Англия, смешавшая воедино три народности, не создала одного из высших человеческих типов и не внесла богатого вклада в мировое дело? И разве не то же совершается на наших глазах в Америке? Почему я должен думать, что еврейство живет ненормально? Его жизнь только своеобразна, отлична от жизни большинства других наций, и столь же своеобразно его творчество. Ведь природа богата разнообразием форм. Наш разум произвольно посту-

лирует единообразие в природных делах, где оно сплошь и рядом отсутствует. Разум видит в мире то, что ему хочется, потому что однообразие легко понять и покорить.

Сионизм не вывел своего идеала из философского анализа еврейской истории; он не вынес его также из глубины просвещенного сознания, как объективнодолжное; он соорудил его из трех дурных предпосылок: из ошибочного представления, что судьбы народов определяются их собственными сознательными решениями; из произвольного утверждения о ненормальности еврейской судьбы; и из ложного догмата о территориально-государственном объединении нации как средстве единospасающем. Все эти три предпосылки он готовыми принял от извращенной и грешной европейской идеологии конца 19-го столетия. Поэтому я считаю себя вправе сказать, что сионизм — не еврейское учение, а современно-европейское, всего более немецкое; он вполне подражателен, результат заразы.

Соблазниться сознательным национализмом, свирепствующим теперь в Европе, — какое плачевное заблуждение! Национальное чувство есть в природе то же, что чувство личности живой твари: оно благотворно, пока действует органически. Но рассудочная мысль искажает природу национального чувства, возводя его в мнительный, злой и корыстный национализм. Именно так исказилось здоровое национальное чувство в рационалистической Европе нашего времени: из элемента, сопричастующего во всяком творчестве, национальность сделалась началом самодовлеющим и почти господствующим, была признана особенной ценностью в числе других культурных ценностей. Народы приносят ему в жертву подлинные ценности, творят его именем величайшие преступления. Разве не во имя сознательного национализма царская власть душила все малые народности России, Пруссия — познанских поляков, Венгрия — славян? Разве не сознательный национализм превратил балканские государства за последние 10—15 лет в озверелую стаю собак, то грызущихся до полусмерти, то с рычанием замазывающих свои раны? Не этот ли призрак повинен и в мировой войне, не тем, что он толкнул народы на кровопролитие, но тем, что освятил его своим престижем?

Этому-то кровавожадному Молоху поклонился сионизм и сказал: "Ты пожирал моих сыновей, но вижу, ты — подлинно есть Бог. Будь же и моим Богом; хочу служить тебе". Я обвиняю сионизм в том, что своим признанием он усиливает в мире злое,

проклятое начало национализма, стоившее столько слез человечеству и прежде всего евреям. В идеале сионизм стремится прибавить к существующим уже безжалостным национализмам еще один — еврейский, потому что, если подлинно когда-нибудь в Палестине возникнет тот специфически-еврейский быт и строй, о котором мечтают сионисты, то и он непременно будет ревновать о своей чистоте, будет подозрительно смотреть кругом и строить рогатки. До сих пор еврейству была присуща, как всякому народу, лишь имманентная исключительность, т. е. исключительность своеобразной религии, своеобразных нравов и т. п.; ваша исключительность сознательна и активна, она помимо вашей воли будет стремиться выработать целесообразный план внешней обороны. Потому что Молох, признанный Богом, тотчас требует себе культа, сообразно с его природой.

Мне тяжело думать, что мои слова могут быть неверно поняты. По моему личному чувству, я вовсе не враг сионизма — напротив, он трогает меня своей искренностью, горячностью, этой беззаветной преданностью идеалу, которая стариков делает юношами, а юношей — сердцем человечества. Надо быть слепым, чтобы не видеть, какой болью за еврейский народ, каким нетерпением воскресить его для новой жизни вдохновлено это движение. Я не чужой, не зритель, и дело это слишком серьезно, чтобы отдавать его во власть увлечения.

Философия сионизма по смыслу близорука и самонадеянна, а по содержанию подражательна. Сионисты провозглашают: "Мы нашли средство против всех еврейских бед: мы досконально узнали, что надо сделать, чтобы еврейство снова стало сильным и счастливым". Завидная уверенность! Я не взялся бы определить условия совершенства даже для одного и хорошо известного мне человека, ни даже для самого себя: так непредвиденно-сложны движения духа и сцепления случайностей, а они без малейшего колебания мысленно предвосхищают будущность целого народа. Но их смелость понятна; дело в том, что они чрезвычайно упростили задачу: они хотят, чтобы еврейство было свободным и счастливым не по-своему, а как все другие народы; они желают для него не индивидуально-высокой доли, а шаблонного благополучия. Сионизм мыслит дальнейшее существование еврейского народа не в тех своеобразных формах, какие могут выложиться наружу из недр его духа, а в формах банальных и обще-

известных. По необычности своего лица и своей судьбы еврейство донине — аристократ между народами; сионизм хочет сделать его мещанином, живущим как все. Нет, еврейство не должно слушаться сионистов. Его дело пока непонятно миру, но, может быть, ему суждено озарить века своим творчеством. Пусть живет, повинувшись тайным зовам своего духа, а не пошлым правилам здравого смысла. Поистине, счастье и даже свобода — не высшие блага на земле; есть блага ценнее их, хотя и не осязаемые.

Сионизм есть отречение от идеи избранничества и в этом смысле — измена историческому еврейству. Я не отдам избранничества за чечевичную похлебку территориально-государственного национализма, прежде всего потому, что не верю в ее целебность, как не верю вообще в существование народных панацей. Мой народ несчастен, гоним, рассеян: от этого он ведь не хуже других. Напротив, его судьба тем и прекрасна, что она такая особенная; и я стараюсь понять, каковы именно признаки ее особенности.

В самом деле, последовательность еврейской истории изумительна. Кажется, будто какая-то личная воля осуществляет здесь дальновидный план, цель которого нам неизвестна.

Восход еврейского народа был обычен: в беспорядочном движении кишаших атомов возникает едва заметное ядро, вихревой центр, — дом Авраама, как гласит предание. Но если всмотреться поближе, в зачатках еврейства обнаруживаются странные черты. Обыкновенно народ формируется, как растение, на том самом месте, где он родился. Физический склад народа, его быт и нравы, его учреждения и религия как бы вырастают из почвы, в полнейшей зависимости от местных условий: от климата и устройства поверхности, от состава соседей и пр. Еврейский народ твердо помнил из своего детства одно: что его религия и законы образовались не обычным путем, не в прочном укоренении оседлости, а на ходу, в движении. В Египте — еще не народ, а только возможность народа, народ же родился в бездомном скитании, в Синайской пустыне. Он создал этот миф потому, что тайно знал себя неоседлым и в своей позднейшей оседлости. Оттого еще внутри неподвижного Соломонова храма высшей святыней оставался кочевой ковчег. Я думаю, что он был прав. Не всякий народ мог бы пройти путь еврейского народа; не всякая вера, не всякий моральный строй способны произрастать пересаженным на двадцать почв, в сущности — под любым небом,

как еврейство. Бездомность ему врождена. Оно похоже на те растения, блуждающие в море, которых корни не вырастают в дно.

Но словно для того, чтобы народ сплотился и окреп в своей духовной сущности, ему суждено было все-таки сесть и временно укорениться. Художник как бы не мог сразу осуществить свой замысел: он должен был подготовить свой материал. Нужно, чтобы народ оплотнел и исполнился духом своим, как зрелый плод, полный семян. Как быстро возрастает еврейское царство! Как пышно расцветает оно богатством, промыслами, религией, культом, моралью, поэзией! Изначально среди всех народов в еврействе зародилась идея единобожия, как духовный стержень нации, и, когда в Соломоновом храме эта идея получила видимое воплощение, народ был, в общем, готов, точно художник сжимал песчинки в горсти своей и вот — слепил их в твердый ком. Народ крепко спаянный, неразтворимый среди других народов.

Ощупал — твердо; и немедля поднял топор и рассек народ на две части: на Израильское и Иудейское царство. Ибо то, что людям кажется творческой работой — создание государства, — было лишь подготовкой материала, вероятно скучной для художника; творчество же началось только теперь. Так торопился, что даже не дал еврейству по-человечески насладиться своим благоденствием. Всякий другой народ, достигнув зрелости, долгие века стоит в зените, еврейский народ мгновенно перевалил через вершину: его зенитом было царствование Соломона. Потому, что и объединение, и земное могущество не были его назначением, а только условиями его другого, подлинного творчества. Он восходил не для того, чтобы дойти до вершины и там, устроившись прочно, в оседлом существовании создать ценности, которых зародыш был вложен в него; так исполнили свое призвание Египет, Греция, Рим. Еврейский народ, восходя, только готовился в дальний путь нисхождения.

Так непостижимый дух народа двигал его изнутри и определял его судьбы. Каждый отдельный еврей искал себе счастье, вожди еврейские строили державу и веру, но тайно руководила всеми народная воля, делавшая их трудом свое единое дело.

Это была страстная, нетерпеливая воля. Сплотив из песчинок неразложимый народ, она тотчас изнутри расколола его и потом столетия дробила на части, все мельче, все мельче, пока снова не расплыла совсем. Но новые атомы должны были быть качест-

венными, отличными от первоначальных: в каждом из них должна была действовать народная воля. Она должна была пропитать личную волю каждого индивидуума так, чтобы он, осуществляя свои эгоистические желания, самым характером своих желаний и способом их осуществления служил ее целям. Оттого через всю историю еврейского рассеяния проходит странная антиномия: чем более еврейство дробится физически, тем более оно внутренне сплавляется, и, наоборот, за каждым крупным успехом внутреннего сплочения неизменно следует оглушительный удар извне и еще большее рассеяние.

Когда в конце 8-го века пало Израильское царство и десятки тысяч евреев, уведенные в плен, были расселены по отдельным провинциям ассирийского государства, они бесследно исчезли среди язычников, растворились в чужой среде, потому что еврейское начало было слабо в каждом из них: оно было еще недостаточно специфичным. Иудея сделалась в эти годы как бы ретортой, где кипятилось и готовилось концентрированное еврейство. Все клокочет в реторте, потому что страх ассирийского завоевания – как огонь под нею; и наконец, в 621 году, как результат этого бурного кипения, великая реформа Иосии, провозглашение “Второзакония”, гениальной заповеди, в которой сущность еврейства впервые была воплощена в твердых, сжатых, удобоносимых догматах. Народ, пропитанный такой эссенцией, как “Второзаконие”, уже не растворим, но еврейство еще и теперь знало себя неготовым. Оно ищет средств еще более сгустить свою народную сущность и для того рядом видимых ошибок, неосторожностей, безрассудств добивается разгрома. Иерусалим разрушен, храм сожжен, народ уведен в изгнание: так надо. Изгнание было нужно душе народной, она захотела оторваться от земли, исторгнуть свои корни. Вавилонский плен еще более упрочил еврейство. Здесь Езекииль молотом своего слова ковал еврейство, и здесь опять, в бездомном существовании, возник национальный кодекс еврейский – так называемое Моисеево законодательство. Когда затем народ вернулся в свою страну и Эзра с Нехемией внедрили в него этот строгий, исключительный закон, еврейство сделалось как бы одним твердым телом, не плотски – напротив, материальная целость ему была уже не нужна, – но духовно, ибо все атомы его были теперь пропитаны одной волей. Наконец и эта работа была кончена. Народ, державшийся в земле – как куст, наполовину вырванный ветром – немногими корневыми

ниями, чтобы дать созреть своему плоду, — теперь больше не нуждался в оседлости. Катастрофа 79-го года, окончательное крушение еврейского царства, не была внешним событием, но сама воля еврейства добровольно и обдуманно произвела ее в вещественном мире своими духовными силами в срок, какой она сочла благовременным. На протяжении дальнейших веков еще несколько раз приходилось крепче затягивать срединный узел, чтобы еврейский ум не разложился в человечестве; таково было создание Мишны во 2-м и Талмуда в 5-м веке, таков же был раввинизм и кагальная система в Польше и Литве 16–17 веков. И эта внутренняя цельность вызывала во внешнем мире такое последствие, которое в свою очередь ограждало ее извне и тем благоприятствовало ей; исключительность еврейства в нравах и пище побуждала врагов усугублять ее созданием гетто в средние века и черты оседлости в России. Так дух еврейского народа внутренне и внешне строил его судьбу по какому-то определенному плану. Эта сплоченность в рассеянии была нужна не сама по себе; ее ценность чисто формальна. Внутреннее единство еврейского народа было нужно для того, чтобы в каждом отдельном еврее его личная воля была насыщена еврейским национальным началом.

Что же хочет еврейский народный дух? Какое дело он совершает в мире? Если детство и молодость народа ушли на то, чтобы их воля осознала себя и облеклась плотью, то вот уже два тысячелетия, как началась его положительная деятельность; достаточный срок для того, чтобы подвести ей итог. Сионизм просто зачеркивает эти двадцать веков рассеяния. Он говорит: деятельности не было вовсе, было болезненное прозябание, причиненное извне, вроде того оцепенения, в какое погружена рыба, вынутая из воды. Как? Значит, Иудейское царство пало потому, что Александр Македонский был гениальный полководец и Рим — могущественная держава? Но ведь возможно было и противоположное: несметные полчища Дария не одолели же Греции, и побежденные народы не раз освобождались. И рассеяние евреев по лицу земли объясняется привычкой древних завоевателей уводить побежденных в плен? Но почему евреи в плену не растаивали среди чужих племен, и почему, наоборот, они уживались на чужбине, а не тянулись на старую родину, как можно было бы ожидать, в особенности, от народа столь исключительного и так строго централизованного религиозно вокруг Иерусалимского храма? Почему

они разбрелись по всей земле и толпами кочуют поныне, а не собрались в изгнании на одном месте? Нет, судьбы народов еще меньше подвержены власти случая, нежели судьба одного человека. Повторяю: еврейский народ, как и всякий, из глубины своего духа творил свою внешнюю участь, и в этом смысле это скитальчество так же нормально, как и его древняя оседлость. Он сам захотел рассеяться и потому дал себя изгнать и остался рассеянным доныне. Вспомните: еще Иудейское царство стояло, а уже большая часть евреев была рассеяна по всем странам Востока; еще второй храм красовался во всей славе, а на улицах и в домах Иерусалима уже не слышно было библейского языка: весь народ говорил по-сирийски или по-гречески. Рассеяние — такой же закономерный этап этого роста, как превращение неподвижной куколки в бабочку.

Мысль моя так странна, что я едва решаюсь высказать ее: дано ли смертному познать истину в таких делах? Я вижу еврейство в его долгом скитании одержимым одной страстью: отрешаться от всего неизменного. Мне кажется: все другие народы накапливают сокровища для того, чтобы потом творческим использованием этих сокровищ осуществлять свое призвание; еврейский народ не менее жадно добивался национального единения, государственного могущества и духовной полноты, но лишь затем, чтобы во вторую половину своей жизни срывать с себя эти мирские оковы, — лишь затем, чтобы было что бросать. Он как бы сознательно учился самоотречению: не надо дорожить народной независимостью, надо учиться жить без нее, под чужой властью; не надо быть прикрепленным ни к одному месту, ни к одному языку, ибо и это рабство плотскому началу: разделись и странствуй!

За две тысячи лет еврейство успело порвать крепчайшие цепи, какими человек привязан к земле. У него не осталось почти ничего постоянного; где ни живут евреи, у них все — временное: оседлость, язык, закон, одежда и пища, занятия, интересы и моды. Все не свое, а взятое напрокат, все равно у кого, и наскоро приспособленное для временного пользования. Не дом, а походная палатка, как если кто спешит к своей цели и пренебрегает удобством в пути.

Но как тяжка была участь отдельного еврея. Дух народный нудил его отрешиться, а слабое сердце жаждало как раз устойчивости, постоянства. Сердцу нужен уют, а уют — это могилы

предков, свой дом, свой язык, непрерывная традиция, словом — обеспеченная оседлость тела и духа. Отдельный еврей, рожденный в изгнании, естественно, хотел пустить корни в том месте, где родился, и обрести прочным бытом. Так в его груди билось два сердца: одно влекло к земному устройению, другое гневно повелевало не прикрепляться ни к каким благам. Тот голос манил его смешаться с средою, — отсюда в еврействе неискоренимая тяга к ассимиляции даже с древних времен; этот требовал больше жизни беречь свою национальную исключительность. Вся история рассеяния есть не прекращающийся спор двух волей в еврействе: человеческой и сверхчеловеческой, индивидуальной и народной. Сколько раз и на сколь несчетных местах за две тысячи лет евреи так лукаво пытались укорениться в земле! Случалось даже, вырабатывали себе целые культуры смешанного характера, наполовину из еврейских, наполовину из туземных элементов, рассчитанные на долгое употребление, и создавали себе временно постоянный язык. Так было, например, в Александрии, потом в Испании, позже в Польше и Литве. Народный дух как будто ослаблял свою строгость, снисходя к брэнной плоти, чтобы она не сломилась под ее ярмом. Он давал человеку подкормиться оседлостью и окрепнуть, — но затем вдруг решал: довольно! корни крепнут, позже их будет трудно вырвать! Тогда он исключительностью еврейской, сохраненной и в оседлости, подзывал извне любого учителя, кто бы ни проходил мимо, лишь бы с крепкими кулаками, — испанского Филиппа, или Гонту, или Янушкевича с солдатами в эту войну, и крушил их руками в щепы обжитой дом, долговременные привычки, весь налаженный строй, и сгонял евреев с насиженного места на чужбину или же, как в средневековой Германии и у нас в России, довольствовался тем, что рукой иноверца сильно встряхивал еврейство на месте либо отбрасывал его недалеко — только бы не пустило корней. Потому же, я думаю, еврейский народ стал народом подвижных профессий, народом ремесел, торговли, обмена. Земледелие запрещено еврею его народным духом, ибо, внедряясь в землю, человек всего легче прирастает к месту и к устойчивым формам жизни.

А мир хочет как раз противоположного: он жаждет прочности почти столько же, как самих достижений. Все народы начали свое поприще бездомными и восходят все к большей устойчивости; постоянство есть неотъемлемый признак культуры. Еврейство, дойдя, как все, до вершины, внезапно пошло обратным путем —

снова к временному, непрочному, от крепких стен Иерусалима к передвижным шатрам. В этом смысле еврейство антикультурно; оно бродит между народами, как жуткое напоминание и пророчество: из праха ты создан и в прах обратишься. И не безделицей было еврейство для мира во все эти двадцать веков: народы с жгучим интересом следили за ним, и чем дальше смотрели, тем ярче их взор разгорался страхом и ненавистью. В том деле, которое делает еврей, есть какая-то вечная истина, но какая страшная. Зачем он напоминает мне о ней? Она убивает волю к земному строительству. И как он может жить с такой правдой в душе? Он — исчадие прошлого, он пугает наших детей, — бей его, гони, пусть исчезнет! А воля еврейская только того и хотела, чтобы гнали евреев, чаще, чаще! Оттого была полная гармония между волей еврейского народа и его внешней судьбой. Мир думал, что он казнит еврейство, а на самом деле служил ему, как он служит всякой воле.

И вот, главное сделано: еврейство не имеет земного града.

Но у него остается небесный град, где он тем увереннее чувствует себя дома, — точнее, земной образ небесного града. Ему осталась религия и с нею рожденное, ее надолго переживающее чувство национального единства: могучий стержень, исполняющий двойное назначение, потому что он внутренне объединяет еврейство в один ствол и вместе образует единый крепкий корень, которым еврейство коренится в земле. Если бы не религия, не Тора и сознание общности своей, народ не прошел бы сомкнутым строем чрез такие муки. Те требования, которые национальная воля предъявляла к отдельной личности, были столь беспощадны, почти выше человеческих сил, что без великой надежды, общей для всех, еврей на каждом шагу впадал бы в отчаяние и соблазнялся бы отпасть от братьев и от странного, мучительного общего дела. Нужен был ослепительный общий идеал, который давал бы силу на совместное подвижничество. Вот последняя неподвижность: для верующего еврея — незаменимая Тора и неразложимое еврейство, для неверующего — по крайней мере, последнее.

Сказать ли мое предвидение? Я вижу, что таинственная воля еврейства направлена к тому, чтобы разрушить и этот последний оплот. Он был лишь наиболее долговременным из временных орудий народного духа; теперь его черед. Дух должен быть абсо-

лютно свободен, потому что он есть движение, только движение, а свобода и движение — одно. Тора, национальное чувство евреев — последние, мощные плотины. Пока они стоят, еще нет свободы движению духа. Да не будет у тебя никаких незаменимых сокровищ, никакой прочной обители. Ты прилеплен к Торе? — оторвись; ты чувствуешь себя навеки оседлым в еврействе? — выйди из него; твой дух должен стать столь же бездомным, как твое тело. Ты был некогда во плоти гражданином Ханаанского царства, теперь ты гражданин вселенной; ты был в духе подданным Торы и гражданином еврейства — будь ничьим подданным, гражданином духовной человечности. Я не оставляю тебе ничего, кроме хлеба насущного и семейной любви, чтоб ты мог жить. Тоскует и плачет в еврее бранный состав человека: “Мне ли смертному, мне ль, изнуренному освобождением плоти, поднять такое бремя?” И крепко держится польский, литовский, галицийский еврей за Тору и Талмуд, строго блюдет ритуал и субботу, посылает сыновей в ешибот, а те, в ком погасла вера отцов, сионисты, силятся остановить духовное распадение еврейства внешними средствами: территориальным объединением его на старой родине, возрождением былого языка, прививкой сознательного национализма.

Но воля народная неукротима. Неудержимо гаснет вера в еврействе, еще быстрее с ее угасанием рушится на местах специфически-еврейский быт: об этом без усталости твердят сами сионисты. Но они заблуждаются, думая, что ассимиляция еврейства, по существу, — случайный процесс. Они должны бы спросить себя: разве не странно, что ассимиляция необычно усилилась как раз в последние сто лет и ускоряется с каждым часом, хотя теперь, вследствие повсеместного уравнивания евреев в правах, соблазн отпадения несравненно уменьшился? Соблазн был еврею креститься в дни инквизиции, чтобы уцелеть; соблазн был надеть европейское платье, есть трэфное и ездить в субботу, когда этими уступками можно было купить безопасность и даже сытость. В наш просвещенный век внешняя исключительность всюду разрешена законом и в общежитии меньше колет глаза. Нет, — то не внешняя сила расщепляет еврейство: оно само распадается изнутри. Обветшал, истлел главный стержень — религиозное единство еврейской нации. Раньше народный дух удерживал отдельного еврея в составе еврейства религиозно-национальным чувством внутри, исключительностью снаружи; теперь он разлагает то чувство,

а потому и внешняя исключительность выветривается сама собой. Зерно прорастает — шелуха должна лопнуть.

Мне кажется, еврейство вступает ныне на последнюю стадию своего пути. Были поворотные пункты в его истории: завоевание Ханаана, возникновение царства, постройка первого храма, потом вавилонское пленение и возвращение из плена, наконец крушение царства и разрушение последнего храма; но ни один внешний факт еврейской истории, как бы он ни был значителен, не может сравниться с тем духовным событием, которого нам суждено быть участниками и зрителями. Разложение еврейской веры и пропитанного ею быта — величайший перелом в истории еврейского народа с тех времен, когда в нем окрепла идея единобожия. Этот перелом начался в единицах давно, теперь он захватывает уже и массу, и его ничто не остановит. Двадцать веков и больше еврейство училось плотскому рассеянию и научилось; теперь для него начался период духовного рассеяния и духовной бездомности; и эта выучка будет горше той. Сионисты думают, что ассимиляция грозит гибелью самой сущности еврейства. О, малoverы! Еврейский народ может без остатка расплыться в мире — и я думаю, что так будет, — но дух еврейства от этого только окрепнет. Венский фельетонист-еврей, биржевой делец в Петербурге, еврей-купец, актер, профессор, что у них общего с еврейством, особенно в третьем или четвертом поколении отщепенства? Кажется, они до мозга костей пропитаны космополитическим духом или в лучшем случае духом местной культуры: в то же верят, в то же не верят и то же любят, как другие. Но утешьтесь: они любят то же, да не так. Они не обманщики, нет. Напротив, нельзя быть искреннее и усерднее в прозелитизме. Их действительно пожирает страстное желание уверовать в чужих богов с тою же беззаветностью, какую они видят в туземцах, потому что только такая вера, автоматически направляющая сознание, дает нужный упор для деятельности. Но вера — как дитя: кровно любит ее только та душа, которая родила ее из недр своих в муках; для всякой другой души она — ценность, то есть внешний предмет, неизбежно подлежащий оценке. Именно так живут евреи, духовно отпавшие от еврейства. Они силятся полюбить то, чем живет современный культурный мир: его позитивистическую веру, его философию, науку, эстетику, демократизм в политике и социализм; они делают вид, что уже любят, по-настоя-

щему любят, и сами себя убеждают в этом. За их шумной деятельностью в чужой среде, за их самоуверенной и часто самодовольной внешностью таится глухая тревога; их кипучая энергия — не из душевной полноты, а из душевного голода; их гонят фурии — безотчетный страх пустоты. Эту жажду опьянения я вижу отчасти и в сионизме. Но самообмана хватит ненадолго. Может быть, уже внуки нынешних культурных евреев ясно ощутят леденящий холод в душе, и с каждым новым поколением будет острее недоумение и ненасытнее тоска. Еврейский Бог жесток. Он дал своему любимцу накопить в ковчеге величайшее духовное богатство — такую высокую и крепкую религию, такую несокрушимую нравственность, каких не имел ни один народ. И в урочный час все отнял, — разбил ковчег и рассыпал, испепелил, обесценил сокровище. Была безотчетная вера в осмысленность жизни: бесценный клад; ее не заменяет ни вера по Марксу и Геккелю, ни даже вера по Бергсону и Джемсу; было на земле благолепие быта: синагога и взаимное приветствие праздника, светлая чистота Пасхи, трубные звуки в Судный день и прежде всего — суббота; их вовеки не заменят театр и кинематограф, международная елка и обмирщенное воскресение. Будет пустота и безнадёжность, подобно тому как бесприютный странник вспоминает свое далекое счастливое детство; будет бездомность духовная, как уже давно для евреев наступила мирская бездомность. Я говорю: будет, потому что уже началось. Таков последний завет ветхозаветного Бога еврею: "стань так же нищ духом, как телом!" Для чего нужна была эта страшная выучка, и куда ведет еврейство его народная воля, — кто скажет? Нам дано видеть только отрицательное дело еврейства — путь его освобождения, потому что только это дело совершается во внешних формах, доступных наблюдению. Но свобода никогда не бывает целью сама по себе. Последовательное освобождение еврейского духа, без сомнения, сопровождалось в какой-то глубине, недостижимой для взора, положительным творчеством, для которого оно было только средством; но плоды этого творчества незримы. Верно, не без причины еврейство отрывалось от всех якорей и теперь обрывает последний. Мы уже теперь можем с уверенностью предвидеть: человек в еврействе станет нищ духом; не к этой ли цели стремится и все человечество? Разуверение началось не только для еврейства: тем же недоумением, той же нищетой разума и тоской заболевают ныне все горячие сердцем, чистые духом; и эта

зараза будет шириться между людьми. Я думаю, все человечество идет одним путем: от природной бедности к накоплению, и затем снова к иной, уже добровольной нищете. Еврейство проходило этот путь с особенной, я сказал бы: прообразной стремительностью, не задерживаясь. Евреи были больше всех народов сыты своим Богом, оттого их голод будет всего жгуче. Может быть, они первыми и войдут в царство духовной свободы; может быть, последняя воля еврейства сказалась в словах, прозвучавших некогда из его глубины: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся". Они насытятся пищей, которой мир еще не вкушал, ибо все мирские ценности — как buttoforские яства.

Так я читаю по страницам истории метафизическую судьбу еврейства. Верен ли мой пересказ или нет, — он имеет одно достоинство: из него нельзя сделать никакого практического употребления. Эта философия истории не связывает личность, а оставляет ее свободной. Я говорю: национальность в человеке — имманентная, стихийная, Божья сила; поэтому мы можем спокойно забыть о ней: она сама за себя постоит. В нашей душе борются две воли — личная и родовая: будь же личностью. Та, родовая воля несокрушима, — будь и ты, как кремль; только так высекать огонь. Кто есть еврей? В ком действует народная воля еврейства. Как это узнать? Этого нельзя узнать; Бог видит в глубину сердец. Но как должен жить еврей? Согласно своему целостному личному влечению и руководствуясь в каждом деле существенными соображениями; тогда он будет жить всей полнотой своей, а национальная воля, действующая в нем, сама уклонит его шаги на должный путь. Ты любишь библейский язык? Учись ему, говори на нем. Тебя влечет в Палестину? Иди один; но не желай и не думай тем возродить еврейское царство. Взрослый народ не пеленают и не кладут в колыбель. А еврейское царство — не от мира сего.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Болтаясь между двумя народами, маятник моей лояльности раскачивается в обе стороны. И наблюдая двусмысленность их отношений, я не знаю, какая из сторон надувает другую в игре под названием "Мы — одна нация". То, что нынче происходит между Израилем и диаспорой под соусом сионизма, на деле есть грязное жульничество. Правда о "еврейских связях" лишь изредка пробивается сквозь заговор молчания.

До сих пор казалось, что между евреями и израильянами происходит выгодный товарообмен, поскольку евреям предоставляется редкая возможность приобрести за деньги то, что за деньги обычно не продается: самоуважение и самоутверждение. Ведь собственный облик в глазах "гоев" по сей день не дает покоя евреям, травмированным садомазохистским характером истории своих отношений с другими народами. И не случайно закомплексованные американские евреи оставляют гораздо больше долларов на кушетках своих психоаналитиков, чем "жертвуют" на Израиль, хотя удовольствия получают куда меньше, чем, скажем, от Энтеббе.

Нелли Гутина

ДВУСМЫСЛЕННАЯ СВЯЗЬ

Мы-то знаем, что еврейская причастность к израильским военным успехам — ложная при-

частность. Но разве эта ложь казалась слишком большой ценой за еврейские деньги? И не была ли эта ложь актом милосердия к больному народу? Оставаясь в диаспоре, евреи упорно настаивали, что они и Израиль — один народ, одна нация, ожидая от Израиля подтверждений и доказательств. И двусмысленная игра в “одну нацию” продолжалась. Но вот евреи самой крупной и влиятельной общины мира захотели от израильтян большего. Они почти публично потребовали... кастрации сионизма. Они обусловили свою денежную помощь тем, чтобы их еврейские мальчики оставались около своих еврейских мам. И грязная сделка состоялась. По сей день находятся наивные посланцы Сохнута, которые по молодости и неопытности принимают свою сионистскую работу в Америке слишком всерьез и агитируют молодых евреев переселяться в Израиль. От таких систематически избавляются. Видимо, израильтянам нужны только деньги. Увы, они не первые в этом мире, кому нужны еврейские деньги...

Но я упрекаю современный сионизм не в том, что он не привез американских евреев в Израиль. Я упрекаю его в том, что он “увез” израильских сабр в Америку. “Невинная” ложь уже обошлась израильскому народу потерей полумиллиона граждан, родившихся в стране, любящих ее, прошедших армию и войны, говорящих на иврите. Именно через все эти “сохнуты” — “шлихуты” — “магбиты” — “джойнты”, через весь этот сионистствующий туризм проник в молодую израильскую породу вирус галута. Эта связь с богатыми еврейскими общинами, эта знаменитая легкость еврейских перемещений развратили израильтян. Им показали еврейских граждан самой богатой и влиятельной страны мира и уроженцев маленькой небогатой страны и сказали: “Это — одна нация”. Одни — не знающие ни армии, ни нужды, обеспеченные недвижимостью и наследствами, и другие, от которых государство так много требует, а дает так мало, не гарантируя им даже элементарное право на жилье. И это — одна нация? А если так, то почему одни должны терпеть материальные трудности в Израиле, тогда как другие живут в США в достатке и уважении?

Так безответственные “сионисты”, которые поддерживали миф об одной нации, променяли израильскую молодежь на еврейские деньги. Но это не единственная их вина. Ведь тем самым они дали трехмиллионному народу у наших границ моральное право сказать: “Если вам не нужна эта страна с ее жарким климатом, хамсинами, пустынями и бедными материальными ресурсами, то от-

дайте ее, наконец, нам. Мы согласны взять ее такую, какая она есть, — родную. Лучше без вас, но даже и с вами — с теми из вас, кто не сбежит к более богатым и более многочисленным вашим братьям в США”.

Так не честнее ли было сказать, вслед за Ури Авнери: “Что такое нация? Для меня вопрос прост и прагматичен. Это группа людей, которые хотят жить как нация, иметь общую политическую судьбу, отождествить себя с определенным государством, работать во имя его будущего, платить его налоги, разделять его судьбу и, если надо, умереть за него. В этом смысле мы в Израиле — нация безусловно и безоговорочно, хорошо это или плохо. Наша нация включает всех нас от Дана до Эйлата. Но она не включает в себя евреев Бруклина или Будапешта, как бы сильно они ни симпатизировали нашей стране. Разница между еврейскими отцами и израильскими сыновьями — это не разница поколений. Это — мутация. Другой образ жизни, питание, климат, политическая реальность и социальная атмосфера не могли не повлиять на нас. Так случилось в США, Бразилии, Австралии, так случилось и в Палестине. Мы, сыновья и дочери сионистов, действительно новая нация, а не часть мирового еврейства, которой довелось жить в Израиле. Это центральный факт нашего существования, пока еще затемненный отжившими предрассудками. Это правда, которая должна быть наконец произнесена вслух”.*

Думаете, за то, что эта правда не была произнесена вслух, заплатились одни только израильтяне? Наблюдая за двумя народами, один из которых — полумой, а другой — бывший мой, я прихожу к выводу, что евреи заплатились большим. За всей этой неторопливой и ни к чему не обязывающей сионистской возней они проглядели, как истек срок лучшей сделки, которую они когда-либо заключали с историей.

ХАНААН

В наши дни идеология все больше предназначается на экспорт. На внутреннем рынке в цене прагматизм. И если сионизм превра-

* Ури Авнери — политический деятель, журналист, основал в пятидесятых годах, движение “Бемаавак” за культурное возрождение новой ивритской нации. В семидесятых годах выпустил книгу “Израиль без сионизма”, где изложил свое кредо. Основатель и бессменный редактор израильского журнала “А-олам А-зе” и один из лидеров левого движения Шели, член Кнессета.

тился на деле в патент для выкачивания денег из мирового еврейства, то собственно израильской мечтой — а также целью и необходимостью — всегда было нечто иное: быть принятым в ближневосточный клуб. Связь с еврейскими общинами всего лишь компенсировала — и то частично и до времени — отсутствие естественных связей с соседями по региону. Эта частично эмоциональная, частично прагматическая связь тотчас прервется в тот момент, когда Израиль полностью интегрируется на Ближнем Востоке, а западные евреи утратят свою политическую и финансовую мощь. При этом Израиль останется “при своем” — своем государстве, своем регионе, своем “клубе”.

С чем останутся евреи?

Герман Вук, побывав в Израиле, написал, что почувствовал в израильянах чувство горечи от сознания, что их страна нуждается в иммигрантах и деньгах диаспоры. То был седьмой год существования Израиля. Уже тогда израильяне тяготились своим вынужденным симбиозом с евреями, уже тогда они хотели жить как самостоятельное тело, а не как сиамский близнец еврейского народа диаспоры.

Движение “кнаанитов”^{*} возникло как естественная реакция на историческую травму евреев. Кнааниты призывали начать отсчет с Танаха и сразу перейти к Израилю; все, что было в промежутке, забыть, как страшный сон. Историю евреев, утверждали они, надо не изучать — ее надо забывать. Кнааниты предлагали амнезию как лекарство от национальной болезни. Постепенно они превратились в культурническую лабораторию, которая ищет все новых прививок против наследственного вируса. Сейчас они настаивают на необходимости ивритского воспитания — в противовес еврейскому. Что они предложат завтра? Скорее всего, полный карантин. Пора — говорят они — перестать называть Израиль еврейским государством.

Несколько лет назад мне довелось увидеть их по израильскому телевидению (которое, надо сказать, редко предоставляет им три-

^{*} Идеолог движения кнаанитов — поэт Ионатан Ратош (скончался в апреле 1981 года в Тель-Авиве). Его концепции натолкнулись на психологическое сопротивление со стороны сионистских идеологов, однако оказали большое косвенное влияние на израильское общество. Правильными (хотя и преждевременными) признавал их, в частности, Д. Бен-Гурион. Для мировоззрения самого Ратоша характерен экспансионистский и милитаристский дух. Не признавая существования единой арабской нации, он призывал ассимилировать арабов в лоне ивритской нации в будущем государстве “от Нила до Евфрата”.

буну). Сидели сабры, парни и девушки, и объясняли, что связь с евреями диаспоры им очень в тягость. "Бедуин, — говорили они, — родившийся на этой земле, нам ближе и роднее еврея Бруклина". Рядом сидел пожилой, снисходительный зубр и утешал: "Я вас, конечно, понимаю, все мы через это прошли. Ну, а помощь? Ну, а деньги? Пока мы нуждаемся... Но в будущем... Когда-нибудь, конечно..."

"Послушайте, а как же алия?" — спохватился вдруг ведущий. "Что ж, — сказали ему, — если еврей из СССР или США перестал быть евреем и приехал сюда, чтобы стать израильянином, он для нас свой. Пусть едет. Это его право. Но почему это право должно предоставляться исключительно и в первую очередь евреям? В наше время должно быть легко присоединиться к любой нации. Закон о Возвращении нужно изменить".

В этом была неизбежная — и фатальная для будущих поколений диаспоры — логика. В самом деле, если даже по общепринятой, некнаанитской израильской теории еврей, прибыв в Израиль, обязан избавляться от галутских комплексов, то не легче ли лепить израильян вообще из неевреев? И я не знаю, за счет каких народов пополнит будущий Израиль свое население и каким способом. Если израильская экспансия закрепится или пойдет мирным путем, то не вовлечет ли израильская нация в свою орбиту ряд других народов региона? А если вдруг наступит мир и процветание, то неужто Израиль не сможет привлечь к себе иммигрантов из всего нашего средиземноморского захолустья? И будет ли весьма странное уже и в наши дни, запатентованное "религиозниками" определение еврейства достаточным критерием для иммиграции?

Что до меня, то я логику кнаанитян понимаю. И вслед за ними упрекаю евреев в недостатке физической, что ли, любви к этой земле. Ведь за нее всегда проливали кровь другие — арабы, крестоносцы, турки, англичане. И меньше всего эта страна была нужна евреям.

А как же насчет "raison d'être"? Для чего все это создавалось, строилось, защищалось? — воскликнут евреи.

Я думаю, что никто (в том числе и евреи диаспоры, несмотря на всю их помощь) не имеет право навязывать целому государству роль страховой компании, куда они платят пожизненные взносы. В стране-убежище нельзя жить. Там можно только укрыться — на время.

А если что-то произойдет с евреями диаспоры? Ведь рано или

поздно это с ними почему-то везде случается. Думаю, будущие израильтяне им очень посочувствуют. Вместе с остальным прогрессивным человечеством.

Израиль — это злая шутка, которую История еще сыграет с евреями. Еще одна злая шутка...

Нельзя бесконечно растягивать пружину одной и той же идеологии — рано или поздно она лопнет. Только жаль евреев. Такие вроде шустрые, а снова остались ни с чем.

А все-таки — почему они не успели на этот исторический экспресс, который так долго их ждал, а теперь вот уходит прямо из-под носа?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

В своей книге "Евреи, Бог и История" американский историк Даймонт приводит следующий исторический эпизод. Во время изгнания евреев из Испании часть их предпочла заплатить религиозным компромиссом за право остаться. Но в конце концов их потомки тоже решили покинуть Испанию. По тем временам самой передовой страной считалась Голландия. Голландия оказалась терпимой и гостеприимной страной. Она быстро прогрессировала, и евреи, как у них водится, тоже "внесли свой вклад". Но вот появились первые признаки заката. На горизонте новая звезда — Англия. Евреи Голландии заинтересованно следят за соперничеством двух морских сверхдержав. И вскоре демонстрируют свое знаменитое историческое чутье: посылают в Англию эмиссаров, хлопчут, ведут дипломатическое наступление. И добиваются разрешения поселиться в Англии, которая, кстати, их не очень хотела. Не понимала, глупая, своей выгоды. Потому что евреи, пишет Даймонт, конечно, и тут "внесли свой вклад".

Поведав эту историю, Даймонт переходит к рассуждениям на тему, расцветали те или иные страны благодаря появлению евреев или евреи появлялись там, привлеченные этим "цветением". Запутавшись в столь глубокомысленном вопросе, Даймонт в конце концов умиляется: ну, не удивительное ли совпадение, что евреи везде оказывались в самый нужный исторический момент? А все потому, что, в отличие от "других" (то есть всех остальных) "исторически-пассивных" народов, евреи — народ "исторически-активный"!..

Забывать еврейскую историю — привилегия настоящих израильтян. Нам же, застрявшим где-то между двумя народами, не так легко от нее отвертеться. И вот то и дело попадаются самодовольные популяризаторы, из опусов которых мы узнаем, что же еще евреи “дали миру”. Монотеизм. Демократию. Торговлю. Промышленность. Банковское дело. Ядерную — и всякую другую тоже — физику. Фаршированную рыбу. И такие книги “можно увидеть в каждом американском доме”. Еще бы — приятно слышать нечто сладкое для еврейского уха. Но черт возьми, каким гигантским комплексом неполноценности надо обладать, чтобы в который раз совершать этот коллективный сеанс самоутверждения?!

Вернемся, однако, к “еврейскому подходу”. Евреи и по сей день считают возможным и моральным покинуть страну, в которой родились сами и где жили их предки, чтобы поселиться в стране, где жизнь “богаче”. Где “культурнее”. Где есть демократия. Где больше профессиональных возможностей. Где можно “внести вклад”. Где свершается некое прогрессивное действие. Одним словом, выражаясь языком туристических проспектов, “where the action is”.

Убегали от преследований? Да нет же, как раз когда преследовали, они сидели на месте. В Европе в тридцатые годы сидели? Еще как! Сдвинуть нельзя было...

В своих перемещениях евреи часто проявляли “хороший вкус” и свое прославленное экономическое чутье. Интересно, что было бы, обладай и другие народы этим “еврейским подходом” в разные периоды их истории? Многие страны вообще не возникли бы, пожалуй, — кто же станет переселяться в заокеанское захолустье, в какую-то Северную Америку, когда центр культуры в Лондоне? Америка не возникла бы, даже будучи открытой (разумеется, евреями). Не говоря уже об Австралии и Новой Зеландии. Аргентинцы, мексиканцы и многие другие, — коль уж их предки имели когда-то глупость забраться в такую глушь — должны были бы немедленно исправить положение и всем скопом нагрянуть обратно в Испанию. Юг Италии должен был бы опустеть давным-давно. Сардиния, Сицилия, Корсика и греческие острова, конечно, должны были остаться необитаемыми. Об Исландии нужно, конечно, давно забыть. Стереть с карты. Вообще большая часть планеты должна была бы опустеть. Ведь есть всего несколько стран, где “можно жить”. И даже с ними не все ясно. Коль

скоро Соединенные Штаты все-таки возникли, то чего англичане там ждут на своих островах? Ведь "центр" переместился! Исторического чутья, что ли, у них нет? Язык ведь общий, и вообще — не одна ли нация?..

Этот "еврейский подход" чем-то сродни варварскому. Помните тех варваров, которые вечно перемещались туда, где богато и сытно, где готовое? Впрочем, мы забыли, ведь толпы варваров разрушили Рим, а евреи "вносят вклад"! И при этом так исторически активничают кое-где, что некоторые народы уже предъявляют им длинные исторические счета...

Этим импульсивным еврейским броскам за фетишем исторической эстафеты я противопоставляю здоровую степенность других народов. Бегунам на короткие дистанции — участников большого исторического кросса. И тот длинный разбег поколений, что дает народу второе дыхание, помогая пережить потрясения и землетрясения, Неронов и Муссолини, Франко и греческих полковников, Сталина и Гитлера. И стиснув зубы, продолжать исторический кросс на одной и той же беговой дорожке. Потому что режимы приходят и уходят, а земля под ногами остается. Это утомительный марафон, в котором надо рассчитывать силы — от отца к сыну, от деда к внуку. И нельзя суетиться. И не надо спешить сседлать самую выгодную тенденцию, чтобы поскорее сделать свое в предчувствии дальнейших перемещений. Это — когда "внести вклад" не означает стать удобрением для чужих цивилизаций. Это — когда историческая активность не оборачивается историческим фиаско. Это когда "экономическое чутье" не заводит в исторические ловушки освенцимов.

Нет, я не назову любые перемещения, любую эмиграцию "еврейским подходом". "Родину обычно покидают не самые лучшие ее представители", — писал когда-то Стендаль. И тогда эмиграция служит естественному отбору нации. Бывают и такие эмиграции, которые равносильны отступлению с оружием в руках, с обязательной надеждой вернуться. Такую эмиграцию я не назову "еврейским подходом". Как не назову им заселение Америки, Австралии, Новой Зеландии — и Палестины. Решение покинуть обжитые места, чтобы строить новое на пустом месте, не может быть "еврейским" ни по духу, ни по исполнению. Приехать в Израиль сегодняшний с его войнами и больной экономикой (вот уже две непереносимые для евреев вещи) — совсем не еврейский подход. Но бессмысленные с точки зрения исторической перспекти-

вы перемещения из одной страны, где прожит икс веков, в другую страну, где тоже будет прожит икс веков, — вот этот, с точки зрения других народов, исторический абсурд я назову традиционным еврейским подходом.

ЕВРЕИ И Я

Кто подумает, что я не люблю евреев, ошибается. Напротив. Я столько лет входила в их эксклюзивный клуб, вместе с ними прошла школу нонконформизма, познала чуть извращенный шик принадлежности к скептическому, во всем сомневающемуся меньшинству... Я и по сей день нахожу, что общение с ними стимулирует интеллект. И тем не менее я довольна, что больше не в одной упряжке с ними, что мне удалось в последний момент соскочить с их расшатанной на ухабах истории телеги. Пришла пора рвать с ними, как рвут затянувшийся роман.

Мне, однако, жаль их, попавших в ловушку еврейской судьбы. С "еврейским вопросом" в голове, с кошмарами гетто в глубине подсознания, они ведут напряженную утомительную жизнь. Современная американская литература раскрывает нам на это глаза. Ставший уже нарицательным "синдром Портного" отравляет еврея жизнь с самого рождения. Он вечно на сцене, где зрители — "гой". Так, во всяком случае, ему кажется. От него ждут, ему кажется, не просто хорошего — блестящего исполнения. Он обязан преуспеть. Пробыться. Доказать. Быть может, в этот мир конкурентной борьбы евреи пришли вооруженными лучше других. Но этот пресс еврейства, это вечное сверхожидание, этот гнет со стороны семьи, общины и самих себя во сто крат тяжелее любого антисемитизма.

И ассимиляция тут не помогает. Ведь парадокс ассимиляции в том, что ее логической развязкой является сионизм. Логика тут проста: "Если я действительно такой же, как Джон или Иван, то и у меня должна быть своя страна, как у него". Не случайно Герцль и другие сионистские вожди были ассимилированными евреями. Осуждая со стороны еврейские болезни, они искали почетный выход.

А что же будет с нынешними евреями? Скорее всего, они навсегда останутся на своей настоящей исторической родине — в галуте.

Я же извращенной усложненности “вуддиалленов” предпочитаю здоровую цельность здешних “кандидов”. Генетической монотонности еврейских общин — здешний этнографический фейерверк. Почти конституционному пацифизму евреев — израильский милитаристский шик. Я не уверена, что эта страна подходит евреям. Но она, без сомнения, подходит тому, кто решил перестать им быть.

Чтобы стать — кем?

ИЗРАИЛЬТЯНЕ

“Сабре за границей, — пишет Ури Авнери, — не раз приходится слышать удивленное “Да вы совсем непохожи на еврея!”. В этом сомнительном комплименте есть рациональное зерно. Действительно, высокий, русоволосый, часто голубоглазый сабра мало походит на своего геттообразного предка”.

Своей физической непохожестью на евреев сабры напоминают мне детей неизвестных родителей. Смахивают они то ли на греков, то ли на балканских славян. Есть среди них и курчавые “африканцы”, есть и “нордические” блондины. Чувствуется, конечно, что их предки изрядно пошатались по свету. Ну, ничего, на всемирном сбросе обычно замешиваются неплохие народы. Как там говорят кнааниты, — бедуин им ближе еврея Бруклина? Чуть! И тот, и другой, увы, им далеки. Просто в бедуине, что маячит среди дюн на своем верблюде, они тщетно пытаются разглядеть тени своих исчезнувших предков. А так — ничего бедуинского или даже арабского ни в образе жизни, ни в фольклоре у них нет. Соседи-то с ними не общаются! Они — одинокий народ во времени и пространстве. И этот детдомовский синдром заставляет их общаться только между собой и чуждаться новоприбывших. Они неискушенный, начинающий народ. Фольклор они стащили у греков, технологии позаимствовали у американцев. Социальные идеи завезли их предки еще из России. Армия, правда, — это их собственный неподражаемый шедевр. Знаменитую еврейскую историческую память у них начисто отшибло, и по поводу еврейских несчастий они, в крайнем случае, могут проворчать, что евреям не следовало рассиживаться в галуте на целых две тысячи лет.

Но тот, кто думает, что у них вообще нет исторических невро-

зов, ошибается. Если евреи травмированы своей собственной историей, то израильтяне травмированы историей... чужой. И если евреям в их страшных снах снятся газовые камеры, то израильтян преследует другое — тайное — наваждение: корабли, на которых покинули Акко последние крестоносцы.

ТЕНИ КРЕСТОНОСЦЕВ

Государство крестоносцев просуществовало в Палестине с 1099 по 1291 год. За это время крестоносцы не знали ни одного дня истинного мира и в конце концов были сброшены в море. Хотите верьте, хотите нет, но судьба крестоносцев — тайный израильский кошмар.

Именно этот кошмар, разбуженный насеровскими угрозами “сбросить израильтян в море”, послужил психологическим толчком к Шестидневной войне.

Государство крестоносцев — это всеобщее ближневосточное наваждение. Для израильтян эта тема — табу. Для арабов — источник ложных надежд. Еще в СССР в дискуссиях с арабами я не раз удивлялась этому их аргументу: “Ушли крестоносцы, уйдут и сионисты. А мы останемся”. В Израиле я удивлялась нервозности, с которой многие интеллектуальные израильтяне вдруг говорили — казалось, некстати: “Мы не крестоносцы. Пусть они не видят в нас крестоносцев”. Для арабов сравнивать сионистов с крестоносцами — любимое упражнение. Как и сионисты, крестоносцы покинули страны, где они родились, чтобы жить на Святой земле. Как и сионисты, они полагались прежде всего на свое военное превосходство. И — как и сионисты — они были выходцами из Европы, чужеродным телом в расовом, культурном и религиозном смысле. И вот — представьте себе: с одной стороны — арабы (чего-чего, а терпения им не занимать, уж столько здесь переждали, вот и сейчас три миллиона непосредственно у границ ждут во временных палатках), с другой — израильтяне в государстве-крепости...

В своем историческом очерке “Уроки крестоносцев” Ури Авнери пишет: “Скорее всего, старые роды крестоносцев — “ватиким” и “сабры” — считали Палестину XIII века своей единственной настоящей родиной, а не готовились вернуться в Германию, Италию или Францию. Однако ничего похожего на израильскую нацию,

объединившую новоприбывших и уроженцев в едином порыве, не возникло. **Поэтому** государство крестоносцев зависело от притока человеческого материала и денег с Запада. Мусульманские же народы не хотели примириться с существованием инородного тела на земле, которую они считали своей”.

Кто захочет изучить проблему глубже и обратиться к западным историческим трудам, увидит следующее: крестоносцы были кровно связаны со всем мировым христианством, с могущественными государствами и государями. Их “лобби” составляло не национальное меньшинство, а всесильная по тем временам церковь. Христиане всего мира были “всем сердцем с ними” и, посылая им деньги и оружие, с затаенным дыханием следили за иерусалимскими сражениями. Крестоносцы продержались здесь 192 года. И по тому, как, отступая, они цеплялись сначала за Кипр, потом за Родос, на века оттягивая возвращение в Европу, можно судить, что их привязанность к стране, их корни здесь были глубже, а “идеологическая мотивация” сильнее, чем у многих израильтян. Но ни “симпатии мирового христианства”, ни “волны алии”, ни денежная помощь не спасли от краха их государство, похороненное под обломками той самой каменной стены, которой они себя отгородили от арабов.

“Израильтяне должны рассматривать историю крестоносцев, — пишет Авнери, — как практическое учебное пособие, как не надо поступать”.

СИОНИЗМ И ПОДЪЕМ

Ури Авнери — идеологический противник сионизма в его современном варианте. Однако говоря о нем в историческом контексте, он захлебывается от восторга. “Сионизм, — пишет он, — был революцией, каких мало в истории. Сегодня слово “революция” может означать замену одной группы политиков другой, замену одних хозяев производства другими. Как бы радикально ни меняли эти революции жизнь народа, они не изменяют коренным образом устоявшуюся жизнь индивидуума. Сионизм был более революционен. Он направлял людей из одной страны в другую, совершенно непохожую на прежнюю. Он перемещал людей из одного социального класса в другой, обычно более низкий. Он менял их язык, окружение, культуру. Он полностью оторвал людей от их

прежней жизни и заставил построить новую. Ее, эту революцию, можно сравнить разве что только с первыми крестовыми походами”.

От себя добавлю: несмотря на то, что сионизм задел интересы палестинского народа, он был торжеством исторической справедливости. Сионизм был также последней вспышкой потенции исторически потасканного народа, и евреи больше никогда не будут способны на нечто подобное. И сионизм был, несомненно, самым выгодным для евреев контрактом с Историей, срок которого истекает сегодня. Это было одноразовое предложение, ограниченное определенным историческим периодом. Бери — или брось! И повезло тем, кто успел поставить под этим контрактом свои подписи.

И еще одно. Это государство было задумано теоретически — как ответ на ситуацию, существовавшую в Европе XIX века. Оно имело целью создать убежище для преследуемого народа. То, что случилось в тридцатые-сороковые годы XX века, лишь подтвердило правильность теории Герцля: то была эпоха **государства для иммигрантов**.

Потоки этих иммигрантов, выхлестнутые в один плавильный котел, создали новую нацию, от которой моментально потребовалось: построить страну, освоить территории, оросить пустыни, возродить мертвый язык, абсорбировать новые волны иммигрантов. И одновременно с этим воевать со всем арабским миром.

Когда страна находится в процессе создания, когда предчувствие исторических свершений висит в воздухе, когда все надо начинать по новой, экспериментировать, пробовать и так, и этак, когда надо заселять пространства, то иммиграция — это естественный акт. Это время, когда энергичные и амбициозные имеют шанс пробиться наверх. Это время молниеносных политических карьер и быстро сколачиваемых состояний.

Это эпоха **иммигрантов для государства**.

Но рано или поздно наступает эпоха, когда города построены, самые комфортабельные районы заселены, промышленность создана, все места заняты местными уроженцами или ветеранами. Это время, когда иммигрантов еще хотят, но уже не очень. Вернее, даже не хотят, но пытаются себя заставить. Это время вымученных сношений, с трудом выполняемого долга перед Законом о Возвращении. Это время неосуществленных амбиций и разбитых надежд, и тем, чьи предки не размазали галутскую возню

еще на несколько поколений, повезло больше. Но это также последний шанс. Исторический экспресс сионизма тронулся. И кто здесь — тот здесь. Пусть болтается на подножке, но придет время, и он потеснит других пассажиров и займет свое место в вагоне. И скажет словами израильской песни: "Ma ше тов бишвилейну, тов бишвиль амедина..."*

Аз бо, наасе лану хаг?！**

“...FROM SOMEWHERE IN THE MEDITARRANEAN
WE ARE THE VOICE OF PEACE...”

На просторном пляже сижу я за расшатанным столиком на продавленном стуле и пишу эти черновики, отмечая тем самым свой десятилетний юбилей в полунашем государстве. Эйби Натан объявляет сиесту, и я откладываю листочки, пересаживаюсь в шезлонг, ловлю наш ленивый средиземноморский кейф. Dolce far niente. Эйби передает как раз то, что надо, — умеет угодить, пират! Джон Леннон благословляет из своего рая, Элтон Джон вышибает слезу, очередная диско-дива подвывает. Английский диктор передает “важные” известия. “Солнце светит ярко, — вещает он. Будто без него не видим. — Море — голубое. Небо — безоблачное. Что еще человеку надо?”

Вчера жаловался парень на ветры и штормы, а сегодня доволен, кейфует себе на зйбином корабле. И вместе с ним все наше средиземноморское захолустье. “Вы слушаете лучшие песни по лучшей станции Средиземноморья!” Знаем, знаем. МФ-диапазон. Стерео.

Владелец продавленных стульев и расшатанных столиков приносит мне длинный дринк с ледышками. “День красивый, а?” — говорит он, блестя зубами сквозь широкие усы.

Вот такими я люблю левантийцев — выдержанных на солнце лет так до шестидесяти крепких мужичков в неизменном греческом козырьке. Такие “зорбы” мне всю дорогу попадают от Яффо до Греции, от Адриатики до французского юга. По всему нашему Леванту. Этот приехал сюда в 45-м, соорудил “таверну” на пустом пляже, поставил весь этот хлам. С тех пор так оно и стоит. Сзади потом пристроили Бат-Ям. Дочь его, длинноволосая и длинноногая, так идеально красива, что все юные дивы миро-

* Что хорошо для нас — хорошо для государства (ивр.).

** Так пошли, устроим себе праздник? (ивр.)

вого кино меркнут перед ней при всех их гримах и косметиках. Вокруг нее, конечно, стая молодых бездельников.

Зимний, но солнечный день, — в такие дни особенно хороши наши берега. Народу немного, все больше солдаты. Автомат — с одного боку, девушка — с другого. Так они любят. Стаскивают гимнастерки, стучат ракетками, плещутся в воде. Что-то, а воду они обожают. Не в море, так в душе. Вымытые и проветренные. И потому ежедневный физический контакт с ними — в автобусах, в толпе, на пляже — приятен. И разные такие. И смуглые “махо”, и белая порода, настоявшаяся на нескольких поколениях ватиков. Стимулирующий этнический коктейль. “Коктейль Молотова”?

На берегу бриз и легкое беспутство. И я люблю, расположившись поодаль и потягивая длинный дринк, наблюдать их щенячьи игры.

И вдруг — по радио в ритме рокка: “Ма-ра-тон, ма-ра-тон, зот-рица-та-ма-ра-тон...”*

“Это ты, Игаль? Май фэйворит исраэли сингер”, — подтверждает диктор. Кто думает — литературный прием, ошибается. Сама бы в жизни такого не придумала. Просто пытаюсь записать — прямо со слуха:

“Шнат-ар-ба-им в-ше-ва... Ве-анах-ну мат-хи-лим ла-руц...”**

Англичан выгнали? Выгнали. Арабов отогнали? Отогнали. Независимости добились. Границы уже тогда немного расширили. Вот с тех пор и пытаются всем миром вас хоть к каким-то границам возвратить.

“Шнат-ар-баим-ве-тэ-ша...”***

Корабль за кораблем, волна за волной. Подъем, подъем, подъем. Плавильный котел накалился? Еще как!

“Шнот-ха-ми-шим ве-хамеш ха-ми-шим ве-шеш. Иней-ба мив-ца кадеш. Ма-ра-тон, ма-ра-тон... Шнот ши-шим... Зе-ло машбер зе-рак-ми-тун. Бе кон-су-ли-от йеш-тор. Аха-рон ме-ха-бе эт-а-ор...”****

Пережили? Пережили. Поехали дальше.

* Марафон, марафон, это марафонский забег...

** Год сорок седьмой... И мы начинаем бег...

*** Год сорок девятый...

**** Год пятьдесят пятый — пятьдесят шестой... Вот она, синайская кампания. Марафон, марафон... Год шестидесятый... Это не кризис, просто остановка. В консульстве (американском) — очередь. Последний гасит свет...”

Попробую по-нашему: “Ну-и-вот-она-при-шла Шести-днев-ная война, всю страну рас-тор-мо-ши-ла всех а-ра-бов вспо-ло-ши-ла...”

Миражи в пустыне, “Миражи” в небе. Новые территории? Зацепали. Новые поселения? Создали. Экономический бум? Устроили. Бедуинов с верблюдов стащили, посадили в танки. Феллахов заставили прыгать с парашютами. Весь Ближний Восток, бестии, милитаризовали. Ну, а что там подельывает некий исторически-активный родственничек? Что-то не слышно его и не видно!

“Шев-им в-ша-лош...”*

Ох, и разозлились вы тогда, ох, и разозлились! “Лидфок отам од ве од!”** — орали ваши солдаты. Так разошлись, что все великие державы за руки вас держали, еле-еле всем миром угомонили.

“Ве-пит-ом ба-рух-а-шем Са-дат ме-ва-кер бе яд-вашем!”***

Вот это был номер! Грандиозная историческая мелодрама. Весь мир прилип к телевизорам.

“Од-пихут ве-од-кицуц ве анах-ну мам-ши-хим ла-руц!”****

Что же дальше, ребятки? Что там, за холмами, за веками? Еще война? И еще раз? Или экспансия мирным путем? Или от национализма к региональному патриотизму? Соединенные Штаты Ближнего Востока?

“Ялла сауа кадима”?!*****

Длинная-длинная дистанция.

“Ку-ла-ну миш-тат-фим бе ма-ра-тон... Ма-ра-тон...”.*****

* Семьдесят третий...

** Е... и мы вас еще и еще!

*** И вдруг — Садат с визитом в Музей Катастрофы!

**** Еще девальвация и еще нехватка, а мы продолжаем бежать!

***** Пойдем вместе (араб.) вперед (ивр.)?!

***** Все мы участвуем в марафоне... Марафон...

Средний тип современного русского еврея...

Он, в большинстве своем, служил бы верой и правдой всему в стране. Он в течение нескольких десятилетий внимательно присмотрелся к своим недостаткам. Он их понял или почувствовал. Скорее — почувствовал. И старается от них избавиться.

Наконец постепенно он как будто немножко преуспел в этом. Он начал избавляться от своих привычек, от некоторых качеств. Например, он перестал жестикулировать. Он избавился от интонационных особенностей, присущих его языку и переносимых на русский. Он постепенно перестал обучаться своему языку. Теперь он его не знает. Он, как человек своего времени, избавился от религии и религиозного мышления. На каком-то этапе у него появилось желание сравняться с русским, быть неотличимым от него. Он старается все делать так и то, что и как делают русские. В чем-то это хорошо. Но как много он потерял при этом! Он перешагнул через слишком многое. Хорошо видеть свои недостатки. Хорошо от них избавляться. Но надо знать при этом и природу своих недостатков, и природу того, чему ты хочешь подражать и подражаешь.

Рани Арен

В РУССКОМ ГАЛУТЕ

Можно, оказывается, позаим-

ствовать и безверие, и безжестие, утратить свои жесты и веру. Но, очевидно, это не объединяет людей. Это их обедняет (прошу прощения за каламбур).

Еврей все-таки отличается. Он не может себя выразить. Он запутался. Ему никто не помогал. При общих схожих действиях евреи всегда были одиноки в своих ошибках, хоть и общих внешне, но внутренне — всегда принадлежащих индивидуумам. Еврей часто лучше русского владеет литературным языком как средством мышления. Но он не может владеть той стихией языка, которая дается в своей мудрости и полноте русскому и сопровождает его с самого детства. Не может. Ибо эта стихия языка, с его полнотой и мудростью, — это не просто язык. Это тот духовный воздух культуры, который окружает человека с детства. Это тот воздух, которого так недостает еврею. Мало того. Он так давно лишен этого, что потерял уже всякое представление о том, чего он лишен.

Средний русский верит в слово, определенное, знакомое ему в оттенках звучания и испытанное долгим временем. Он не терпит полутени, смутного ощущения. Впрочем, и для многих смутных ощущений у него тоже есть слова четкие и ясные. Мысль он творит не из сырого материала, а из словесных заготовок. Богаты закрома русского языка этими словесными заготовками.

Из чьих-то уст он тоже любит слышать определенное, ясное слово. Он любит слова зрелые и крепкие. В слове он хочет слышать слово.

Но еврей — полон ощущений, настроений, сомнений и всяких других психологических комплексов. Простых слов он не знает. Да они ему и не нужны теперь. Он слишком долго молчал. Теперь ему бы нужны были очень емкие, многозначные, очень гибкие слова. Но таких слов у него нет. Теперь молчание должно воплотиться в слова. Где же взять слова для стольких молчаний?!

Слово должно быть таким же своевременным, как глоток воздуха, который нужен сейчас, сию секунду. Разница только в том, что при отсутствии глотка воздуха — человек умирает, а при отсутствии слова — он не умирает. Но в тот момент, когда он не может найти или услышать необходимое слово, в нем что-то умирает, — в этом нет никакого сомнения. И кто может исчислить количество этих маленьких бессловесных смертей, свер-

шившихся в душе человека?! И где взять силы, чтобы вырваться и подняться из-под этой навалившейся груды молчания. О, слово!..

В интонационной мелодике еврейской речи нашла ярчайшее отражение склонность к умственным, мыслительным выкладкам. В этих интонациях остались эта уверенность, радость и свобода, присущая мышлению, действию сознания. Раскачивающийся, распевный ритм посылки, — и быстрый, острый, победный вывод. Сколько веселости, игривости, шутки, жизненной стойкости, иронии и непосредственности выражения в одной только интонации еврейской речи — этого, да, непривлекательного жаргона... Эти интонации — забыты, оставлены. Оставлены и забыты — для... простоты... Гладкость и простота тона. Просто, просто. Чтобы никто не заметил, что вы умны. Ибо кто это вам сказал, что вы умны?! И можете ли вы быть умны? А если вы умны — то кому это нужно? Это нескромно. Скромность — прежде всего. Простота и скромность. Следовательно, какие могут быть интонации?! Поменьше интонаций. Будьте простым человеком.

Давно утратив свою среду и растеряв свой прежний строй духовной и умственной жизни, еврей вдруг решил, что обрел остов для своей бродящей, аморфной души, обрел почву, в которую можно было бросить зерно, почву, которую можно пахать. Он, между прочим, не думал о жатве для себя. Его душа так истосковалась по воплощению, по применению, по выражению, что это ему дороже было всяких жатв, всяких выгод и подсчетов. Он воплощался в труд, в идеи, в образы, в жизнь. Ибо если нет своего духовного воздуха, то нужен какой-то другой. И он воплощался. Этого запрашивала его душа — философская, этическая, художественная, социальная, человеческая. Дух должен воплощаться в жизнь.

Шли годы. Он создавал песни, кинофильмы, стихи, делал научные открытия, работал, читал. Он жил и думал образами России.

В старое время только единицы из евреев испытали эту долю: Антокольский, Левитан, Рубинштейн и немногие другие. Позже их было больше. Как глубоко постигли они Россию, постигли ее своей древней и изощренной интуицией ума и сердца! Россия давалась их постижению — в своем мерцании, в загадочной игре света и тьмы, в своих борениях и страданиях. Она привлекла

их сердца своей драматической борьбой добра и зла, своими роковыми зарницами, своими слабостями, своей силой, своим обаянием.

Но несколько десятилетий назад на культурную ниву России пришли уже не единицы, а тысячи евреев. Это было разночинное еврейство, бросившее свои силы, свою освобожденную энергию на русское поле — в науки, в искусство, во всякие другие области жизни. И многие из них так искренно почувствовали себя русскими — душой, мыслями, вкусами и привычками...

И все же что-то есть в душе еврея, что-то ему где-то в глубине напоминает. Какой-то один звук, какой-то диссонанс, какая-то одна небольшая трещинка, но в нее в конце концов просачивается: извне — недоверие, насмешка и враждебность; а изнутри — какое-то древнее воспоминание.

Кто же я? Кто я? Я русский?

— Нет, нет. Я русский еврей.

Каким-то необыкновенно ловким образом еврей оказывается под влиянием двух противоположных, как бы равнодействующих сил. С одной стороны — ему постоянно напоминают, что он еврей: то в анкете, то случайно в каком-нибудь общественном месте, то дома — рассказом из прошлого или настоящего. С другой стороны — еврею никогда не дают почувствовать, что он еврей. Ему не дают почувствовать, что он еврей, — ибо все чувствуют тайный запрет, что-то тайное, загадочное и тяжелое в этом имени — еврей. Где его язык, его книги, песни? Многие не знают, были они, есть ли они, какие они. Но ни у кого не срывается с уст этот вопрос. Часто еврей и сам об этом не знает. Он не знает языка, не слышит его, вообще никак не приобщен ни к чему, что можно было бы назвать еврейским. Не носит чаще всего еврейского имени. И всем этим — как бы умалчивается, что он еврей.

Эти две силы — напоминание, с одной стороны, и умолчание — с другой — создают очень сложный, болезненный комплекс: ощущение чего-то тайного, неназываемого, всегда умалчивающегося и вместе — такого явного, такого существенного, неотъемлемого.

И если это непроизносимое, всегда умалчивающееся вдруг прозвучит, оно ударяет, как ток, — во все нервы, во все клетки, оно звучит, как удар судьбы: еврей... И сколь многие, еще неопытные сердца, сердца детей, вздрагивают от этого удара судьбы. Как низко опускают они голову при слове "еврей" — в окру-

жении своих сверстников, одноклассников. Это маленькое затравленное сердце переживает гетто, то самое страшное гетто, которое проходит не границей улиц и городов, а через сердце человека.

Две силы держат его душу в оцепенении позора: память и забвение. С одной стороны — ему всегда напоминают, что он еврей. С другой — столь же постоянно — забывают. Забывают, что человеку нужен свой язык, свои песни, свои книги, свой театр, своя стихия. Они -- эти книги и песни, театр и язык — конфискованы, арестованы и осуждены — на забвение. Кто упомянет о них — подлежит суду. На воле только напоминание, что ты еврей. Легальна и законна только принадлежность, но принадлежность не духовная, а физическая: твое происхождение, происхождение твоего физического, биологического существа — и только. Это только и напоминает. Преимущественно — в анкетах. В остальных всех жизненных обстоятельствах — и это не напоминает, это — подразумевается. Годы подряд вы можете не услышать слова “еврей”. Может быть, многие забыли, что вы еврей. Но вы никогда не можете забыть. Вам всегда об этом напоминает молчание. Оно создает внутри вас такое поле напряжения, в котором каждая пылинка взрывается. Когда же вы слышите слово “еврей”, оно звучит как удар судьбы. Оно ударяет во все клетки вашего существа, сотрясая его до кончиков пальцев.

Может показаться, что меня интересует только душа еврея. Что только она привлекает мое сочувствие. Но это не так. Просто то, что меня интересует, наиболее ярко выражается в нем. А интересует меня душа человека. Что есть душа и как с ней обращаться, как пробиться к ней в глубину, как приобщить ее к жизни, такой необъятной, открытой, — ее, скрытую, ускользающую, трепещущую, уязвимую, так часто неузнанную, ошибочно понятую? Как изучить ее, как помочь ей, образовать ее, укрепить, закалить? Как довести ее до зрелости, по пути не отупив, не исказив, не убив ее? Душа еврея в том мире, где мне приходилось ее наблюдать, поставлена в наиболее трудные условия, и этим она меня глубоко трогает. И ее, вероятно, я лучше понимаю и чувствую, ибо это моя душа.

*Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам
маяться?
Вольному сердцу на что твоя тьма?
А. Блок*

ВВЕДЕНИЕ

Долгое нравственное противостояние советскому антисемитизму и острый дефицит положительного национального кредо порождают у русского еврея мессианскую сосредоточенность и гипертрофию негативного элемента. Эти особенности уводят интеллектуальный слой нашей алии на позиции "избранничества" также и в среде израильского народа. Отчуждение от израильской культуры и элитарное противопоставление ей — продолжение российских традиций отмежевания от окружающей среды. Результатом становится появление различных видов поведения русского еврея в Израиле.

ПОЛЮС ПЕРВЫЙ — ЕВРИНСКИЙ

Нередко русский еврей-интеллигент переживает трагическую инверсию. Былое чувство, что далекий Израиль близок, а близкая Россия далека, сменяется в Израиле ощущением близости к русской и чуждости к израильской культуре. В Иерусалиме до боли не хватает Москвы, когда духовное нутро требует рус-

Беньямин Александер

**РУСЬ ЕВРЕЙСКАЯ:
ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ**

ского искусства, русских проблем и привычного советского трагизма. Тогда разбиваются сердца. Снова возникает чужой праздник и — на этот раз уже окончательное — бездомье. Пересадка не получилась, чужеродные ткани не срослись с организмом. Русь еврейская, искомая Россия в еврейской упаковке, — она не состоялась в Израиле. Из холмящегося, солнечно-каменного Иерусалима смотрят назад на бело-серо-краснокаменную Москву, Москву молодости, надежд, горения и любви, Москву, из которой мечталось о Иерусалиме.

Москва — возможно, третий Рим (или новый Иерусалим?), но Иерусалим-то, он не четвертый Рим и уж точно не вторая Москва. Еврейско-русский интеллигент (ев-р-ин), человек с еврейским началом и русским окончанием, патриот и искатель еврейской Руси не доходил в России до самовыражения в еврейском духовном русле. Сионизм был для него миражем свободы, удалением от чудовищной машины во что-то маленькое, в свой угол, свою республику, государство Израиль. Сионизм был уходом от гнета, который поражал его как мыслящее безнациональное существо и как человека, присужденного от рождения быть низшей породой.

В Израиле еврин не может достичь душевной гармонии. Вокруг незстетично, некультурно, неадекватно. Израиль недостаточно чист для идеала. В России безнациональный еврин был еврейским интеллигентом, говорящим с русскими интеллигентами на одном языке и исповедующим близкое им по ценностям культурное мировоззрение. В Израиле еврин становится наконец обладателем исторического прошлого и... утрачивает будущее. Еврин в Израиле — русский интеллигент, часто не знающий иврита и не добирающийся до еврейской культуры ни с восточнобиблейской, ни с западнодемократической стороны. Израиль как идеал, который необходим мышлению интеллигента, тускнеет, а порой вовсе исчезает.

Израиль реальный действительно хуже, чем Израиль идеальный, — во всем, кроме того, что реальный Израиль существует, а идеальный — нет. Идеальный Израиль — он в России, а Россия осталась в душе...

Еврин — человек творческий. Его страдания тонки, разнообразны, а порой и талантливы. По психологическому типу еврин обычно интроверт, человек с богатой внутренней жизнью. Поэтому в некоторых случаях он способен в ходе тяжелой борьбы с собой,

в приступе болезненного откровения или для оправдания прошлого мужественно признать Израиль своей страной. Однако не исключен и противоположный исход, когда еврин преодолевает свой недолгий "фалафельный" патриотизм и расписывается публично в собственных ошибках.

ПСИХОФЕНОМЕНОЛОГИЯ ЕВРЕЕРА

Средний пласт алии — это распространенный тип советского еврея, окончившего в СССР дозволенный ему торгово-экономический институт и увлеченного потоком знакомых и родственников в Израиль. Русский язык он знает неважно, но умеет (тоже неважно) говорить на идиш и изредка отмечал в СССР по неликвидированной привычке некоторые еврейские праздники. Он просто едет: вектор толпы направляет его из СССР. Он — еврейская ездвая единица из России (евр-е-е-р). Большая часть евреев прибыла в Израиль из районов, доставшихся СССР после заключения советско-германского пакта о разделе Восточной Европы. Эта группа евреев ассимилирована в меньшей степени, чем их соплеменники на Востоке: "восточные" же евреи едут в основном в США.

Еврей по психологическому типу обычно экстраверт. Он не живет внутренней жизнью и вообще не понимает, что это такое. В мировоззрении еврея воинственно доминирует материальное. Как писал Вл. Соловьев: "Чтобы оправдать в себе такое преобладание низшей природы, практический материалист начинает отрицать самое существование всего того, что не вмещается в эту низшую природу, чего нельзя видеть или осязать, взвесить или измерить". Еврей — человек, уже знающий, что голым ходить неприлично, но еще ничего не ведающий о невозможности обходиться без многих важных частей души, которые у него выветрены наружу, выдуты без остатка. Еврей не может ни минуты просуществовать в одиночестве. Он жаждет общества, чтобы разделить с ним свои заботы, жалобы, пустоту и зависть.

Еврей неприятно потрясен вихревым, динамичным обликом Израйля. Он требует установить "порядок", чтобы было привычнее существовать, и не прочь остановить жизнь, чтобы быстро ее прочесть и узнать. Еврею, наконец, нужны рамки: без рамок он не может. Без них жизнь гнетет его тяжелее, чем очерченное

однообразии советского государства. Евреер снедаем тоской по прошлому, по СССР, где он был лишен достоинства, но зато жил в однозначном, установленном русле с известным регламентом бесправия. Он точно знал, что запрещено! По приезде в Израиль он оказывается в незнакомой обстановке и чувствует себя неуверенно, зябко. Чтобы адаптироваться без усилий, евреер переносит знакомый ему образ власти на еврейское государство. Поэтому ему всюду мерещатся запрет, насилие и обман. Он хорошо усвоил советский урок, что состояние не имущих власти — только бесправие.

Наличие в Израиле свободного рынка рабочей силы вызывает у евреера подозрение, переходящее в отчаяние. Тождественность советских зарплат, статичность производства, атмосфера безответственности, а порой осознанная бессмысленность совершаемой работы, закодированные в советском трудовом кодексе, дисонируют с более эластичной и целесообразной структурой израильского хозяйства. Почувствовав эту разницу, евреер впадает в панику и воспринимает ситуацию как вызов со стороны Израиля. Он переполняется приятными воспоминаниями о советской службе и обвиняет израильскую систему труда в протекционизме, коррупции и обмане.

Сраженный "несправедливостями" и "бескультурьем" израильской жизни, евреер из центра абсорбции устремляется в апельсиновые, банановые и абрикосовые рощи и по привычке, унаследованной от социалистического мира, регулярно ворует фрукты. Он сам воздает себе эту плату за переживания.

В Израиле у евреера появляется страстная привязанность к Стране Советов, в которой, как он теперь считает, несомненно было лучше. Он начинает болезненно любить СССР и заявляет о своей готовности вернуться туда. Если бы СССР был чуть более еврейским,... если бы было легче устроиться на желанную работу,... если бы принимали посвободнее в институты..., — тогда не нужны были бы еврейские школы, еврейское воспитание, еврейство и вообще их Израиль. У евреера целых два идеала: покинутая Россия и желанная Америка.

Еврееры из собственно России, т. е. живущие в СССР на поколение дольше своих западных соплеменников, нередко превращаются в идейных противников еврейского национализма и сионизма, в эдаких иудейных коммунистов (такой евреер не празд-

нует в России еврейские праздники, но, прибыв впоследствии в Израиль, первое время отмечает 7-е ноября).

ИУДЕЙНЫЙ КОММУНИСТ

Иудейный коммунист — это человек, принявший советский строй, но не принятый советским строем. По мундиру и по духу иудейный коммунист принадлежит к "среднему классу" советских людей. Основной признак иудейного коммуниста — бюрократизация души. Бюрократизация души означает предельное отключение от личностного восприятия событий и людей и инстинктивную оценку их с помощью стереотипных мерок аппаратного клана. Иудейный коммунист лишен творческих импульсов, инициативы и ответственности. Поэтому ему нелегко в многообразном процессе израильской жизни. В сущности, иудейному коммунисту все подходило в СССР, только сам он не подходил советской власти. Волею обстоятельств, подхваченный отъезжающей массой, иудейный коммунист оказывается в Израиле. И вот здесь, а не там, начинается его трагедия. Он вспоминает, как его уважали в СССР коллеги, начальство, партийные работники, каким ценным и нужным он был Там (в роли ведущего специалиста, партийного агитатора, пионервожатого, комсомольского вождя, члена партбюро, месткома, профактива, завкома, фабкома, домкома) — почти полноправной клеткой советской партийно-государственной саркомы. А посему иудейный коммунист испытывает дисгармонию при встрече с израильским обществом, представляющим другую систему оценок, где еще к тому же необходимо все начинать сначала. Впрочем, побывав в Тель-Авиве на первомайской демонстрации, иудейный коммунист немного успокаивается и с радостью вспоминает дорогое прошлое: еще не все потеряно, солидарность трудящихся в Израиле все же есть. Не хватает только диктатуры трудящихся.

...Почему-то иудейный коммунист не торопится заменить утраченный в СССР партбилет на удостоверение члена израильской компартии... В конце концов, иудейный коммунист успокаивается, найдя смысл жизни в материальном благосостоянии. Автомашина и цветной телевизор постепенно залечивают его душевные раны.

ЕВРЕЙСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ

Еврейский антисемитизм — не новое явление. Детальное изучение его истории и корней — отдельная проблема.

В СССР еврейский антисемитизм принимает форму безоговорочной поддержки советской власти, оправдания ее антиеврейских мероприятий:

“Рождены под бичом и бичом вскормлены,
Что им стыд, что им боль, кроме боли спины”.

(Х. Н. Бялик)

Еврейский антисемитизм представляет собой патологическую форму реакции на государственный антиевреизм советского режима. В СССР еврейский антисемит даже не считал себя русским Моисеева закона (этот закон изъят из бытия советских евреев). Он просто русский, он более русский, чем русские, он более советский, чем советские. Отсюда у него физиологическое, расовое отвращение к евреям, принадлежность к которым так стыдна, тяжка и невыгодна. Отсюда массовая ассимиляция, подделка и покупка паспортов и причудливые формы мимикрии. “Вы вспахали зло, пожали беззаконие, ели вы плод лжи” (Осия) .

Однако за годы эмиграции евреев из СССР еврейский антисемитизм постепенно преобразуется. С одной стороны, страх перед режимом или верность ему усиливают просоветский и антиеврейский настрой еврейского антисемита, негодующего в связи с их отъездами. С другой стороны, альтернатива эмиграции освобождает его от многолетней маски и может толкнуть на отъезд. После этого долгая нелюбовь к еврейству переходит у еврейского антисемита на еврейскую страну и заставляет его проехать мимо Израиля. Но ряд случайных причин может привести еврейского антисемита и в Израиль: родственные связи, возможность вывезти большой багаж из СССР, привилегии в пенсионном обеспечении и т. д.

Поскольку в Израиле нет подлинных, кровных антисемитов, еврейский антисемит берет здесь их роль на себя; он будет определять, какие евреи “хорошие”, а какие “плохие”, черные, коричневые, желтые или некультурные.

ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ ЕВРОПАТА

Европат — это человек, для которого Израиль по разным причинам мал. Он мал для его бизнеса, для его научного дарования, для его культурного кругозора, для его таланта художника, музыканта, спортсмена, кинорежиссера, парикмахера, инженера и т. п. Израиль мал для его самомнения, для его туристического размаха, для масштабов, к которым он привык на Руси. Израиль теснит и душит европата своей "узостью", "ограниченностью", "мелковатостью". И европат норовит вырваться на просторы, соизмеримые с предыдущей территорией.

Европат — неввропат, его патологически жмет собственное еврейство. Его неотвратно влечет в Европу и Америку, он живет в европейско-американском тоне (оттого он европ-а-т). В Израиле европат нервно поживает от мелкого прозябания в провинциальной, восточной, грязноватой стране. Он европоцентричен, америкоцентричен и европатичен в своих метаниях. Сколько времени может провести европат, подаривший себя Израилу, в таком состоянии возбуждения, сидя на чемоданах, прежде чем он покинет Израиль, — сказать трудно. Это зависит от многих обстоятельств, например, от соотношения в нем зажигательной смеси из еврина и еврея. Не исключено, что европат вообще останется в Израиле, задыхаясь от несправедливости, от недооценки его личности, от недостатка денег, от провинциализма, и будет всю жизнь всматриваться в голубые дали своей мечты. Но в целом европат — это человек, который находится в состоянии йериды, даже физически не отрываясь от страны.

Разумеется, европат — антисионист, желчно ругающий Израиль. Однако европат стал антисионистом только в Израиле (и дальше). На Руси еврейской он мог быть лидером сионизма. Он размыкал советский концлагерь мира, готовил грандиозный проект штурма и покорения Сиона; он излучал еврейский патриотизм и тогда был еврейским патриотом. Европатром, что ли?

Европат всегда стремится в полет, даже находясь в глубоком пате, когда некуда ходить, не говоря уже о более возвышенных средствах передвижения. Нам привычнее фигура земного обывателя, что прирос к земле, не стремится в заоблачные выси, а если случается землетрясение, то трясется вместе с почвой. Обыватель — он знает, что от земли опасно отрываться. Европат же — обыватель безземельный, обыватель воздуха.

ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ИУДЕОТА

Отношение советских евреев к иудаизму представляет собой наиболее сложную область их психологии. В этом параграфе речь пойдет только об одном частном случае: “срочной иудаизации” советского еврея в Израиле.

Такой еврей, в СССР прозябавший апатичным бездуховным атеистом, в Израиле, рьяно подражая какому-нибудь локальному большинству, мгновенно наряжается в иудейство. Он становится Иудеем, Обращенным Тотчас (**иуде-о-том**). Иудеот со скоростью, непостижимой для продуманного и прочувствованного перехода, входит в еврейскую религию. Он поспешно заменяет один вид безверия другим, но зато снабженным атрибутами иудаизма.

Угнетенный в СССР своим иудейским происхождением, иудеот отыгрывается в Израиле, становясь здесь рьяным гоискателем среди советских собратьев. Он ищет “скрытых” гоев, полугоев, четвертьгоев, “осквернителей чистоты еврейства”. В этом иудеот – еврейский антисемит наизнанку.

Иудеот строг к другим в исполнении обрядов, как советский общественник, созывающий граждан на собрание с обязательной явкой. Никакого духовного содержания “вера” иудеота, его иудеотизм не имеет. Он просто утратил привычный идеологический корсет советского социализма и стремится натянуть на себя безобразно бюрократизированный каркас иудаизма. В этом иудеот – иудейный коммунист наизнанку. Иногда именно иудейный коммунист превращается в иудеота.

ПСИХОЛИТ

Человек попал в обычный мир. Мир, в котором разрешено прошлое и настоящее, а не только светлое будущее. Мир, в котором деревья выполняют свои естественные функции, – они просто деревья, а не устройства для монтирования микрофонов или средство наказания на лесоповале. И тут возникает чисто оптическая проблема: что увидит узник пещеры Платона, покидая ее? Нередко солнечные зайчики доносят до воспаленных глаз лишь один предмет – “права человека”, то есть олимповские права. Права на холодильник, автомобиль, ковры и квартиру. Попав на свободу, еврей вдруг ощущает биение времени, его быстрый бег. Он становится поэтом – на время, на три года, на пять лет, –

пока не истекнут олимовские права, и он не вступит в эпоху перемен, когда целью станет поменять старую квартиру на новую, старую машину на новую и т. д. А пока есть права, надо купить все, что дают! Опять ведь дают! И без очереди! А завтра будет дороже! Вещный мир входит в душу человека. Краеугольный же камень вещного мира — “купить” и “вложить”. А когда в душу вложен камень (даже краеугольный!), она может камнем и обернуться. Это то, что Георг Кристоф Лихтенберг назвал “Психолитом” (психэ — душа, литос — камень). Тяжелое каменодушие овладевает человеком. Не камни Иерусалима, а все возрастающий бег инфляции становится фундаментом его бытия. Индекс цен — единственной ценностью. Привязанность к вещам превозмогает былую привязанность к государству Израиль. А вскоре психолит начинает понимать, что за пределами Израиля есть заповедные места, где зарплату платят в долларах, а не в слабо звучащих шекелях. И кто знает: не изменит ли он в один прекрасный день индексу с долларом?!..

НЕМНОГО О БУДУЩЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

В России еврей, не собиравшийся ехать в Израиль, выдвигал, в числе прочих, аргументы о вреде израильского климата. Он был прав. Восхождение на Сион опасно для многих душ. Слишком привычна пропасть, в которой он сидел, слишком велика высота, слишком резка смена давлений. От крутого подъема страдают все пять чувств. Альпинист глохнет и уже не слышит ни своего недавнего недовольства Россией, ни стонов своих близких, оставшихся там. Альпинист слепнет и не замечает, что он уже по ту сторону гетто. Он не осязает свободы, не ощущает ее запаха и вкуса. Память ему отшибает еще в центре абсорбции, где его фантазия начинает усиленно работать, вымышляя легенды об изобилии, с которым пришлось расстаться (впрочем, иногда это правда, и человек, излагающий историю своего благополучия, — несун, комбинатор или вор, который вынужден был уехать из-за страха попасть в тюрьму).

Жизнь в СССР изымает у людей вместе со свободой и чувство ответственности. Советский человек подсознательно считает себя пешкой в чьей-то игре, подведомственным чиновником, обязанным следовать неписаным законам. Так уж повелось после десятилетий террора, что советские люди — кванты страха и безответ-

ственности. По традиции еврей переносит ответственность за свой приезд в Израиль на родственников, а затем (из-за неизбежного примирения с ними — родственников же не выбирают) — на еврейское государство.

Да, родственников не выбирают. Но выбирают Израиль. При всей беспорядочности Исхода, часто напоминающего бегство, в нем заключена логика самосохранения, спасительного притяжения к земле древних родственников, акция национального и человеческого самоутверждения. Но свобода выбора сохраняется и в этом случае. И самое трудное в ней — это свобода выбрать самого себя. “Отбросьте от себя все грехи, которыми вы грешили, и сотворите себе сердце новое и дух новый”. (Иезекиаль).

Сколько же лет нужно для внутреннего освобождения? Кто более свободен — рожденный на свободе или знающий цену несвободы? Ценен опыт того и другого. Важно только помнить, что за свою неволю, внешнюю и внутреннюю, за свое перевоплощение, за отсутствие национальной памяти евреи в конце концов платили всегда самую высокую цену.

Большинство еврейских праздников, древних и новых, — дни Памяти. Мы помним — следовательно, мы существуем. И когда мир перейдет с нефти на солнечную энергию, а мы будем экспортировать солнце, покроем наконец дефицит торгового баланса и остановим инфляцию, мы будем помнить о временах нефти, о цене на нее и об отношении к нам всех трех миров. Однако дефицит энергии, в том числе и энергии избранности у нашего народа в досолнечную эру, — тревожный признак. Проблема преодоления инфляции — уменьшения экспорта (энергии, главным образом) и увеличения импорта — это также и проблема увеличения импорта евреев и уменьшения их экспорта из Израиля.

“Ты ждешь ли еще, Сион, вестей от детей твоих,
Пленных и рассеянных вдали от полей твоих?”

(Иегуда Галеви, “Узники Сиона”)

Русская алия вращается в Израиль с обильным комплексобразованием, с внесением старого мироощущения, с религиозностью и псевдорелигиозностью, с поиском основы национального существования. Страх остался на Руси, а трепет продолжается. Еврейство по-прежнему задает вопросы о самом себе самому себе, но на этот раз это происходит в еврейском государстве, а не на еврейской Руси.

РУССКИЙ ВОПРОС

“Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт географический”.

На этом обрывается рукопись “Апологии сумасшедшего” Петра Чаадаева (1837 год).

История, как поэма, скреплена рифмами, и перекличка в ней событий помогает с помощью прошлого понять настоящее. В частности — зачем русские захватили Афганистан?

Из многих ответов на этот интригующий вопрос наиболее распространены два: русские стремятся захватить нефтяные поля Аравийского полуострова, перерезав жизненно необходимые для Запада источники, либо хотят выйти к теплым водам и незамерзающим портам Индийского океана.

Нелепость этих предположений очевидна при сопоставлении со столь же нелепыми и не менее популярными предположениями, которые были выдвинуты 100

Владимир Соловьев

**СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ
ИСТОРИИ**

лет назад в связи с тогдашними среднеазиатскими захватами России.

Крупнейший авторитет по азиатским делам, известный путешественник сэр Генри Раулисон составил в 1868 году записку, изображающую среднеазиатские завоевания русских как начало систематической атаки на Индию. Нельзя отказать сэру Раулисону в остроумии: он мысленно прочертил параллельные линии на юг от только что взятых русскими войсками Чимкента, Ташкента и Самарканда и увидел, что положение русских в смысле захвата Индии намного выгоднее, чем положение англичан в отношении ее защиты. Однако именно остроумие и подвело англичанина: о русских он судил по своим соотечественникам, пытаясь захватнический инстинкт русских объяснить рационально, как продуманную систему действий с причинами и следствиями. В действительности же все обстояло иначе, и Михаил Покровский был ближе к истине, когда писал в связи со среднеазиатскими приобретениями России: "У нас умели взять; что делать со взятым, догадывались долго спустя". А Василий Ключевский обосновывал русские захваты естественным стремлением России к географическому распространению, ставя, однако, ему естественные и политические пределы: Гиндукуш, Тянь-Шань, Афганистан, Индия и Китай.

Ошибка сэра Раулисона упиралась в принципиальное различие между английским колониализмом и русским: военные походы русских опережали обычно и дипломатические акции, и стратегические замыслы, и даже чисто военную подготовку — сплошь и рядом, вплоть до прошлогоднего Афганского блицкрига, русским недоставало карт оккупированной ими местности (есть рассказ западного журналиста в Кабуле о том, как его машину остановил советский офицер и попросил у него туристскую карту Афганистана). Россия действует обычно по инстинкту, а рациональные англичане — как спустя сто лет прагматические американцы — пытались высчитать этот инстинкт чуть ли не математически.*

Я помню, как в школе гордая указка учителя гуляла по политической карте, и мы вызубривали, что Советский Союз занимает 1/6 часть земной поверхности и на его территории без осо-

* Идеологическое объяснение захвата Афганистана и вовсе нелепо, потому что когда в прошлом столетии Россия захватывала соседние с Афганистаном ханства — Бухару, Хиву и Коканд — коммунизм в России был фактически еще неизвестен.

бых затруднений могли бы уместиться 2–3 США, либо 40 Франций, либо 92 Великобританий, не говоря уже о таких вовсе незначительных государствах, как Голландия, Бельгия или Люксембург. И одно это должно было привести нас в патриотический восторг. Это не было официальной пропагандой — это было национальным чувством. В ходу были эпические и очень эмоциональные песни о необъятной стране и ее чудесных просторах. К тому же все мы понимали, что страна наша еще больше, чем ее цифровые показатели, которые не включали принадлежащих Советскому Союзу социалистических стран — от Польши до Монголии. Ведь что любопытно: до сих пор Россия многие свои военные завоевания считает географическим открытием — Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию.

География в СССР заменяет и историю, и политику, и идеологию. К народу это относится ничуть не в меньшей степени, чем к правительству — единство здесь поразительное. К примеру, почти все великие русские писатели XIX века, за редчайшими исключениями, были искренними империалистами по своим политическим (а точнее — географическим) взглядам. Гоголь с восторгом писал о своей стране, разметнувшейся на полсвета; Пушкин написал милитаристское стихотворение на подавление русскими войсками польского восстания и взятие Варшавы; Грибоедов составил для правительства несколько колониалистских договоров и, проводя один из них в жизнь на посту русского посла в Тегеране, был убит разбушевавшейся толпой мусульманских фанатиков; Достоевский страстно мечтал о захвате Константинополя; Тютчев на смертном одре выспрашивал о подробностях взятия Хивы. Это — лучшие умы России, что же спрашивать с правительственных чиновников или с народа? Бродячий инстинкт в крови русских — некоторые ее завоевания нельзя объяснить с экономической, либо политической, либо стратегической, либо любой другой разумной точки зрения. (Еще раз зададим себе вопрос — зачем русским Афганистан?) Это — болезнь пространства: от внутренней несосредоточенности, от постоянной неусидчивости, от исторического кочевья. России достался тяжкий, трагический дар пространства. Она гордится своими расстояниями, а в ней только километры, и русским впору прийти в ужас от полых пространств, ничем и никем не заполненных. Россия — это фактически одна Москва, железной рукой удерживающая бесчисленное количество провинций и колоний.

Аристотель считал, что есть предметы, столь малые или столь большие, что глаз их уже не воспринимает, и потому они как бы не существуют. Россия слишком велика, чтобы быть реальностью. Это географическая и политическая фикция, которой для жизнеподобия необходимы экспансия и расширение границ. Чем Россия и занимается весьма успешно не первое столетие, независимо от того, кто в ней у власти: царское самодержавие или диктатура пролетариата.

Мы живем в мире условностей, подобном Шекспировскому "Глобусу", где вместо декораций стояли дощечки с надписями — "лес", "река", "таверна": в самом деле, почему Польша обязана находиться в сфере советского влияния, а Австрия нет? Почему Финляндия зависит от своего восточного соседа, а их общий сосед Норвегия входит в НАТО? И главный вопрос: что преобладает сейчас в русской империи — сила или слабость? А что если силой притворилась слабость и инерция страха перед "The Russians are coming!" заслоняет реальный образ России?

Князь Вяземский писал в своем дневнике после подавления очередного польского бунта в 1831 году: "Польское дело такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Какая выгода России быть внутренней стражей Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас или должно будет иметь русского часового при каждом поляке". И не только поляке, но при каждом литовце, чехе, грузине, эстонце, немце, венгре, армянине, афганце, украинце, даже монголе — нет нужды перечислять все народы СССР, их не меньше, чем в ООН, и связь между ними, если воспользоваться выражением Герцена, "основана на перекрестном отвращении друг от друга" и на совместном — к имперскому народу империи. Одно счастье — у русских не хватит часовых, особенно учитывая неутешительные для них демографические показатели — постепенное оттеснение русских на задний план другими народами империи. Поэтому каждое новое имперское приобретение — тот же Афганистан с его 15 миллионами населения — усиливает демографический кризис русских. (Сведения о нем в американской прессе значительно занижены, так как формальный подсчет охватывает только народы, конституционно входящие в состав СССР, минуя почему-то более 100 миллионов из Восточной Европы, Монголии и теперь Афганистана.)

Порок своего географического сложения Россия принимает

за главное свое достоинство, стремясь его сохранить и усилить. Отсюда — Афганистан, еще одна потемкинская страна, которая, похоже, ничего, кроме новых проблем, добавить русским не может. Однако фиктивной империи необходимы фиктивные приобретения: на одной табличке написано "Афганистан", на другой — "Польша", на третьей — "СССР", а действие происходит на пустой сцене; совсем как у Шекспира: "Think, when we talk of horses, that you see them". Россия воюет в Афганистане, а ей надо заново завоевывать Польшу, которая ей уже не принадлежит. России нужны потемкинские завоевания, потому что она сама — потемкинская империя: не полагаясь уже на реальность, русские рассчитывают на воображение зрителей.

Увы, в этих рассуждениях нет и толики оптимизма: потемкинская империя вынуждена постоянно отстаивать свое право собственности на чужие земли, что регулярно толкает ее на "военные подвиги". Историческое созидание идет у России не вглубь, а вширь. На месте исторических отличий у России географическое: "Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы", — писал Чаадаев в связи с "историческим ничтожеством" своей родины. А началось это еще с князя Ивана Калиты, который уже в XIV веке "собирал земли" вокруг Москвы. По подсчетам Фритьюфа Нансена, Россия, начиная с 1500 года, увеличивалась каждые семь лет на территорию, равную по величине его родине — королевству Норвегии.

К этому следует добавить русские приобретения после Второй мировой войны: Прибалтику, Восточную Европу, Афганистан. Создание и существование такого многонационального конгломерата невозможно на добровольной, демократической основе — оно требовало такого перенапряжения усилий русского народа, которое стало возможным только благодаря тоталитарному, насильственному единству. Отсюда значение и постоянное совершенствование полицейского и военного аппарата. Русская армия создавалась и пересоздавалась с первоначальной целью защиты отечества от внутренних врагов либо соперников правящего режима (вспомним роль гвардии в регулярных государственных переворотах XVIII века; даже неудавшееся восстание декабристов в 1825 году приняло форму военного мятежа), а также для подавления крестьянских либо национальных мятежей на окраинах империи. Понятие внутреннего врага трансформировалось в понятие представителя внешних, враждебных России сил ("лазут-

чик", "шпион", "агент CIA"), а внешние силы, в свою очередь рассматривались как подстрекатели и инициаторы внутренней крамолы. Поэтому, скажем, постоянные польские волнения на самых разных уровнях русского создания и в разные времена оценивались одинаково: "внутреннее затруднение" (историк Ключевский, 1884), "домашний спор" и "семейная вражда" (поэт Пушкин, 1831), "внутренние дела" (канцлер Горчаков, 1863), "доктрина ограниченного суверенитета" (выдвинута Брежневым в 1968 году в связи с Чехословакией и восстановлена сейчас в связи с польскими событиями). И наоборот, любые внутренние затруднения объяснялись диверсией Запада либо заговором мирового сионизма через местных евреев (наиболее распространенная, безотказная и универсальная формула, шаблонная этикетка на таких разных вещах, как влияние при дворе всесильного царского фаворита, "святого черта" Гришки Распутина — и Пражская весна, социалистические идеи до революции и антисоциалистические — после нее) .

Так постепенно стерлось в русском сознании отличие внешнего врага от внутреннего, они стали взаимозаменяемы ввиду тесной между ними связи и требовали одинаковых методов борьбы, то есть вызывали к жизни один и тот же военно-полицейский институт. Солдаты, вымуштрованные для борьбы с внутренней крамолкой, шли завоевывать России новые территории, а возвращаясь, продолжали борьбу с крамолкой, причем никакой переквалификации для этого не требовалось. Из политического образования Россия превратилась в исключительно военное, что диктовалось и диктуется интересами сохранения и увеличения империи. Во всех других отношениях отсталая страна, Россия выходит в первые ряды как военная держава. Что не удивительно, если подсчитать, сколько войн пришлось на русскую историю. Минувя это столетие, еще не оконченное, хотя самое для России и кровопролитное, упомянем несколько примеров из прошлого. Екатерина Великая за 34 года своего правления провела 6 кровопролитных войн, а на смертном одре мечтала о седьмой, с революционной Францией. Или Петр Великий, чьим любимым музыкальным инструментом был, естественно, барабан: за 35 лет своего царствования он имел только один мирный год — 1724, незадолго до смерти. (Сейчас, кстати, самый долгий, беспрецедентно долгий период мира в истории России, по крайней мере с XVI столетия, — уже одно это не может не внушать опасения.)

Между свободой и империей русские выбрали империю: свобода — цена, которую они платят за свою империю. Я мог бы даже сказать, что исторический выбор русских был между империей и нацией, но это потребовало бы дополнительных разъяснений о русском народе как жертве собственного исторического выбора. Ибо русская империя — это бумеранг, ранящий на возвратном пути собственного владельца. Однако трагическое это противоречие еще более усиливает гордость и ранимость имперского народа, которому поползновения на свободу покоренных народов кажутся личной обидой: неуязвимая в военном отношении, империя уязвима эмоционально.

Более важен, более экзистенциален другой вопрос — был ли действительно у русских выбор и есть ли он у них сейчас?

На рубеже XVI—XVII веков у России и Польши были одинаковые основания для создания великой империи — пожалуй даже, у Польши больше (Речь Посполита, уния с Литвой, имперские амбиции Стефана Батория, постоянное соперничество с русскими из-за Украины, захват русского престола польским ставленником Лжедмитрием и т. д.). В XVIII веке Россия не только выиграла соревнование за империю, но и подчинила себе Польшу (так называемые “разделы”) — именно потому, что Польша, хоть и обладала имперскими амбициями и даже уже традициями, но не готова была ради них пожертвовать ни дворянскими вольностями с конституцией и сеймом, ни элементарно — уровнем жизни, а империя требовала жертв. Русские же предпочли силу свободе и благополучию. На узкой исторической тропинке этим народам не разойтись было мирно — кто-то должен был восторжествовать и кто-то подчиниться, стать колонией или стать империей... Иначе говоря — можно рискнуть и сказать так — у России не было иного национального выбора как стать империей; в противном случае, она стала бы одной из польских провинций.

История русско-польского многовекового конфликта своеобразно преломилась в неприязненном отношении к полякам многих русских писателей — Пушкина, Гоголя, Достоевского, вплоть до Солженицына, который пытается уравновесить русскую вину перед поляками перечислением исторических обид, которые поляки нанесли русским в течение XVI—XVII веков: “Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречающая вина всегда бросает ослабляющую тень”.

Подобное объяснение — нонсенс, и я не привел бы его, если бы

не желание дать в этой статье голос самой империи. И здесь самое поразительное, как **русские** воспринимают свой имперский аппетит.

Один из самых трагических и тягостных факторов русской истории — это постоянные вторжения на ее территорию врагов. Из тысячелетней русской истории почти треть приходится на татаро-монгольское иго: не знаем даже, представимо ли это в воображении западного человека. Монголы, шведы, поляки, литовцы, французы, немцы — век за веком, вплоть до последней войны — совершали опустошительные набеги на Россию, даже захватывали ее столицу. И память об этих национальных унижениях сохранилась в двух формах — в острой ксенофобии (ведь и антисемитизм следует рассматривать не только как результат официальной пропаганды, но и как выражение аллергии туземцев на пришельцев), и в государственном инстинкте русских, которым собственный империализм кажется исключительно оборонительным, а не наступательным явлением.

К этому следует добавить панический страх России перед покоренными ею народами — страх палача перед жертвами, хозяина перед рабами, мания преследования у преследователя. После оккупации Чехословакии советскими войсками по Москве ходил анекдот о самом страшном сне, который приснился Брежневу — будто сидит чех на Красной площади и китайскими палочками ест еврейскую мацу. Легко представить себе, на что способен человек, проснувшись после такого сна.

Сейчас, приспособленный к новым временам, этот анекдот рассказывают в двух вариантах: в одном случае манипуляции с китайскими палочками производит на Красной площади афганский повстанец, в другом — персонально Лех Валенса, вождь польского пролетариата. Претендентов на эту роль множество — чем больше империя, тем больше у нее врагов.

Когда умрет Брежнев, этот сон неизбежно приснится его наследнику, кем бы он ни был. Вообще гадания о том, кто унаследует власть в России, носят академический и праздный характер. От этого ровным счетом ничего не зависит — важен характер не наследника, а наследства. Любой брежневский наследник унаследует распухшую от пространств, народов, противоречий и оружия империю. А у империи свои задачи, и решать их придется любому будущему руководителю России, и его решение будет продиктовано не его взглядами и желаниями, но помимо них — самой импе-

рией. Поэтому страшный сон о нацене, орудуящем на Красной площади китайскими палочками с еврейской мацой — это не личный кошмар Брежнева, а коллективный сон русской империи.

Страх империи перед распадом подсказывает ей, что лучшая защита — нападение. В этом плане и следует рассматривать захват Афганистана, который есть не новая страница русской истории, а напротив — возвращение к старым, историческим страницам: захват Афганистана ничем не отличается от захвата соседних с ним Хивы, Бухары и Коканда сто лет назад. И это решительное возвращение говорит о том, что период двоевластия в России кончился и за спиной церемониального Брежнева стоят люди, куда более решительные и отчаянные. Пока кремленологи по старческим лицам членов Политбюро пытались угадать наследника Брежнева, борьба за власть переместилась за пределы Политбюро; зато увеличилось значение других центров власти — генералитета армии (о чем можно судить по захвату Афганистана), руководства КГБ (разгром диссидентства, снижение еврейской эмиграции), идеологического аппарата (смена коммунистических лозунгов на национал-шовинистические). Неизменный Брежнев — это оптический обман, которому американцы, при их бегеomoжей нечувствительности к чужим политическим системам, с удовольствием поддались. На самом деле Брежнев — это живой мост, по которому Россия из одной своей политической эпохи переходит в следующую, чье наступление стимулируется фактором, который растет не по дням, а по часам: русский страх перед Китаем — страх исторический, расовый, демографический, тотальный. Потому что китайцы — не афганцы, не чехи и даже не поляки: их нельзя ни припугнуть, ни усмирить, ни оккупировать.

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"

вышла в свет

ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО". Книга вторая.

Цена за рубежом 6 долл.

Книготороварищество предлагает также книгу: ИГОРЬ ГАРИК. "ЕВРЕЙСКИЕ ДАЦЗЫБАО" (СБОРНИК ПЕРВЫЙ). При заказе обоих сборников вместе цена 10 долларов.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL

У КАРТЫ МИРА

Люди начали интересоваться Афганистаном только после советского вторжения. Но и до сих пор на Западе имеют довольно смутные представления об этой стране. Прежний афганский режим единодушно считается чем-то отсталым и феодальным, не заслуживающим поддержки и сочувствия, независимо от отношения к советской оккупации. Многие левые на Западе разделяют эти представления, даже не отдавая себе отчета в том, что они являются, в сущности, перепевом колониалистских рассуждений, отождествлявших технологическую отсталость с отсталостью культурной и оправдывавших переход к новому способу производства "от имени истории и прогресса", даже если этот переход происходил за счет тех самых тружеников, ради которых он якобы совершался.

Но в этих рассуждениях присутствует не только расистский или колониалистский душок. Они вдобавок совершенно затемняют тот факт, что в апреле 1978 года в Кабуле действительно произошла революция, точнее — левый переворот. И советское вмешательство может быть объяснено только тем, что этот переворот провалился. Анализ этой неудачи позволяет понять, почему многие другие революции в Третьем мире, как прави-

Оливер Рой

АФГАНИСТАН, КАК ОН ЕСТЬ

ло, приводят к плачевным результатам. Провал афганской революции не был следствием несчастливого стечения обстоятельств или ошибок безумного диктатора (в данном случае — Хафизуллы Амина). Он был логическим следствием захвата власти кучкой интеллектуалов (из низших слоев среднего класса), которые обратились к идеям марксизма, увидев в них средство для собственного продвижения по социальной лестнице.

Считается, что советская армия вошла в Афганистан по просьбе стоявшей у власти партии, чтобы свергнуть кровавую диктатуру Амина (который был вождем этой самой партии) и подавить сопротивление крупных земельных феодалов, подстрекаемых американским империализмом и пакистанскими агентами.

Первое утверждение смехотворно. В разгар аминовских кровавых чисток русские советники уже держали под своим контролем весь механизированный состав афганской армии (около пяти тысяч подвижных единиц). Летом 1979 года советская авиация подавила волнения "левых", как их определили, воинских подразделений в Кабуле и Херате. Если русские действительно хотели только устранения Амина, им вовсе не нужно было вмешиваться — достаточно было, напротив, воздержаться от всякого вмешательства. Да и кровавые расправы нельзя вменить в вину одному Амину: они начались еще при президенте Тараки и продолжались при Бабраке Кармале, и все это время важнейшие посты в правительстве занимали одни и те же люди. Система, по существу, не менялась, хотя Амин, быть может, и был параноидальнее других.

Не выдерживает критики и утверждение об иностранном подстрекательстве. Партизаны по сей день вооружены жалкими старинными ружьями или оружием, захваченным у афганской армии, — это может подтвердить всякий, кто их видел. Что же касается проникновения "агентов" через пакистанскую границу, то причина тому — не "зловещие замыслы" пакистанского правительства, а его полная неспособность наглухо перекрыть искусственно проведенную черту, по обе стороны которой живут одни и те же племена — пушту и патаны. Пакистанскому режиму совершенно невыгодно помогать повстанцам — это только усиливает брожение среди пакистанских пушту и грозит втянуть Пакистан в конфронтацию с русскими.

Как я уже сказал, подлинная причина советской интервенции состоит в том, что афганская революция 1978 года потерпела

неудачу. Ее руководители не сумели решить ни одной из экономических проблем страны. Они не сумели стать хотя бы “сносными” в глазах собственного народа. Напротив, они ухитрились вызвать его раздражение буквально по всем чувствительным вопросам. И этот отказ народа принять навязанную ему революцию лидер французских коммунистов Жорж Марше назвал... афганским феодализмом!

Как бы ни трактовать феодализм: в узком ли смысле (земля принадлежит феодалам), в широком ли (сельскохозяйственный труд и его продукты не являются объектами свободного товарообмена) — ни по одной из этих трактовок Афганистан не является феодальной страной. Хотя афганские законы земельной собственности весьма различны в различных провинциях, в них можно выделить общее: большие земельные владения (свыше 250 акров, что само по себе не так уж много) в Афганистане редкость. Богатый крестьянин владеет обычно 25 акрами орошаемой земли, зажиточный — 5—10 акрами, бедный имеет меньше или совсем ничего. Иными словами, в Афганистане нет земельной, феодальной знати, как нет и особого класса обезземеленных крестьян. В типичной для страны провинции Лангам, где я бывал, четверть населения можно отнести к “богатым крестьянам”, половину — к “зажиточным” и остальных — к безземельным. Только этим приходится заниматься в батраки и существовать исключительно на заработки. Таким образом, владельцы небольших и средних участков составляют большинство населения.

Но проблема собственности на землю вообще не является в Афганистане главной. Земля здесь ничего не стоит, если она не орошается. Основной проблемой страны является не земля, а вода. Неорошаемый участок никого не интересует; любой человек может его засеять и взять себе то, что на нем вырастет. Спор идет из-за того, кому сколько достанется воды, и тут местная верхушка действительно может произнести решающее слово. Было бы нелепо утверждать, будто афганское общество базируется на принципах равенства и демократии, — в нем определенно существует эксплуатация; но дело в том, что она не имеет в себе ничего специфически феодального, как это хотел доказать Марше. Эксплуатация существует в форме “издольщины” (батрак нанимается за долю урожая — обычно от половины до одной шестой, в зависимости от того, пользуется ли он своими собственными орудиями и семенами) или так называемой систе-

мы “герао” (когда участок крестьянина закладывается в долг под ростовщический процент и урожай поступает в счет выплаты долга; главной причиной долгов являются обычно неурожай или женитьба сына: выкуп за невесту в Афганистане огромен — он достигает порой 40 тысяч долларов) .

Однако обе эти формы эксплуатации не привели к появлению класса сельскохозяйственных пролетариев. Даже задолжавший мелкий землевладелец продолжает оставаться землевладельцем, тем более что зачастую его кредитором является такой же мелкий землевладелец. И вообще вся эта проблема эксплуатации отодвинута в Афганистане на второй план другой, более насущной проблемой — демографической. Маленькие владения дробятся между наследниками, миграция из деревни в город ничтожна, а доходы с земли не возрастают. В результате уровень жизни малоземельного крестьянства непрерывно падает. Но для повышения этого уровня недостаточно было провести аграрную реформу (даже если она была задумана для этой цели, что в действительности было не так). Все равно осталась бы нерешенной главная проблема — расширения посевных площадей путем развития ирригации. Именно этого ожидали крестьяне от людей, которые свергли прежний режим. Они ожидали от них реформы издольщины, беспристрастного контроля за распределением воды и удобрений, но они вовсе не стремились к коренной перестройке привычной для них системы социальных отношений. В афганской деревне не было революционной ситуации. Система социальных отношений в ней была хоть и сложной, но гибкой, подвижной. Весь ее “феодализм” состоял в технологической отсталости, которая была характерна для страны в целом. И когда Марше говорит о “феодалном Афганистане”, в его словах слышатся то же презрение к технологически отсталым культурам, та же слепая вера в “прогресс”, отрицающая все культурные ценности прошлого, та же европейская этноцентричность, которые побуждают иных “левых” восхвалять советскую армию, якобы “положившую конец эксплуатации местного населения”.

Если уж говорить о феодализме в точном марксистском смысле этого слова, то единственной его приметой в афганской деревне было невмешательство государства в жизнь крестьян. Центральная власть, администрация, переписи — все это существовало только в городах; на селе эта власть была представлена в самой минимальной степени — в лице деревенского старосты, который

проводил набор рекрутов, собирал налоги и тому подобное. Он же платил зарплату деревенским муллам, заботился о жилье для приезжающих и порой финансировал некоторые общественные работы местного значения. Далекий Кабул олицетворяли горстка учителей да редкой цепью разбросанные гарнизоны, насчитывавшие по десятку оборванных солдат под началом "хакима", которые большую часть дня дремали в полуразрушенных бараках, оживляясь только тогда, когда по пыльной дороге проезжал "ленд-ровер" с чиновниками, совершавшими очередную инспекцию.

Большинство афганцев побаивались центрального правительства, от которого можно было ожидать одних неприятностей (нынешняя революция только укрепит их в этом мнении). Государство для них олицетворялось Кабулом, а Кабул считался центром разврата, подкупа и атеизма. В смысле культуры и повседневного быта афганские крестьяне гораздо ближе к своей деревенской верхушке, чем к правительственным чиновникам или революционным "комиссарам" — этим горожанам в западных костюмах с выражением смертельной скуки на лицах. Не следует представлять себе деревенскую "знать" как этаких английских сквайров. Она одевается и разговаривает так же, как бедняки, посылает своих детей учиться к тем же муллам, ведет тот же образ жизни. Нужно немалое время, чтобы за фасадом традиционной вежливости уловить те тончайшие нюансы, которые отличают бедного афганского крестьянина от богатого.

Видимую однородность афганского крестьянства в немалой степени усиливает религиозный фактор. На первый взгляд, афганский ислам лишен той лихорадочной одухотворенности, что иранский шиизм. Деревенские муллы зачастую безграмотны и повторяют затверженные фразы, сами их не понимая; порой это старики, заработавшие звание мулл только своей набожностью. Вдобавок афганское духовенство не отличается и той сплоченностью, что иранское. В городах еще можно найти богословов и мусульманских интеллектуалов, которые получили образование большей частью в Каире. Но на деревне вся религиозность исчерпывается исключительно ритуалами и предписаниями: горе тому, кто не соблюдает Рамадан, кто пьет алкоголь, предается разврату или просто не произносит вовремя молитву. В областях, населенных пушту, такие провинности грозят смертным приговором.

Однако за формальным фасадом кроется одухотворенная

вера. После нескольких дней путешествия в горах, где трудности сближают людей, проводник вдруг начинает разговаривать с вами о жизни и смерти и цитировать Саади и Гафиза. Полуграмотный крестьянин неожиданно задаст вопрос о сущности западного материализма и тут же начнет горячо отстаивать превосходство своей религии. И совсем молоденький мальчик вдруг попросит объяснить ему основные догматы христианства, а потом выскажет свои сомнения в непорочности девы Марии. Для афганцев их вера — нечто много большее, чем просто набор практических предписаний; это определенный взгляд на мир и источник, к которому они не престанно обращаются, когда говорят о справедливости, свободе или морали, короче — о человечности. И Бог тому свидетель, они любят об этом говорить!

Такова эта страна — скорее средневековая, чем феодальная, страна, в которой последние десять лет дела шли все хуже. И без того скромный доход земледельцев уменьшался все быстрее — из-за дробления наделов в результате демографического давления. Неурожаи обрушивались на страну три года подряд — в 71-м, 72-м и 73-м годах. Затем Мухамед Дауд сместил короля и пообещал быстрое экономическое развитие. Он потерпел неудачу. В распоряжении слабой афганской буржуазии не было достаточно капитала, а тот, который был, она предпочитала вкладывать в знакомое ей дело — торговлю, а не рисковать им ради индустриализации. Те немногочисленные отрасли индустрии, которые все же удалось создать, привели только к разорению мелких ремесленников. Вдобавок эта индустрия не могла конкурировать с зарубежной. Разочарованные ремесленники и мелкие торговцы начали искать утешения в исламе; немногочисленная интеллектуальная прослойка — в местном варианте марксизма. Массы нищали. Наплыв туристов нарушил устоявшуюся систему товарообращения и взвинтил цены; многие традиционные товары — например, афганская шерсть — стали недоступны рядовым афганцам. Начиная с 1975 года в воздухе запахло революцией. Не знали, кто ее начнет, но были уверены, что она начнется с военного переворота. Так оно и произошло, — но с печальным завершением. Тому было две причины — отсутствие социальной базы и провал аграрной реформы.

Революция началась в апреле 1978 года. В августе я наблюдал ее приход в маленьком городке провинции Лангам. Поворотный

пункт наступил осенью. В июле 1979 года я уже не смог вернуться в Лангам: провинция была охвачена восстанием.

Ни одна революция не совершается без социальной базы. Официальные лозунги твердят, разумеется, о рабочем классе. В сегодняшнем Афганистане он попросту не существует — точнее, находится в той же зародышевой стадии, что и сама афганская индустрия. В 1970 году перепись отметила 30 тысяч рабочих — в сравнении с 47 тысячами служащих. Группа в 30 тысяч не составляет социальный класс. А это означает, что “революция” 1978 года была обычным военным переворотом, не имевшим массовой поддержки. Его узкую социальную базу составляла мелкобуржуазная интеллектуальная прослойка: учителя, студенты, государственные служащие и офицеры технических родов войск, прежде всего — авиация. Эти люди чувствовали себя в традиционном афганском обществе, как в тюрьме. Однородность этого общества превращалась в смиренную рубашку для тех, кто не разделял его ценности. А провал попыток развития капиталистической экономики положил конец их надеждам на социальное продвижение.

Я знавал этих людей в бытность мою в Лангаме, Бадахшане и Нуристане. Обреченные на одиночество среди местного населения, язык которого они зачастую даже не понимали, не имеющие возможности завести семью, потому что они годами не могли собрать денег на покупку невесты, получающие мизерную плату, они всегда держались особняком и не смешивались с крестьянской массой. Крестьяне видели в них чужеземцев. Они и были чужеземцами в собственной стране, вынужденными выполнять пустые для них религиозные и бытовые церемонии. Весь этот извечный крестьянский церемониал был им не только чужд и странен, — он казался им главным препятствием на пути к социальному прогрессу, к модернизации, которая так их влекла и в которой им было отказано. Нужно представить себе пуштунскую деревню в каких-нибудь горах Нуристана, где сама мысль о каком-либо новшестве кажется чем-то, граничащим со святотатством, чтобы понять всю тяжесть традиции, ложившуюся на этих немногочисленных интеллектуалов, понять, как искреннее стремление к модернизации страны постепенно перерождалось у них в разочарование и отвращение к собственному народу, к его темноте и невежеству.

Этих мелкобуржуазных интеллигентов привлекал отнюдь не социализм; их мечтой была модернизация. Марксизм был для них

всего лишь средством этой модернизации. Марксизм ведь и вообще — суррогат модернизации для неимущих, которым все иные, реальные пути модернизации не по карману.

Социализм рисовался афганскому интеллигенту в виде западного города, каким он его себе представлял: фабрики, мощные мостовые, машины, собственные дома, женщины без чадры (и доступные), брак по выбору, кинофильмы, радиоприемники, электричество, алкоголь без ограничений и так далее. Просвещение и индустрия — ничего специфически социалистического, марксистского, просто упрощенный вариант западного XIX века. О деревне при этом забывали; считалось, что она должна “подняться” до уровня города. Не было и следа того понимания сельского образа жизни, которое позволило Мао совершить крестьянскую революцию. Афганские революционеры, недавние учителя и студенты, рассматривали крестьянина, как ученика, которого нужно научить всему: как умываться, как есть, одеваться, а главное — как думать. Это представление о крестьянстве выросло даже не обязательно из тоталитарных установок, — оно было естественным продолжением дидактического взгляда на деревню, как на оплот предрассудков и суеверий. Бесспорно, деревенская жизнь трудна, особенно для женщин, которые обречены на затворничество или превращение в тягловую скотину. Но сегодня мы видим, к чему привел дидактический предрассудок интеллигенции: начинается с избияния непослушных крестьян, кончается напалом (“сами виноваты, слов не понимают!”). И те самые женщины, которых собирались “освободить”, первыми сгорают заживо.

Задолго до революции мелкие буржуа уже одевались по европейской моде, сбрасывали бороды и отращивали маленькие усики на манер “левых” интеллигентов и меняли тюрбаны на астраханские меховые шапки. А пуще всего — читали. Читали они чаще всего упрощенные издания, вроде “Красной книжечки” Мао, или основополагающую литературу, вроде “Коммунистического манифеста”. Так будущие революционеры приобщались к сумбурному и поверхностному марксизму, ни разу не попытавшись применить его к анализу конкретной ситуации в собственной стране. В заброшенной нуристанской деревушке я встретил одного такого “левого” учителя, который объяснял мне, что он добивается торжества “пролетарской линии” в своей деревне. (Я больше никогда его не видел и надеюсь только, что его успели перевести в Кабул до начала восстания.)

Использование революционного словаря дает порой странные результаты. Энтузиазм афганских революционеров (а может, просто полное незнание собственной традиционной культуры) так велик, что переводчики не задумываясь переписывают подряд весь западноевропейский политический словарь, лишь транскрибируя его фонетически. Пролетариат становится “пролитер”, демократический — “димократик”, переворот — “кудета” (с использованием иранской фонетики); то же самое происходит с “социализмом”, “феодализмом”, “империализмом”, “комитетом” и прочими терминами. Не будет преувеличением сказать, что этот революционный политический жаргон совершенно непонятен афганскому крестьянину, даже образованному. Такой крестьянин может наизусть знать поэмы Саади и все равно не понимать ни слова в новостях, передаваемых афганским радио. Мне доводилось переводить афганским крестьянам речи их революционных вождей на мой весьма несовершенный персидский; им эти речи казались набором звуков, мне же были понятны лишь потому, что главные понятия в них были окутаны “изма́ми” моего родного языка. Помню вечер, проведенный с одним учителем из деревни в долине Петч, которому я пытался объяснить смысл слова “субъективизм”, на которое он наткнулся в политическом тексте (“мобарзе зед субъективизм”, то есть борьба с субъективизмом). Тот же учитель часто повторял крестьянам: “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!” Его помощник как-то спросил его: “Что такое пролетарий?” “Рабочий”, — ответил учитель. “Понятно. А что такое рабочий?” Не потому ли передовая статья в газете “Кабул таймс” объясняет, что революционное насилие необходимо, чтобы освободить народ от обскурантизма, в который его “ввергли” “крупные феодалы”?

Апрельская революция 1978 года была, по существу, революцией только на словах. Ее вожди полагали, что магическая сила слов должна, обязана произвести на свет несуществующую “реальность” — “пролетариат”, “авангард”, даже “партию”, в то время как в их распоряжении были лишь мелкобуржуазные функционеры в пиджаках и галстуках, мечтающие о продвижении по службе и замороженные запахом власти. Можно предложить два объяснения такому ходу событий: либо среди вождей было слишком много бывших подписчиков западных неопозитивистских журналов, понявших из чтения, что революция, если она вообще происходит, должна совершиться в языке; либо марксизм превратился в идео-

логию рвущейся в верхи мелкой буржуазии Третьего мира. Но чем объяснить поворот к Москве? Вероятно, тем, что это был единственный образчик "модерности", имевшийся под рукой. Афганская интеллигенция обучалась в советских институтах. Советские преподаватели обучали студентов кабульского политехникума. Русские советники готовили афганские офицерские кадры, прежде всего — авиационные. Еще при королевском режиме численность этих советников превосходила численность всех остальных, вместе взятых. А со времен Дауда Афганистан вообще прочно вошел в советскую сферу влияния. И дело тут вовсе не в советской пропаганде. Афганские модернизаторы увидели в СССР подходящую им модель: модернизация, осуществляемая с помощью бюрократического аппарата. Модернизация на западный лад — с помощью капитала и крупной буржуазии — была им недоступна. В СССР они увидели образчик просвещенной деспотии, столь подходящей к условиям Третьего мира. Они пришли к выводу, что достаточно создать сильную и вездесущую власть и двинуться по пути экономического и социального прогресса, чтобы достичь цели — не столько социализма, сколько быстрой индустриализации (если потребуется — даже против воли крестьянства).

Не все интеллектуалы объединились под этим знаменем. Некоторые выступали за модернизацию ислама, которая примирит религию с экономическим развитием. В армии было много офицеров-последователей Насера. Но апрельская революция раздавила все эти фракции, а те из них, что ее пережили, оказались ныне на стороне повстанцев, хотя и не в их руководстве, которое принадлежит в основном религиозным традиционалистам.

Те, кто сделал революцию, придя к власти, стали проводить в жизнь ту упрощенную марксистскую программу, которую они выучили в своих революционных университетах. А поскольку у них не было опоры в стране, они осуществляли эту программу сначала с помощью декретов, а потом с помощью оружия. Важнейший тому пример — аграрная реформа.

В стране, где большинство населения живет на селе, аграрный вопрос приобретает фундаментальное значение. Новый режим имел возможность создать собственную классовую базу, призвав под свои знамена безземельных сельских батраков. В августе 1978 года был провозглашен основной декрет о земле (фирман № 6). Так как революционные лидеры были убеждены, что имеют дело с "феодальной" формой производства, то их реформы со-

средоточились на проблеме землевладения. Они отменили заклады (что само по себе было неплохо), ликвидировали большие поместья и ограничили частную собственность пятью гектарами (около 12 акров). Понятно, что в стране, где не существует земельного регистра, трудно установить, кто чем владеет. Некоторые "большие поместья" в действительности существовали только на бумаге, а фактически находились в совместном владении группы семей, возглавляемой старейшиной клана. Но что более важно, в Афганистане бессмысленно делить землю, если одновременно не делишь воду и семена. В результате реформы крестьяне оказались владельцами земли, которую они не могли ни засеять, ни полить. И тут выяснилось, что прежняя система, при всей ее несправедливости, действовала гораздо эффективнее.

Многие крестьяне, разочарованные реформой, начали стихийно возвращать полученные ими земли тем, кому они принадлежали прежде, в обмен за семена. Новому режиму следовало бы позаботиться об обеспечении крестьян водой, семенами, удобрениями и орудиями труда, — но он об этом не подумал. Подобная близорукость — яркое свидетельство беспомощности революционной администрации. Когда пришло время посевной и миллионы крестьян оказались перед угрозой голода, они взялись за ружья.

Еще одной ошибкой был декрет о ликвидации выкупа за невесту. На первый взгляд, это была прогрессивная, осмысленная мера. В действительности же она продемонстрировала полное непонимание сельской жизни. Достаточно вспомнить, что по мусульманскому закону муж вправе дать развод жене по любому поводу (причем она тут же теряет все права на собственность и детей), чтобы понять, что система выкупа (который муж должен вернуть в случае развода) была мощным препятствием на пути развода — во всяком случае, для бедного или малоимущего афганца. Уничтожение выкупа без пересмотра всех остальных правил, регулирующих брак, не могло "освободить" женщин; напротив, оно лишило их той единственной защиты, которую они имели.

Третий и последний пример — образование. Особым декретом было провозглашено всеобщее обязательное образование мальчиков и девочек. При этом абсолютно не считались с тем, что в стране не было достаточного количества женщин-учителей, так что в результате девочкам пришлось идти в классы, где учителями были мужчины. Для афганца это равносильно тому, чтобы послать дочь в публичный дом.

Следует сказать еще несколько слов о том, как осуществлялись эти реформы. Местная администрация (там, где она была) обычно не пылала революционным энтузиазмом; поэтому из "центра" прибывал в деревню "комиссар" (я наблюдал такую сцену в августе 1978 года в Алингаре). Чаще всего это был молодой учитель или университетский студент, одетый по западной моде, с красным шарфом вокруг шеи и "кольцом" на боку. Он игнорировал деревенскую верхушку, в том числе и "старейшин" (сельских мудрецов), а также местных наставников-мулл, к которым все жители деревни обращаются за советом. "Комиссар" располагался в деревне как маленький диктатор и вмешивался во все, совершенно не считаясь с тем, что, по афганскому обычаю, никто не имеет права совать нос под чужую крышу. У нас в Алингаре, например, он первым делом ворвался в дом для гостей и подверг досмотру наши вещи. Затем он объявил, что проведет общую перепись населения, выдаст всем удостоверения личности, а затем займется земельным регистром. Явилась "власть"!

Как начинается восстание в деревне? Оно начинается с какого-нибудь мелкого случая — скажем, мужчина-учитель заставляет девочек идти в школу; или "комиссар" решает проверить условия выдачи девушки замуж, а то просто вторгается в чей-то дом, чтобы провести перепись. Начинается ссора; кто-то стреляет и убивает "комиссара"; прибывает полиция или армия (крохотные местные гарнизоны в таких случаях совершенно беспомощны); вызывается авиация, которая бомбит "мятежную" деревню; после чего все ее жители до единого примыкают к повстанцам. Этот цикл начался осенью 1978 года: местная администрация в страхе покидала село, крестьяне объединялись вокруг своих традиционных лидеров, к ним присоединялись отдельные дезертиры — офицеры или студенты, возникала партизанская группа — слабая, недисциплинированная, необученная, плохо вооруженная, нападающая при всяком удобном случае: проходит слух, что движется конвой — группа собирается, проводит дерзкую атаку и тут же рассеивается.

Но больше всего угрожало кабульскому режиму не это сопротивление, а собственное бессилие. Армия росла на бумаге и таяла в казармах. Члены партии и правительства, казалось, находили высшее удовольствие в том, чтобы убивать друг друга. Если вспомнить, что обе коммунистические фракции ("Халк"

и "Парчам") насчитывали вместе не более 5000 человек, то становится ясно, сколько их осталось к моменту, когда русские наконец вторглись в страну — не для того, чтобы убрать тирана, а попросту затем, чтобы заполнить вакуум, который имел неосторожность образоваться.

Сегодня в Афганистане нет больше революции. Есть только иноземная власть, поддерживаемая несколькими коллаборационистами или угодливыми чиновниками. Эта власть ведает всем. В Афганистане существуют сегодня два лагеря — оккупантов и афганского народа. Не следует обольщаться насчет "организованного сопротивления". В нем намешано всего понемногу: религиозные традиционалисты и чиновники прежнего режима, дезертиры и крестьяне, студенты и искатели приключений. Оно объединено только на бумаге; оно не стремится, в отличие от иранского, к созданию нового общества; и его победа будет означать восстановление традиционного Афганистана.

Но те, кто на этом основании возражает против вывода русских войск, забывают, что сегодня вопрос состоит уже не в выборе между тем или иным режимом (это, в конце концов, дело афганцев, а не наше). Сегодня речь идет о выживании народа. Когда оккупанты борются с партизанами, которые растворяются среди населения, как рыба в воде, оккупантам остается одно: удалить воду. В Афганистане это осуществимо, продовольствия здесь всегда бывало в обрез. Деревни группировались вокруг источников воды и были отделены друг от друга обширными участками безлюдной местности. Стоило каналу высохнуть или попросту засориться — и деревня умирала голодной смертью. Несколько бомбежек и парочка-другая выжиганий леса тоже вполне для этого достаточны. Такая война обойдется даже дешевле, чем во Вьетнаме, — никаких джунглей, почти нет больших городов. Летом гористая местность раскалена, зимой засыпана снегом. Партизанам некуда деться, негде укрыться, чтобы реорганизовать свои силы, подучиться тактике боя. Нет врачей, нет медикаментов — их не было даже в мирное время.

Да и зачем русским выводить свои войска? Уж если они их ввели, сознавая риск, на который шли (подрыв детанта и озлобление мусульманского мира), то, видимо, имели на то серьезные причины (связанные, несомненно, с их внутренней ситуацией). Свою оккупацию они проводили методически; они знали, что делают. Разумеется, они предпочли бы, чтобы их ставленники

сами смогли удержать власть, но так уж получилось, что им пришлось вмешаться, и теперь они намерены удержать то, что взяли. А удержать можно только одним способом — раздавить сопротивление. Партизанское движение можно раздавить, либо методически истребляя весь народ, либо лишив движение его социальной базы. Идти вторым путем в Афганистане уже поздно. Между оккупантами и народом нет никаких контактов, которые помогли бы осуществить реформы, не задевая ислам. Да русские и не пытаются наладить такие контакты. Следовательно, остается геноцид: как в Камбодже, голод убьет больше людей, чем пули, пока оставшиеся не будут вынуждены принять любое решение — просто для того, чтобы выжить...

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"

выпускает в первом квартале 1981 г.

НОВЫЕ КНИГИ:

АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. "КОНТУРЫ ТАЛМУДА" — книга "одного из крупнейших религиозных мыслителей современного Израиля" (журнал "Комментари"), впервые на русском языке рассказывающая о возникновении, содержании и значении уникальнейшей в истории человечества книги — еврейского Талмуда.

216 стр.

цена 9 долларов

ГИЛЛЕЛЬ ГАЛКИН. "ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ" — "вероятно, важнейшая еврейская книга за последние десятилетия" (журнал "Мидстрим"), остро и глубоко ставящая важнейшие проблемы жизни еврейства в Израиле и на Западе.

216 стр.

цена 9 долларов

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ, ВЫПИСАННЫЕ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW-JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ПОСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW-JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMATGAN, ISRAEL

Каир. Как бы вы ни приезжали в Каир, вы непременно окажетесь либо на привокзальной площади (Мидан Рамзис) с огромной статуей Рамзеса Второго, либо на площади Мидан Тахрир. (Слово "Тахрир" соответствует ивритскому "Шихрур" — освобождение, и лингвист-любитель, идущий по стопам Олжаса Сулейменова, не преминет заметить связь корня "хр" со знакомыми словами "Херр" (господин), "Херут" (свобода), "Хор" и т. п.) Тахрир — центральная автобусная станция и вообще центр Каира, от этой площади отходит элегантная улица Талаат Харб, где легко найти ночлег и ужин; здесь, у кинотеатра "Радио" — хороший китайский ресторан, а пройдя через пассаж кинотеатра, можно обнаружить одно из лучших в Каире мест на предмет шашлыка или кебаба. Египетская еда проста и дешева, полный обед: шашлык, кебаб, хумус с тхиной, салаты и хлеб — стоит от одного до двух с половиной ЕФ (египетских фунтов), дешевле вас накормят плохо, а дороже — обсчитают.

Израиль Шамир

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ИЕРУСАЛИМА В ЭЛЕФАНТИНУ, ОНА ЖЕ АСУАН, ИЛИ ГЛАВЫ ИЗ "ПУТЕВОДИТЕЛЯ ПО ЕГИПТУ"

(Окончание, начало см. в № 18)

Каир безопасен, но видно, что это стоит усилий: на каждом углу стоит полицейский в форме, не считая тех, что без формы. Полицейских в Каире — как в Тегеране в дни бывшего шаха, и это сходство видно

и в других мелочах.

Среди местных интеллигентов немало насеристов, сторонников “египетского социализма”. На одного из них я наткнулся в Хелуане, пригороде Каира, где Советский Союз построил в свое время металлургический комбинат. Раньше Хелуан был известен как курорт с горячими источниками, и здесь находились дворец короля Фарука и курзалы. В городе много красивых домов колониальной постройки. Но после революции 1952 года Хелуан утратил свою прелесть: богачи бежали (среди них было много евреев), бедные люди поделили их дома и довели их до ручки. Горячие источники забылись, один превращен в народную баню, а другой — в казино с синим неоновым светом для саудийцев, советские “специалисты” построили чудовищные огромные жилмассивы: четырехэтажные дома без травинки зелени, но с помойкой вокруг, по которой бродят козы.

Мой хелуанский знакомый, инженер-химик со стажем, получает на комбинате всего ЕФ120 в месяц (правда за квартиру он платит только ЕФ10 в месяц). Но не бедность мешает ему, а то, что со смертью Насера в Египте перестали придавать особое значение выплавке стали. И не только стали — вся тяжелая промышленность, которую пытался создать Насер в союзе с Хрущевым, теперь не в чести. Эта проблема — сталь или потребительские товары — стоит перед многими странами Третьего мира. Инженер-насерист не хотел видеть того, что тяжелая промышленность вырабатывает продукцию, не нужную большинству египтян-феллахов и даже горожан, что она порождает городскую бедноту, что рабочие живут в беспросветной тьме, что в стране, где нет двух исправных телефонов, не сталью нужно заниматься, тем более в дни всемирного кризиса, когда Америка и Япония не могут продать свою, более дешевую сталь. Для моего собеседника сталь была символом освобождения от колониальной зависимости.

Опыт развития Третьего мира показал, что нигде тяжелая промышленность не помогла стране стать на ноги. Даже Китай не преуспел, когда занялся выплавкой стали. В то же время менее амбициозные планы — электроника в Сингапуре и Гонконге, туризм на Берегу Слоновой Кости и в Кении — принесли отличные плоды. Было грустно беседовать с этим интеллигентным человеком, оставшимся в плену безнадежно устаревших идей о примате тяжелой промышленности. Поворот на Запад, проведенный Садатом, был для него изменой, хотя любому беспри-

страстному наблюдателю очевидно, что именно в этом повороте лежат надежды Египта на модернизацию и повышение жизненного уровня.

Сталь непосредственно связана с войной, и наш друг-насерист, хоть и пришлось ему бежать в 1967 году от Эль-Ариша до Канала, был за войну. "Израиль был создан для защиты интересов американских монополий на Ближнем Востоке", — сказал он. Только перед расставанием — через несколько дней — я сказал ему, что приехал именно из этой "страны монополий". Для него это было тяжелым ударом. "Приезжайте в гости", — пригласил я его. "Когда Палестина будет освобождена", — ответил он. Он был ходячим анахронизмом: большинство египтян предпочитают товары потребления, телефоны, машины, западный образ жизни, короче — мир с Израилем и дружбу с Америкой.

Что смотреть в Каире? Самое потрясающее зрелище ожидает вас в 10 км от Каира, в Гизе. Это, разумеется, пирамиды. Они так стары и так огромны, что умом этого не понять. Они были древними развалинами, когда наш праотец Авраам посетил Египет 3800 лет назад, и большинство этих супергробниц фараонов Древнего Царства уже были ограблены и разворованы к тому времени. Когда их построили? В четвертом тысячелетии до н. э. в Долине Нила возникло государство, которому удалось решить главную проблему страны — проблему ирригации и распределения вод Нила. Древним египтянам все было по плечу. Как пишет Тойнби, "они могли создать общество всеобщего благоденствия, но предпочли воздвигнуть пирамиды". Однако строительство пирамид оказалось слишком тяжелым бременем для народа, и Древнее Царство рухнуло.

Пирамиды строились не для славы, как думали одно время, а для обеспечения личного бессмертия фараона. Египтяне тех времен верили, что подобная магия возведет фараона живым на небо. Возможно, пирамиды, эти безжизненные свидетели истории, просуществуют сотни тысяч лет, и даже переживут человечество, и, когда сгинет человеческий род, по-прежнему будут вещать песком: "Мы были здесь до Авраама".

Древнее Царство создателей пирамид рухнуло около 2424 года до н.э. Усобица и войны длились триста лет, пока не возникло Среднее Царство со столицей в Фивах (ок. 2070 г. до н. э.). Среднее царство в свою очередь пало под напором гиксосов, как Рим — под натиском варваров, а Китай — под напором маньчжур.

Но если на месте Рима возникли новые государства варваров, а в Китае маньчжуры окитаились, то в Египте гиксосы были изгнаны и Фиванская империя была восстановлена. Эта восстановленная в 16-м веке до н. э. империя просуществовала до 5-го века н. э. — более 2000 лет.

Реставрация империи дорого обошлась египтянам. Египетское общество знало два культа — придворный культ бога Солнца Ра и народный культ Озириса. Первый был мертв, второй — полон сил. После реставрации культа Ра и Озириса были объединены в синкретическую религию, и в ней победила мертвая религия Ра, удушив живой росток Озириса. “Лучшим доказательством того, что восстановленная империя была мертворожденной, может послужить полный провал попытки Эхнатона пробудить ее к жизни. Эхнатон создал новую идею Бога и человека, жизни и природы и выразил ее в новом искусстве и поэзии, но мертвое общество невозможно оживить. Поэтому все два тысячелетия реставрированного Египта были затянувшимся эпилогом, а не новым творением”. (Тойнби).

Впрочем, тяга к смерти существовала в Египте с самого начала. И здесь, в Некрополисе Гизы, можно понять, почему Библия запрещает жрецам Бога Израиля даже приближаться к мертвым, почему Писание старается пресечь всякую попытку возрождения культа мертвых после исхода из Страны Мертвых. Наверяд ли Моисей построил бы храм на месте погребения праотцев в Хевроне, но Хеопс это сделал бы наверняка.

От автобусной остановки к пирамидам Гизы легко подняться пешком. Египет полон пирамид, но первая — самая большая из всех — пирамида Хеопса. Построенная в 2800 году до н. э., за тысячу лет до Авраама, она возвышается на 146 м, сторона основания — 233 м. Хоть она и выщерблена временем, но осталась внушительной. Сбоку — вход в погребальную камеру, разграбленную более 4000 лет назад. Рядом с пирамидой Хеопса — пирамида Хефрена, а у ее подножия — знаменитый Сфинкс с удивительно женственным лицом. Сфинкс смотрит на Восток, в сторону Страны Израиля. Считают, что лицом он похож на Хефрена, фараона Древнего Царства, — его черная скульптура с Соколом-Гором на голове стоит в Египетском музее. Вечером у подножия Сфинкса устраивают представление в свете и звуке. Но и без света и звука, в лучах солнца или луны, сфинкс на фоне пирамид потрясает.

Осмотрев Гизу, можно отправиться в Саккару, Некрополис Мемфиса. Саккара куда древнее Гизы, и по сравнению с пирамидами Саккары пирамиды Гизы — просто выскочки. Здесь находится пирамида Джосера — Мать Пирамид, не строго пирамидальной, но ступенчатой формы, а также гробница Хер-Нейт — Первой Династии Древнего Царства. Из Саккары рукой подать до Мемфиса, столицы Древнего Царства. В Мемфисе стоят руины храма бога Птаха, статуя Рамзеса Второго из розового гранита (в Египте на каждом шагу можно наткнуться на статуи этого мегаломаньяка, древнеегипетского Сталина, соорудившего себе изображения от Мемфиса на севере и до Абу-Симбела в Нубии. Как говорят путеводители, “художественной ценности не представляют”).

В самом Каире даже самому отчаянному ненавистнику музеев стоит сходить (пару раз) в Египетский музей. Это потрясающее место, где хранятся неисчислимые сокровища Египта с древнейших до римских времен.

Музей огромен, и не все экспонаты снабжены табличками, у некоторых — только номера. Можно нанять частного экскурсовода, присоединиться к группе либо просто бродить самому. Здесь можно увидеть все развитие Египта. Вот зал скульптур Древнего Царства с классическими и богоподобными лицами фараонов. Затем появляются толстогубые и скуластые лица гиксосов, “царей-пастухов”, братьев-семитов, завоевавших Среднее Царство. Для неспециалиста самое интересное — диковинные, похожие на скульптуру Джакометти или Мура, изваяния эпохи Эхнатона. Этот самый популярный фараон, “фараон-еретик”, “первый индивид истории”, “человек, научивший Моисея монотеизму” (Фрейд), муж Нефертити, взбунтовался против жречества, оставил Фивы и основал новую столицу, которая не пережила его. В отличие от прочих богоподобных фараонов, его изображали с широкими бедрами и ляжками и без мужской стати, а иногда — в женской одежде, с болезненным и печальным лицом. Египтологи — народ простой, и во всякий импрессионизм и в современное искусство они не верят. Стилизованные до гротескности фигуры Эхнатона они объявили реалистическими, а самого Эхнатона — не то евнухом из Нубии, не то переодетой женщиной (и такие бывали на египетском престоле). Затем нашли стеллу, на которой он изображен в противоестественных играх со своим молодым соправителем Сменх-ка-Ре (как Адриан с юным Антиномем), и этим объяснили его неудачи: египтяне не одобряли одно-

полую любовь, и по Книге Мертвых покойник должен ответить Судье, что он не грешил задом. (Лишь Сет, убийца Озириса, был мужелюбом.) Все же автор самой критической английской биографии Эхнатона приходит к выводу: "Фараон был отцом шести дочерей Нефертити, а возможно — и ее внучек". На многих стеллах он изображен с этими своими дочками, девочками Нефертити, маленькими и голенькими, как щенята. Странному декадентскому искусству времен Эхнатона пришел конец со смертью фараона, и зал в музее, где находятся эти экспонаты, остается самым интересным для нас.

На втором этаже — анфилада комнат, набитых золотом. Это утварь из гробницы Тутанхамона, преемника Эхнатона, умершего в возрасте 18 лет. Его гробница в Долине Царей, в Некрополисе Фив, была единственной, дошедшей до нашего времени не разграбленной, и ее раскопали в 20-х годах Говард Картер и лорд Карнаван. Об этих раскопках подробно пишет Керам в своей книге "Боги, гробницы, ученые". Тутанхамон популярен не менее Эхнатона — миллионы людей видели выставку его сокровищ повсюду: от Нью-Йорка до Парижа. Сейчас эту выставку можно спокойно увидеть без очередей в Египетском музее, в том числе и знаменитую золотую маску, точно передающую черты лица фараона с его огромными глазами.

А вот интересная надпись: "статуя некоего фараона по имени Шешонк". Этот "некий фараон" в свое время (в 980 г. до н. э.) разграбил Иерусалим и унес с собой сокровища Соломонова дворца. Этот нубиец немало накуралесил и даже в Библию попал, но для египтологов он все равно остался "неким фараоном".

В Каире стоит сходить и в Коптский музей. Само слово "копт" — испорченное "Египет" — намекает на древность коптов. Это христианское меньшинство считает себя подлинным преемником Древнего Египта, а мусульман — пришельцами из Аравии. Так ли это — неясно. В начале нашей эры египтяне перешли в монофизитское, как эфиопы, христианство, а после вторжения преемников Мухаммада большинство египтян перешло в ислам. Возможно, мусульмане-египтяне чаще вступали в брак с арабами, чем копты, но, с другой стороны, копты чаще вступали в брак с христианами — византийцами, греками, левантийцами. Если же считать чистокровными египтянами коптов Верхнего Египта, куда эллинизация не доходила, — то по их коже видно, что в числе их предков были и черные нубийцы. Некоторые этнографы утверждают, что

между мусульманами и коптами нет этнической разницы, другие ее находят. Так или иначе, копты гордятся своим особым статусом, в знак которого они татуируют маленький синий крест у себя на руке. Копты гордятся тем, что у них нет преступности и упадка нравов. Они любят рассказывать анекдот о коптской девушке, решившей перейти в ислам, потому что "не бывает копток-проституток". Ученость у них не в большой чести, и, когда наш знакомый попытался найти в патриархии теолога, чтобы поспорить с ним о монофизитстве и арианстве, ему ответили: "Был у нас один теолог, да умер". Сами египтяне — что копты, что мусульмане — никак не относятся к древностям, вроде пирамид, сфинксов и храмов. Прав был Тойнби, писавший: "У Древнего Египта не было преемников". Современные египтяне так же чужды пирамиде Хеопса, как туристы из Лондона или Москвы. В то время как израильтяне и по сей день ощущают связь с Моисеем, Давидом, Эзрой, для египтян история Египта начинается с мусульманского завоевания (для мусульман) или с крещения (для коптов). В этом они похожи на американцев, для которых история Америки начинается с "Мейфлауэра", а разница состоит в том, что индейцы Северной Америки не наполнили всю землю своими чудесами, как это сделали древние египтяне. Этот абсолютный разрыв с традициями Хеопса или Клеопатры потрясает путешественника: никто не молится в храмах Ра и Озириса, никто не курит фимиам перед пирамидами и сфинксами, вся древность Египта мертва, как будто осталась от марсиан. Для евреев все же визит в Египет похож на посещение могилы древнего старика, которого они застали еще в живых, но которого не помнят его прямые потомки. Неизвестно, многому ли мы научились от египтян: действительно ли Эхнатон научил Моисея монотеизму, как утверждал Фрейд, и в любовных ли песнях Нового Царства источник вдохновения Песни Песней, как утверждают некоторые? Все же и имя Моисея-законоучителя — египетское, и среди наших предков Аснат — египтянка, жена Иосифа-прекрасного и мать Эфраима и Манаше (Ефрема и Манассии), и стоит до сих пор на краю Дельты город Раамзес, который строили наши праотцы. Поэтому еврею странно в Египте — он помнит вещи, которые не помнят местные жители. Но с другой стороны, евреи, которые были в Венгрии до венгров, в России до русских, в Англии до англичан и в Ираке до арабов, должны бы привыкнуть к этому ощущению.

Осмотрев пирамиды и музеи, путешественник может смело

покинуть Каир и пуститься в странствия. Он может поехать к Средиземному морю, в ливантийскую Александрию, есть жареную рыбу и креветок, либо в города побережья в сторону Ливии, в один из Шести оазисов Египта, в монастыри, в пустыню, а также в Верховья Нила, в сторону Фив и Элефантины, то есть Луксора и Асуана. Выбор зависит от времени года и настроения. Для начала поговорим об Александрии.

Александрия. Летом, когда жители страны Израиля откочевывают на север, поближе к Ливану, жители Каира спускаются к морю, в Александрию. Летом в сердце Египта нечем дышать, и побережье — единственное спасение. Не в сезон город переживает обычную средиземноморскую зиму с дождями и ветром. Приятно встретить дождь — как старого знакомого за границей, потому что вообще-то в Египте, в Долине Нила, не бывает дождей. Только в Египте можно понять слова из книги Второзакония: “Эта земля (Израиля) не как земля Египетская, которую орошают, как масличный сад, ее сам Господь опояет дождем с небес”. В Египте нет дождей, и единственный источник влаги и жизни — Нил — всегда находится в руках центральной власти. Именно это понравилось нашему праотцу Аврааму — он предпочел землю, орошаемую дождем, потому что дожди от Бога, и царям их не перекрыть, а значит, в стране Израиля всегда будет свобода — свобода бродить с овцами куда вздумается. На современном языке Египет — как зарплата, а Страна Израиля — как гонорар. Зарплата идет из месяца в месяц, из года в год, а платишь за нее не только трудом, но и покорностью дающим ее. Гонорары — дело нечастое; но их получаешь вместе со свободой говорить и делать что хочешь.

В Александрии, впрочем, есть дожди, то есть это как бы и не Египет. Но дело в том, что Египет многолик. Есть Египет пирамид, смотрящий себе в пуп. Есть Египет Сфинкса, смотрящий на восток, Египет Элефантины, ограждающий себя с юга, и, наконец, Египет греков и римлян, Египет Александрии, лицом на север и на запад. Древние правители не верили в существование иных земель, иначе не строили бы пирамид. Рамзесы создали военную машину, колоссы “без художественной ценности”, но монументального размаха, и позарились на Ближний Восток. Александрийцы видели Египет как часть Средиземноморья, часть эллинистического востока, который дает и получает из-за моря самое важное для себя — чувство принадлежности к ойкумене. Можно сказать, что Насер

был наследником Рамзеса: он создал Асуанскую плотину, спас при этом колоссы Абу-Симбела, изваянные Рамзесом, он лил сталь, ковал оружие и зарился на Сирию и Палестину, как Рамзес. Садат — александриец: при нем Египет отвернулся от ближневосточной заварушки, отказался от планов на империю до Иерусалима, до Дамаска и предпочел стать частью западной ойкумены.

Понятно, что при Садате Александрия переживает новую весну. Город полон западных специалистов, делающих все, от новой телефонной сети до расширения порта. Они называют город коротко: Алекс. В Алексее приятно погулять по набережной, посмотреть на порт, на живые ливанские улицы, выпить контрабандного виски, а затем пойти и прекрасно пообедать. Обед в Александрии — достаточное основание для поездки в Египет: он окупается даже денежно. Местное блюдо — креветки, жареные на решетке, шашлык из креветок, креветки в гриле. Креветки Алекса огромны, собственно, это даже лангусты. Пробовать их лучше всего на оконечности мыса, в районе казино. Там, недалеко от маленького рыбного магазина на набережной находится несколько “народных” ресторанов, где едят богатые египтяне (не саудийцы) — из тех, что пьют “амстель” и курят “Кент”. Тут столики стоят под брезентовым навесом на тротуаре, большие деревянные столы, горы живой рыбы и креветок, на стол их подают на вес по вашему выбору. Мы взяли полкилограмма больших свежих лангуст, жареных на решетке, и эта же цена (10 ЕФ за кг) включает в себя неограниченное количество свежей жареной и печеной рыбы всех сортов, не говоря уж о салатах, тхине, лимонах, питах. Рыбу продолжали подносить, пока мы могли есть.

В Алексее можно взять машину и поехать по побережью в сторону Ливии. По дороге встречается несколько мелких рыбацких городков, в частности Мерса Матру, где можно хорошо отдохнуть. Даже на уик-энд — на три дня — стоит поехать на средиземноморское побережье Египта.

Дотошный путешественник может податься в один из шести египетских оазисов — например, в Сиву, в самом сердце Сахары, на границе с Ливией, где жители говорят на языке берберов. Но всякому путешественнику — и ленивому, и дотошному — следует непременно отправиться в верховья Нила, в Верхний Египет, туда, где стояла столица Среднего и Нового Царств — Фивы. Сейчас близлежащий городок называется Луксор, и в нем и около него сосредоточена масса памятников старины. Как туда добраться?

Самый "тонный" способ путешествовать по Египту — на пароходе, как помнят видевшие "Смерть на Ниле" по Агате Кристи. Пароходы на Ниле необыкновенно комфортабельны, это практически гостиницы с пятью звездами, стоят они немало (дороже гостиниц высшего класса), а главное — редко плавают от Каира вверх — лишь в начале навигации, осенью (летом никто не ездит в Верхний Египет — слишком жарко). В это время все корабли отправляются из Каира на Луксор и Асуан, затем же они курсируют между Луксором и Асуаном.

Если вы собираетесь ехать прямо на Луксор или Асуан, не останавливаясь по пути, проще всего поехать поездом. Египетские поезда совсем неплохи — они точны, чисты и дешевы, а больше и требовать нельзя. Дорога из Каира в Луксор не очень живописна: узкая долина Нила и горы да пустыни с обеих сторон. Местные жители не могли представить себе, что земля — круглая или плоская, для них земля узкая и длинная, а по краям — пустыня, сливающаяся с небом. Этот вид — долина, обрамленная пустыней, — очень монотонен и клаустрофобичен. Города и села выглядят ужасно — мазанки, налезавшие друг на друга, чудовищная теснота. Таких мазанок не увидишь в Стране Израиля и даже в странах победнее — их бы там смыло дождем. В Верхнем Египте же мазанки из глины, без крыши, стоят годами — и ничего. Вся земля в долине обработана, не видно ни скал, ни пустошей. В Египте слишком много народу, а то могли бы очень хорошо жить. Земля родит, засухи не бывает, но родит не только земля — по миллиону жителей в год прибавляется в Египте, а кормиться приходится тем же, что и сотни лет назад. Насер еще и поощрял рождаемость — больше, мол, солдат. Сейчас проводятся различные программы по ограничению рождаемости, но результаты пока не видны.

Луксор. Этот центр древностей — маленький, неприятный и грязный город индийского типа. Миновать его невозможно: здесь находятся два важных храма, развалины столицы и Долина Мертвых, но задерживаться в этом городе не хочется, тем более что в нем нет сносных дешевых гостиниц. Очень мудрый человек приедет сюда утром и уедет вечером, человек обычный застрянет на ночь-другую. Улочки Луксора грязны и напоминают бедные районы Катманду. По дороге от вокзала к Нилу — десятки мелких шашлычных; видимо, лучше те, что поближе к вокзалу. Путешественники любят ресторан "Менза" на главной улице. На набережной

режной — два-три приятных кафе с садами, где можно выпить пива (и поест, если не поздно). По Луксору и окрестностям можно разъезжать на такси, на извозчике или на велосипеде — что-то нужно, потому что древности слишком разбросаны и ногами не обойдешь. С “нашей” стороны Нила в самом центре города — удивительный храм Луксора, с его колоннадами, сфинксами, огромными головами фараонов, цветной росписью — всем тем, что, как представляют себе, должно быть в египетском храме, и тем, чего не представляют. На расстоянии пары километров (тут пригодится велосипед) — храм Карнака, побольше размером, хотя, по-моему, не такой красивый. В нем — бесконечные колонны, сфинксы-козерогои и красивый водоем: Священное Озеро.

Прочие древности — на другом берегу Нила. Туда перевозит паром. Два “Сидящих колосса Мемнона” находятся у дороги, и их видно на расстоянии. Они удивительны, как пирамиды. Один из них как-то треснул и стал издавать дребезжащий звук с восходом солнца, поэтому греки называли его Мемноном, сыном Эос, Зари. Затем римские императоры починили статую, и звуки прекратились.

Долина Царей — направо от развилки до конца, около 6 км по вади. Пустыня вокруг выглядит совсем как пустыни Южного Синая. У входа — суровый старик, ни за что не пропустит без билета (при нас многие пытались), а продать билет там некому, придется вернуться на развилку за билетом, если не запаслись им загодя. Внутри — десяток гробниц самых блистательных фараонов Нового Царства, разуверившихся в пирамидах и понадеявшихся, что узкие гробницы в горах останутся в целости и сохранности. И это не помогло — все они, кроме знаменитой гробницы Тутанхамона, были разграблены и разворованы. Сама гробница Тутанхамона и сейчас привлекает туристов — в ней стоит саркофаг и копия золотой маски. В гробницах — необыкновенно яркая роспись: ее не удалось украсть. Днем солнце палит изо всех сил (даже зимой), поэтому имеет смысл добраться туда, чем пораньше, и запастись водой.

Кроме Долины Царей на том же берегу особо интересны храм Хатшепсут — царицы, правившей, как фараон; он принадлежит к комплексу Дир эль Бахри. Слева от развилки, то есть в другом конце Некрополиса — Долина Цариц и гробницы вельмож. Можно пересечь горы напрямик из Долины Царей в Долину Цариц или

наоборот, что значительно сократит время, но велосипед там не покатишь.

Луксор—Асуан. Эту часть пути многие проделывают на пароходе, что занимает три дня — с тремя остановками в интересных местах. Как уже говорилось, такие пароходы весьма дороги. Существует и корабль для простого народа, принадлежащий компании Найл Навигейшн Компани. Три важных центра древностей между Луксором и Асуаном — Исну, Эдфу и Омбосу — можно посетить на поезде, но это займет очень много времени, так как поезда нечасты. В крайнем случае можно доехать до Асуана на такси: в Луксоре всегда найдутся попутчики.

Асуан. Наконец мы прибываем в конечную точку маршрута — Асуан, чудесное место отдыха, которое должно истребить Эйлат из вашей памяти. В Асуане все хорошо — чистота, порядок, живописные острова, порог Нила, цветы, хорошая еда и отели, приятный рынок и гениальная веранда отеля “Катаракт” (“Порог”). “Катаракт” — старый достойный отель со всеми возможными удобствами, он открыт только зимой, когда все стремятся в теплый Асуан. Отель этот недешев, хоть и недорог по эйлатской мерке, но его веранда стоит любых затрат. Где бы вы ни останавливались в Асуане, предвечерние часы нужно проводить на этой веранде со стаканом “эбиба” — египетского арака. Кофе во всем Египте совершенно негодный для людей, пивших этот напиток в Иерусалиме у Дамаских ворот.

Асуан возник, как форт на нубийской границе, проходившей по первому порогу Нила. Обычно Египет правил Нубией и вывозил оттуда рабов. Но бывало и наоборот: в периоды внутренней смуты нубийцы правили Египтом. Преемник фараонов, Насер, рассчитался с нубийцами и затопил половину Нубии своим “морем Насера”. Ведь нашему читателю Асуан известен не как модный зимний курорт или форт на нубийской границе, но как символ советско-египетского романа: здесь построена Асуанская плотина — огромное сооружение, под стать пирамиде Хеопса. До сих пор неясно, надо ли было ее строить. Недостатки очевидны: сколько земли, домов, древностей затопило, экологический баланс нарушился, развелась билхарция (ужасный микрочервь, проникающий в организм человека через поры кожи), передохла рыба и т. д. К плюсам относят увеличение поливной площади и выработку электричества. Впрочем, с годовым приростом населения в 2,8% никакого увеличения площадей не хватит, а что

касается электричества, то у Египта есть своя нефть. Сейчас в Асуане не осталось русских, но многие местные жители понимают по-русски, и, когда мы говорили друг с другом, многие заговаривали с нами и спрашивали — приехали мы из России или из Израиля.

Некоторые туристы отправляются к югу от Асуана — на Абу-Симбел — посмотреть на перенесенные на высокий берег с помощью ООН и ЮНЕСКО колоссальные статуи того же Рамзеса Второго. Но, во-первых, это дорогое удовольствие — нужно лететь или плыть на корабле на подводных крыльях, и вход очень дорог, а во-вторых, статуй Рамзеса Второго полно повсюду, начиная с вокзальной площади Каира, и ездить за ними особого резона нет.

Это же можно сказать и о близлежащем, тоже спасенном от воды храме Филлае — маленьком эллинистическом храме, каких повсюду немало. Жаждающие экзотики туристы посещают старинный монастырь Св. Симеона на другом берегу Нила или ездят по нубийским деревням. Нубийцы, действительно, достойны внимания. Аль-Идриси, знаменитый арабский путешественник XII века, так писал о них: “Во всей Нубии женщины красивы, совершенны и хороши. Губы у них тонки, рот маленький, зубы белы, волосы гладки. Нет лучше их также и для совокупления, так как наслаждение с ними приятно, а красота прелестна”.

Нубийцы, смуглые и одетые в свои национальные костюмы, показали нам и самый хороший ресторан города, где обедает нубийская знать, — “Эль Масри”. Там готовят баранину, почти как в “Масуадэ” в Иерусалиме и всего за одну пятую иерусалимской цены.

Что же делать в Асуане, если махнуть рукой на Абу-Симбел, Филлае и плотину? Асуан создан для отдыха. Днем можно взять фелюку (парусную лодку) и скользить между островами — от острова, подаренного Китченеру за его победы в Египте и Судане (на нем ботанический сад), до острова Элефантины, где в дни персидского владычества еврейские профессиональные солдаты, известные своей воинственностью и лояльностью, удерживали нубийскую границу. А вечером — сидеть на веранде “Катаракта” среди красных цветов, пить “эзбиб” и смотреть, как мерцают синие и розовые неоновые огни над порогом Нила и над Элефантиной — последним напоминанием об упущенном евреями шансе стать оплотом вселенской ближневосточной державы.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ВЕРНИСАЖ

*Я не пророк в Сионе, но свидетель...
Ури-Цви Гринберг*

Давно тому, демобилизовавшись из армии, я обнаружил, что отныне должен сам себя снабжать трехразовым питанием. Обладая в те годы единственным умением — защищать родину, я встал на страже фабрики детской обуви. Я открыл Книгу записи ночных дежурств и увидел на первом листе: "Да не уснет страж Израиля". Астэральный свет качнулся по караульному помещению — прошлое (Тора) и будущее (детские ботинки) моего народа сошлись в одной пламенной точке. Я положил перед собой пистолет и начал думать.

* * *

Мы зашли с ней в новый ресторан — "Маленький Тель-Авив". Она — сабаритянка, до того разговорчивая, что вскоре придется нам расстаться. Над головой висели закопченные чугуны, в красном углу — коллекция семейных фотографий эпохи Второй Алии, на стене — гобеленом — рушник. "Считай, что ты вернулся в Россию", — сказала она.

В России я страстно и горячо убеждал всех, что Израиль выгодно отличается от республики Эйре тем, что в Израиле сумели

Зеев Бар-Селла

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО

возродить родной язык. Самое сильное потрясение я испытал, увидев, что это на самом деле так.

Сейчас, в окружении археологических сокровищ маленького Тель-Авива, я сам говорю на этом языке, стараясь смягчить интонации армейского иврита суждениями о израильской литературной критике. Ведь, согласитесь, нет более достойной темы, когда над тобой на чугунной цепи раскачивается мятый самовар.

Я читаю ей стихи Блока в своем переводе:

Шаним зримат хайим борахат,
Тамут, татхил ми атхала...
Йахзир: рхов, лайла, бет-меркахат,
Панас, мей-керах, таала.

Ей нравится — будет теперь, что рассказать обо мне друзьям. А я — я начинаю понимать, что не в языковом барьере дело. Не в том, что в Израиле говорят на иврите, но в том, что здесь на иврите — думают.

* * *

“Знание языка есть умение выразить одну и ту же мысль как можно большим числом способов”. Автор этого определения, швейцарский лингвист, более всего был озабочен стилистикой, то есть умением выразить одну и ту же мысль стилем высоким, низким, предельно низким или эмоционально неокрашенным. Этому гражданину кантона Ури всякое иное понимание владения языком казалось излишним: европейские цивилизации, с которыми ему доводилось сталкиваться в своих прогулках по берегам Женевского озера, были принципиально эквивалентны; в полном смысле слова, переводимы друг в друга.

Но слово обладает не только значением. За ним стоит идея. Это начинаешь понимать, к сожалению, лишь тогда, когда тебе суждено бывает удалиться от европейского континента.

На самой границе Европы, в горах Кавказа (“Горах Мрака” средневековой еврейской географии) обитают малочисленные народы, говорящие на экзотических языках. Здесь, на родине Расула Гамзатова и Сулеймана Стальского, не знают слова со значением “стоять”. Иначе говоря, у слов, которыми обозначается вертикальное положение человеческого тела, нет отвлеченного значения “стоять” — нужно всегда указывать, стоит ли некто выше, ниже или вровень с говорящим. Причина тому проста —

горный рельеф. Поди знай, где он стоит, того гляди на голову сыпется.

Я не переводил Гамзатова на русский. Но я переводил Блока на иврит:

Умрешь, начнешь опять с начала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь кацала,
Аптека, улица, фонарь.

Что же получается? Там, где в русском оригинале "и повторится", в переводе "йахзир" — русской безличной страдательности соответствует вполне личная форма "повторит". "Он повторит". Кто "он"? Бог, естественно.

Два текста — две концепции: в одном европейская "дурная бесконечность", в другом — рассудочный мистический детерминизм.

Или вот — "Двенадцать".

Эрев шахор,
Шелег лаван,
Руах, руах,
Ал раглав ло омед бен-адам,
Руах, руах
Бехол рахавей а-олам...

"Руах, руах" — он ветер и есть. "Руах бехол рахавей а-олам" можно уже прочесть двояко: либо просто как "ветер во всем мире" (ивритское "бехол рахавей а-олам" — такой же затертый образ, как и русское "на всем белом свете"), либо осмысленно — поскольку ивритское "руах" невозможно освободить от присущей ему идеи ("Руах Элоим" — "Дух Божий"), и в таком случае перед нами реминисценция из книги "Бытие". "Земля же была безвидна и пуста, и дух Божий носился над водою".*

Но моей спутнице "руах" не навеивает ни таких, ни иных ассоциаций.

* Впрочем, так и должно быть. Достаточно сравнить начало блоковской поэмы: "Черный вечер, белый снег" — с не менее известным "И отделил Господь свет от тьмы". Слишком очевидная картина первобытного, довременного хаоса, изображенная Блоком, не оставляет возможности толковать поэму иначе, как описание сотворения мира. Оттого у Блока дальше "ветер, ветер на всем **Божьем** свете". И поскольку Ветхий завет, по мысли христианских теологов, есть лишь предвещание Нового, поэма логично замыкается явлением Иисуса Христа (ср. "Мы наш, мы новый мир построим" с евангельским продолжением "Кто был ничем, тот станет всем").

— Как размеренно и пленительно ты разместил “реш” и “хет”:
“руах, руах бехол рахавей а-олам”... Как изящно ты перемежаешь
их “ламедом” и “гимелом”; “эрев шахор, шелег лаван...”. Как
безупречно и к месту расставлены “бет”, “вет” и “вав”! — ска-
зала она.

* * *

Читаю предисловие к антологии еврейской поэзии Испании.
Автор — большой специалист. Профессор. Сорок страниц. Прочел
до середины и — кроме того, что в Испании имел место “бурный
расцвет еврейских поэтических дарований” — ничего не почерп-
нул.

Двадцать страниц! Как можно исписать двадцать страниц и
суметь ничего не сказать?! Очень просто — за этими двадцатью
страницами двадцать веков писания на мертвом языке. За словом
оставлена одна функция — эстетическая.

* * *

Современные литературоведы единодушно отмечают “бурный
расцвет израильских поэтических дарований”.

Преимущественное развитие поэзии характерно для культур
молодых или восточных. Трудно решить, по какому из этих ве-
домств следует числить израильскую культуру. Что же касает-
ся отечественной прозы (а именно на нее теория литературы возла-
гает функцию самовыражения того или иного общества”), то она
демонстрирует нам, в основном и преимущественно, проблему
личности, находящейся в тисках отчуждения, что немедленно ука-
зывает на источник ее вдохновения — литературную продукцию
Средней Европы. В израильской прозе животворная сила реаль-
ности пока что явно уступает искусству перевода. Время для
создания масштабных полотен типа “Красного и черного”, “Крош-
ки Доррит” и “Семьи Рубанюк”, видимо, еще не пришло. Но оно
явно на пороге. Судите сами:

“... “Перья” Хаима Беэра — наиболее обсуждаемый роман
5740-го (от Сотворения мира) года. Эта книга — носитель актуаль-
ных идей, касающихся существеннейших проблем нашего сущест-
вования как общества и как нации”. (Из рецензии госпожи Раи
Харан в газете “Маарив” от 10.9.80.)

Роман Хаима Беэра — бестселлер. Что такое бестселлер в Израиле? “Перья” полгода занимали первое место в еженедельных отчетах книжных магазинов и вышли за те же полгода общим тиражом в 40 тысяч экземпляров, что в переводе, например, на советское читающее население эквивалентно более чем двухмиллионному тиражу. Писателя интервьюируют. На книгу пишут рецензии. О писателе пишут статьи. Писатель делится воспоминаниями. Его приглашает первая программа радио, вторая программа радио, армейская радиостанция, телевидение. О выступлениях писателя по радио и телевидению снова пишут газеты. Те, кто не читал роман, начинают чувствовать себя неудобно. Они тоже покупают и читают. Затем в очередном номере ежегодника “Симан крия” (“Восклицательный знак”) появляется статья Давида Файшлова “О перьях и порхании”. На семи страницах петита критик, призывая в свидетели отца Дю-Бо (“*Reflexions critique sur la poesie et sur la peinture*”, 1719 г.), упрекает Беэра в неправильном подборе героев, предпочтении анекдота серьезному повествованию, несовершенстве языка, некрофилии и, наконец, в успехе романа.

* * *

Успех и есть, по-видимому, самая главная загадка “Перьев”. Из рецензий и вопросов, задаваемых автору, можно понять лишь, что роман затронул какую-то тайну. Причем тайну, которая ведома всем “посвященным” и абсолютно непроницаема для постороннего — в данном случае для меня.

Это делает мою задачу еще более увлекательной. Итак, о чем же роман?

Рассказ ведется от первого лица и повествует о событиях, имевших место в жизни автора, начиная с его первых сознательных впечатлений и кончая вечером на исходе 1973 года, когда автор, обозревая противоположный берег Большого Горького озера, размышляет о горечи утрат (он служит в армейской похоронной команде). Понятно, что в самом романе этот заключительный эпизод перенесен в начало, дабы продемонстрировать нехитрую трагическую символику: протекание жизни под знаком смерти. Прием замены начала концом уже столь обычен, что писателю нет необходимости специально объяснять последующий переход к воспоминаниям детства и отрочества. Они-то, по сути дела, и составляют содержание романа.

Итак, маленький мальчик описывает свои впечатления от окружающей его жизни. Папа, мама, знакомые папы, знакомые мамы, улицы, которых уже нет (ибо нет тех улиц, если сменились жильцы), рынок, сооружение солнечных часов напротив рынка, весь тот безвозвратный мир баснословных сороковых годов неистекшего века, и где-то на обочинах этого нерушимого детства – обязательный сказочник, раввин-расстрига Ледер, этакий нечистоплотный старик с опухшими ногами, открыто декларируемой некрофилией и скрытыми гомосексуальными наклонностями – дух, если угодно – “диббук” романа, современный сказочник, который вместо сказки предлагает утопию в духе забытого ныне Поппера Линкеуса с его идеями принудительного среднего образования, трудовых армий и прочих магических средств достижения счастья человеческого.

Критика и читатели видят в “Перьях” портрет поколения. Это не более, чем аберрация – если не считать нескольких условных знаков эпохи, в романе начисто отсутствуют конкретные приметы времени и пространства. Перед нами как будто бы Меа Шаарим, но вполне возможно, что это вовсе не Меа Шаарим, а, напротив, Егупец или даже Касриловка. Все может быть, потому что в “Перьях” нет географии, ее подменяют единство условных времени, места и действия. Единственным этим местом действия есть, было и будет еврейское местечко, даже в реальности своей клонившееся к выпадению из мира, где-то там, на востоке, на западе, в какой-то “восточной Европе”. Именно оттуда родом то дикое скопище чудаков, которое населяет страницы романа, – утопистов, экспериментистов, некрофилов, вегетарианцев, путешественников и раввинов, останавливающих солнце, фантазмагорический быт которых передан средствами Ицхока Лейбуша Переца, смело перенесенными на израильскую почву. Внешний мир для героя Беэра так же забавен и несерьезен, как Америка для мальчика Мотла. За пределами иерусалимского гетто протекание истории представляется чисто анекдотическим: “Британский мандат? Да, как же, помню, – у папы лавочку закрыли за долги... Сталин умер? Ну, умер, шумер, лишь бы был здоров...” Ссылаясь на детскую неосведомленность, автор получает счастлившую возможность не участвовать в забавах взрослых шалунов – всяких там беженцев, арабских террористов, еврейских террористов. Совсем как у некоторых русских евреев: “Я, знае-

те, жил в России и никогда, поверьте, не испытывал антисемитизма...”

Но для того, чтобы обрести это новые ориентиры, нужно сначала разделаться со старыми. И вот Ледер, усомнившийся в вере после того, как в стычке с “социалистами” ему сломали руку, уезжает из Иерусалима в Вену, где у него почему-то жутко распухают ноги и где он становится поклонником идей Поппера Линкеуса. Здесь своя нехитрая символика. Распухшие ноги — это Агасфер, Вечный Жид, уставший от скитаний; Вена — город Герцля; а утопия Линкеуса — пародийный парафраз не менее “заумных” идей отца сионизма: тоже, знаете, собрать всех и отправить на историческую родину трудиться...

* * *

Что заставило Безра, уроженца страны Израиля, так безжалостно обрушиться на сионизм и отправить своего героя на поиски потерянного рая галута?

В шестидесятых годах совсем еще юный тогда Хаим Безр (Рахлевский) захаживал на собрания последних “ханаанитов”. Движение это, точнее — его идеология возникла в 1938 году, в том именно месте, где таким идеям только и прилично появляться, то есть в Париже, и была результатом мыслительной работы историка Гуревича и журналиста Гальперина. В дальнейшем пути этих людей разошлись: историк остался историком, а журналист стал поэтом Йонатаном Ратошем и примкнул к ЛЕХИ.

В центре ханаанизма стояла мысль о биологической трансформации еврейского этноса посредством смешанных браков между евреями и арабами. Процесс этот мыслился несколько односторонне: у нового гражданина Ханаана отцом должен был быть еврей, матерью — арабка (лаконичная формулировка доктрины была намного раньше предложена вольноопределяющимся Марекком, который утверждал: “Изнасилование девушек других национальностей — лучшее средство против вырождения”). Односторонность проистекала не столько из того, что даже носителю самых либеральных взглядов нестерпимо вообразить себе еврейскую женщину в объятиях арабского мужчины, сколько из сугубо европейского представления об “интеллектуальной активности” западной цивилизации и “чувственной пассивности” восточной. Предполагалось, что “новый человек”, сохраняя высокую

духовность Запада, будет ниже пояса живо ощущать родную почву Востока. Поскольку за тридцать первых лет существования Израиля в стране было зарегистрировано всего 248 смешанных браков, а соотношение полов оказалось во всех этих браках прямо противоположным, ханаанитская идеология не зажилась.

Мечта ханаанитов о поисках корней в арабском лоне явилась реакцией на различие европейского и иудейского понятий нации. Европейский национализм основан на концепции почвы. Иудаизм же за две тысячи галутных лет создал идеологически неуязвимую структуру национальной жизни, абсолютно не нуждающуюся в реальной почве страны Израиля. Поэтому у европейских евреев любая попытка "построения" национальной культуры неизбежно должна была начинаться с поисков Почвы и столь же неизбежно должна была приходиться в противоречие с иудаизмом. Если новая идеология вовремя не ужасалась и не останавливалась на этом, она с той же неизбежностью вынуждена была идти дальше и искать новую религию. Вот почему ханаанитам пришлось вспомнить весь хтонический пантеон доеврейских обитателей Ханаана — Астарту, Баала и прочих ханаанских богов; ходили даже слухи о имевших место оргиях, но это, к сожалению, видимо, клевета...

* * *

Хаим Безр покинул собрания пожилых поклонников Астарты явно неудовлетворенным. Но что заставило его прийти к ним в первый раз? По чему тосковала душа этого израильтянина? Какую тайную страсть он излил почти двадцать лет спустя на страницы романа и что за общая тоска сплотила всех почитателей этого романа?

Можно думать, что это те же чувства, которые заставляют двести израильских школьников маршировать по Рехавии с песней: "Ахат, штаим, шалаш, арба — ло роцим эт а-гада!" ("Раз, два, три, четыре — не хотим Западного Берега!") Можно думать, что это те же чувства, которые заставляют сотни тысяч израильтян стремиться жить с арабами в одной стране и удерживают их от того, чтобы стереть с лица земли палестинских террористов.

Это не воля Запада и не тайный яд Востока. Это всего лишь неверие многих евреев в то, что они живут. Неверие в право жить — жить вообще и жить на той земле, где они живут, в частности. Ненасытное стремление найти доказательства, внешние признаки

своего реального существования — например, в признании арабов. Тоска по почве, которую они не ощущают под ногами. Тоска по тысячелетней истории, которая видится им только в галуте.

* * *

В наши дни постепенно перестают различать между мифом и утопией. Между тем эти понятия различны, ибо обращены к разным полюсам истории: утопия — это мечта, миф — тоска. Загадка "Перьев" — не в языке, а в стоящей за ним реальности, в которой нет слова со значением "почва" и нет слова со значением "история" и потому их подменяет миф. Хаим Безр написал роман-миф — миф печального народа, живущего в своей стране, но чающего бежать земной свободы в духовное блаженство изгнания. Сионизм — это мечта о свободе и потому утопия. Пафос романа Безра — бегство. Не воля, но покой. Смертный покой. Трупы устилают роман — от Масличной горы до Горького озера. Мертвецы уже обрели и покой, и землю. А живым — бежать...

Летят перья из погромных перин.

Что может быть ужаснее, чем чувствовать себя выброшенным из истории, никогда не бывшим, тринадцатым коленом израильтяев?!

"Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?"

ЯН ПРОХАЗКА.

*Плохая история?
Плохие народы??
Плохие вожди???*

НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ДОРА ШТУРМАН В КНИГЕ
"НАШ НОВЫЙ МИР"

Рукопись книги "Наш новый мир" (Теория. Эксперимент. Результат.) циркулирует в Самиздате с начала 70-х годов под псевдонимом В. Е. Богдан и была нелегально вывезена из СССР. Автор, эмигрировавший в Израиль, дополнил рукопись (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно подтвердили достоверность "подпольного" анализа.

360 стр., 10 долларов (в Израиле — 75 шекелей).

Заказы и чеки отправлять по адресу:

D. Tiktin, 422/6 Talpiot Mizrahk, Jerusalem 93802.

— Можно ли отличить то, что делается сегодня в Израиле в области изобразительного, визуального искусства, от того, что делается в Европе и США? Если да, то в чем это отличие?

— Практически в любой произвольно выделенной группе произведений искусства можно найти что-то общее. Можно взять скажем, де-Кунинга, Сутина и Микеланджело и найти между ними нечто общее, к примеру — определенную динамику. И так почти для каждой группы. Можно попытаться найти нечто общее — ибо я думаю, что это общее существует, — и во всем том, что делается в Израиле. Указанное "общее" не доминирует, не выделяется, оно, собственно, даже не главное. Зарицкий в чем-то более близок к американцу Филиппу Гастону, чем к израильтянину Безему: Безем более близок к бразильцу Тамайю, чем к Зарицкому. Но разница между Зарицким и Гастоном, как и между Беземом и Тамайю — одна и та же. Зарицкий будет так же отличаться от Гастона, как Безем от Тамайю или израильский художник Икс — от французского Игрек. Это отличие и есть израильский "общий знаменатель".

Сергей Шаргородский

**"КТО МЫ, ОТКУДА МЫ
ПРИШЛИ, КУДА МЫ ИДЕМ?"**

(Интервью с Рафи Лави)

Я бы сказал, что этот общий Рафи Лави — один из ведущих израильских художников.

знаменатель — некая шершавость, грубость. И дело тут не только в искусстве, но и в людях. Один израильтянин — ничто, но группу израильтян в лондонском супермаркете всегда можно узнать, как и группу шведов, — не только по внешнему виду, но и благодаря поведению, характеру. Существует (либо начинает появляться) что-то специфически “израильское”. Может быть, это связано с климатом, пейзажем, психологической атмосферой. У людей, которые живут вместе сотни лет, появляются общие черты; так, наверное, образовались народы. Мы переживаем одни и те же события: скажем, вот уже тридцать лет живем в состоянии истерии, страха, тревоги, нервного напряжения, в обстановке агрессии, насилия — в большей степени, чем где-либо в мире. Так складывается определенный характер; определенный характер производит определенное искусство. Есть, понятно, и новые иммигранты. Такой художник, как Бак, — европеец по поведению, он вежлив, воспитан, утончен; по роду интеллекта, по культуре. Он все еще не прижился в Израиле. Поэтому и его искусство — европейское, он ведь честный художник. Так что шершавость есть не у всех, но она есть — к лучшему или к худшему. Некоторые говорят, что это отражение израильской вульгарности, крикливости, невоспитанности. С другой стороны, есть ведь и “теплые” израильтяне — общественно уживчивые, заботящиеся друг о друге.

— *Видите ли вы положительные стороны в появлении израильского “общего знаменателя”?*

— Если обо мне скажут, что я — “израильский” художник или делаю “израильское” искусство, я не сочту это за комплимент. Я не считаю, что “израильское” искусство или “израильский” характер обязательно “должны” существовать как нечто особое. Ни в коем случае. Я всего лишь констатирую то, что существует, а не то, что “нужно” создавать. Израильское искусство — не лучше и не хуже американского. Важно не то, что оно — “израильское”, важны сами картины.

— *Не могли бы вы охарактеризовать людей, задающих вопрос о существовании особого “израильского” искусства либо выдвигающих подобное требование? Что это за люди? Что это за требование?*

— Я отношу этих людей к тем, кто считает, что искусство должно быть “чем-то”. Я не согласен со всеми этими априорными манифестами или теориями в искусстве. Искусство можно обсуждать

лишь постфактум. Меня не заботит, должно ли искусство быть израильским или зеленым, например. Это должно быть искусство.

С точки зрения социологической, все это — люди, принадлежащие обычно к политической правой, “ястребам”, движению “За неделимый Израиль”, а также те, кто хочет найти “корни” — в прошлом, в иудаизме. Мои взгляды совершенно противоположны, я считаю, что образ жизни человека нельзя подчинить теории. Крестовые походы за еврейским наследием, обращение к корням — искусственны, как искусствен коммунизм, как искусственна религия. Я не согласен жить по готовым рецептам — коммунизма, религии, обращения к корням.

Подобные вопросы и претензии возникают в основном у людей с определенными комплексами. Люди, здесь не родившиеся, до сих пор живут с чувством вины, до сих пор занимаются поисками самооправдания: почему мы пришли сюда и изгнали арабов? Это им мешает, но признаться в этом неприятно, и они ищут тысячу и одно оправдание. Для нашего поколения, родившегося здесь, этой проблемы вообще не существует. Я не должен оправдывать тот факт, что живу в Израиле. Я просто живу. Смешно, когда Бегин заявляет: “Я палестинец”. Но когда это говорю я — это правда. Я родился здесь, в Тель-Авиве, в пятидесяти метрах от этого дома, это мое море. Мое и Мухаммеда — вот в чем дело. Но я не выгоняю Мухаммеда — уже поздно! Кто скажет теперь потомкам норманов в Англии: “Возвращайтесь туда-то”? То, что сделано — сделано, евреи уже здесь. Понятно, есть этому оправдания и причины. Но меня они уже не интересуют. Я израильтянин. То, прежнее поколение все время извиняется, что находится здесь.

— *Таковы люди, говорящие об “израильском” искусстве?*

— В основном да. Они говорят не только об “израильском” искусстве — никогда не забуду, как министры просвещения, от всех партий — Залман Аран, Игал Алон, Арон Ядлин, даже Звулон Хаммер, хотя и меньше, — на протяжении тридцати лет твердили, что обучение в школах должно быть “сионистским”, что нужно разъяснять, почему мы здесь, что мы здесь делаем, зачем сюда пришли. Корни, корни, корни! Разве француз каждый день спрашивает себя, почему он живет во Франции? Или русский — почему он живет в России? Я не чувствую нужды задавать себе подобные вопросы — не потому, что я ими пренебрегаю, а потому, что у меня есть ответ. Я здесь родился, возвращаться мне некуда. Еврей,

эмигрировавший из Германии, был там евреем, в Израиле он — немец. Израиль — не его дом. Он может завтра уехать в Америку, ведь и там он будет в такой же мере чужаком. Таково прежнее поколение. У нас этих проблем нет. Здесь может быть плохо, страшно, но я всегда буду здесь, это мое место. Я не исхожу из какой-либо шовинистической или сионистской точки зрения. Разве, если во Франции вдруг наступит экономический кризис, все французы убегут в Швецию? Всегда, конечно, есть периферийные группы, неустроенные группы. Но я говорю о массе. Для нее прогнозы типа: "Все отсюда сбегут" — не имеют никакого смысла. Уезжают те, кто не ощущает себя здесь дома, или те, для кого "дом" — банк.

Интересно, что те, кто рассуждают о сионизме, считают меня антисионистом. Это неверно, это принципиальное недоразумение. Сионизм для меня — средство привлечь людей сюда. Но я не согласен принять его в качестве идеологической основы своей жизни. Я эту идеологию осуществил, и больше она мне не нужна.

— В рамки "прежнего поколения" попадает, таким образом, и первое поколение израильских художников?

— В двадцатых годах здесь появилось много художников-иммигрантов, с манифестами и теориями "искусства Эрец-Исраэль". Но израильянами они не были, они были туристами или иммигрантами. Во всей атмосфере Леванта они видели экзотику. Их живопись была европейской: так европейцы видят Восток, Марсель Янко или Арье Любин, изображая арабов с кальянами и верблюдов, в действительности рисовали Европу, потому что характер этой живописи, ее цветовая гамма, композиция — безусловно европейские. Искусственное решение проблемы... Интересно, что люди, приехавшие в тот период из России, адаптировались гораздо быстрее, чем, к примеру, евреи из Германии. Есть такие немецкие евреи, которые приехали сюда в 1933-м, и по сей день — пятьдесят лет! — остаются новыми иммигрантами, остаются в гетто. — например, мои родители. Их мысли — немецкие, культура — немецкая...

— Вы начали свою художественную карьеру в начале шестидесятых годов, были организатором группы "Десять плюс". Какова была тогда обстановка в области изобразительного искусства? Цели группы? Против чего и за что она выступала?

— Нельзя видеть в "Десять плюс" группу. Мы не были группой, у нас не было никакой общей идеологии. "Десять плюс"

сделала десять выставок, с 1965-го по 1970-й год: за пять лет десять выставок. В этих выставках участвовали около восьмидесяти художников! Но лишь один участвовал во всех десяти выставках — это я сам. Эта текучесть состава показывает, что группы не было. Когда существует группа, существует и основное ядро художников.

Сегодня я вижу в “Десять плюс” нечто, связанное не столько с искусством, сколько с public relations. Мы были тогда молодыми, “старички” относились к нам отвратительно. Нам не давали выставляться, нас затирали. И мы попросту взбунтовались — давайте обойдем их, захватим галереи. “Десять плюс” делала экстравагантные выставки — трюки, ходкие темы. Люди валили валом, и мы стали известными.

Мой подход к организации этих выставок был чисто плюралистическим. Не было никакого художественного контроля. Участвовали Тумаркин и Бак, Дани Караван и Ави́ва Ури, зрелые мастера и люди, только что кончившие учиться. С другой стороны, там было все наше поколение. Мы хотели ударить по лирическому абстракционизму, царившему здесь, в Израиле, в пятидесятых и начале шестидесятых годов. Но тут главная заслуга не наша. В этом смысле одним из самых значительных художников оказался Тумаркин, приехавший из Парижа в начале шестидесятых, — он привез с собой сильный экспрессионизм, текстуральность, использование материалов. Все это нанесло лирическому абстракционизму серьезный удар.

Наряду с выставками “Десять плюс” был тогда ежегодный “Осенний салон” в Тель-Авивском музее. Мы полностью завладели “Осенним салоном”. На выставках “Десять плюс” не было характерных работ, выставки всегда были тематическими: “Десять плюс в красном”, “Десять плюс в круге”. Это все были трюки. Настоящие работы мы показывали в “Салоне” или на персональных и групповых выставках вне рамок “Десять плюс”.

— *Заинтересованность политическими вопросами и проблемами у художников вашего поколения и более молодых, отражение их в искусстве появились к середине семидесятых годов. Не связано ли это с политическим кризисом, распадом идеологии? Можно ли сказать, что люди, отождествлявшие себя раньше с государством и проводимой им политикой, разочаровались в ней и стали ее критиками?*

— Полностью согласен. Вообще можно сказать, что после Шести-

дневной войны в сознании думающих людей в Израиле — не только художников, но и писателей, студентов, ученых — произошел полный переворот. Раньше они были **вместе** с тем, что происходит, а теперь стали **против**: против израильянина-завоевателя, "сильного" израильянина. Это, как и все политические события, отражается в искусстве. Просто у некоторых художников политических элементов больше, у других — меньше. И еще кое-что: семидесятые годы во всем мировом искусстве характеризуются обращением к политике, видением мира с более общественно-политической точки зрения. Впрочем, здесь нельзя провести четкую границу: через пятьдесят лет все наше время будет восприниматься как один период, без баррикад десятилетий. В любом случае, в семидесятых годах стало законным обращение к проблемам "среды", общества, в то время как в шестидесятых в мире в основном занимались проблемами материала и формы.

— *Что по вашему мнению, будет происходить в искусстве в восьмидесятых годах?*

— Я не пророк. В общем, можно сказать, что в Израиле происходит тоже, что и во всем мире — реакция на идеологию, возвращение к живописи. Возвращение, но не к доброй старой живописи пятидесятых годов, нет! В семидесятые годы темы искусства были политически-социальными, экологическими, научными. Техника раскрытия темы была дидактической: чертежи, фотографии, диаграммы. Сегодня мы возвращаемся к не-дидактической живописи, без диаграмм, фотографий, "серий", "рядов". Кисть, краска. Однако темы все же остаются социо-политическими. Это — не "отступление" в искусстве, а возвращение к определенной технике.

Я думаю, однако, что это возвращение к живописи — не новое слово, а последнее шевеление хвостом, конец. В будущие годы в искусстве что-то случится. Что именно — я не знаю.

— *И это "что-то" должно произойти также в Израиле?*

— Безусловно. Сегодня вообще очень трудно говорить об одном центре новых поисков. К примеру, только в Германии есть несколько таких центров: Кельн, Берлин, Дюссельдорф. А ведь есть еще Амстердам, Милан, Париж, Нью-Йорк, Тель-Авив. Сегодня с художественной точки зрения, нет единого центра, есть децентрализация, и мы в Израиле — никак не провинция.

Что Москва не верит слезам, я знала с детства, но фильм с этим названием убедил меня окончательно, не столько своими художественными достоинствами, ибо их, скорей, можно было назвать антихудожественными, сколько своим массивованным кассовым успехом. Если столь грубая и непритязательная поделка, даже отдаленно не стремящаяся соответствовать современным мировым стандартам киноискусства, могла собрать миллионы зрителей в кинозалах, следовало срочно искать этому причину. И уж, конечно, причина эта была не в слезах, поскольку слезам давно уже перестали верить. Я поехала в пригородный тель-авивский кинотеатр, где в очередной раз возбужденная толпа расхватывала билеты, и сразу по окончании сеанса заняла удобное место у выхода, чтобы подслушать первые непосредственные отзывы. Немолодые дамы из Киева и Кишинева проходили мимо меня примолкшие, размазывая по щекам щедрые слезы сопереживания. И я простила фильму его фальшь, ибо поняла, что человеку нужна сказка, чтобы утешиться, забыться и отключиться. А от сказки не требуется правдоподобия, — на то она и сказка. В ней все

Нина Воронель

происходит не по жизни, а понарошку, чтобы всем было хорошо и приятно: добро побеждает зло, справедливость торжествует, и слабый оставляет сильного в дураках.

А ведь история, рассказанная в фильме „Москва слезам не верит“, отвечает всем канонам сказочного творчества, там можно с легкостью узнать современную версию сказки о Золушке, нашедшей наконец своего принца. А что принц не прочь принять четвертинку, делает сказочную ткань еще более годной к употреблению широкой публикой, уставшей от забот и житейских невзгод. И две сестрицы тоже вполне узнаваемы в подружках героини, хоть они чуть-чуть декорированы под современность — тоже для лучшей их усвояемости. Обеим сестрицам не повезло с женихами, как и должно было быть по рецептуре сказки о Золушке, а уж как именно не повезло — это время и место указывают. Зато Золушке — повезло, и она отхватила чуть попахивающего водочным перегаром, но от этого не менее слащаво-добродетельного Баталова. Как же тут не пролить слезу умиления! Тем более что в придачу к чистым радостям душевным фильмом щедро гарнирован радостями земными — нет, нет, не эротическими сценами, конечно, так далеко дело еще не зашло, — но обильным аппетитным чревоугодием. В подзаголовке можно было бы назвать его „Нескончаемое застолье“, ибо герои буквально не выходят из-за стола, плотно уставленного яствами. Вот и сбегается изголодавшийся советский зритель, чтобы вспомнить, как выглядит колбаса и копченая семга.

Кое-как объяснив себе успех фильма „Москва слезам не верит“, я на время выкинула его из памяти. Я вспомнила о нем, когда ему присудили „Оскара“ за лучший иностранный фильм, оттеснив при этом „Кагемушу“ Куросавы и прекрасный венгерский фильм „Доверие“. Тут было о чем задуматься: одно дело — кассовый успех у изголодавшегося по простой человеческой радости советского кинострадальца, обчищенного до нитки социалистическим реализмом вкуче с социалистической реальностью. Другое дело — „Оскар“, награда за особые достижения в области киноискусства. А вот достижений этих я в фильме не заметила, как ни напрягала зрение: актеры играли слабо и неубедительно, вяло следуя указаниям вялой режиссерской воли; картина жизни, возникающая на экране, напоминала истинную российскую жизнь примерно в том же соотношении, в каком обильное кинозастолье напоминало скудное однообразие истинного.

И только присуждение пяти „Оскаров“ американскому фильму Редфорда „Обыкновенные люди“ направило мои сомнения по другому руслу. Я начала сомневаться в первоначальном тезисе, а именно: откуда, собственно, взялась моя уверенность, что „Оскара“ присуждают за искусство? Или, вернее, за то, что называют искусством те, кто присуждает „Оскара“? Ведь я с ними о терминах не договаривалась! Чтобы ответить на мои вопросы, нужно было проанализировать фильм „Обыкновенные люди“!

Сделать это было нелегко, потому что, как это и положено коммерческому американскому фильму, технологически он был выполнен безукоризненно. Именно эта безукоризненность не давала мне возможности прорваться сквозь поверхностное впечатление к сути дела. Все отдельные элементы сложного организма, составляющего в результате фильм, были первого класса: безупречно катилась по рельсам самая совершенная камера, оснащенная самой современной оптикой и заправленная самой высококачественной пленкой. Просторный пропылесосенный до единой пылинки дом, обставленный первоклассной полированной мебелью, скрывал от постороннего взгляда душераздирающие тревоги его безупречно причесанных даже в постели обитателей. Самые первоклассные актеры изображали очень современные, обоснованные последними достижениями психологии страсти с четким техническим блеском, почти успешно скрывающим их полное равнодушие к этим страстям. Все было гладко до нестерпимости и подогнано во всех деталях с той точностью, с какой могут быть подогнаны только изделия из синтетики — ведь подлинная жизнь слишком многообразна и хаотична, чтобы снизить до заботы о совпадении всех мелочей.

Проблемы начали одолевать меня прямо с названия фильма. Почему этих людей назвали обыкновенными? Вернее, если перевести эпитет дословно — даже ординарными, то есть такими, как все, ничем от других не отличными? Разве в каждой американской семье можно встретить такую чудовищно-черствую мамашу, неспособную простить нелюбимому младшему сыну, что он остался жив после гибели старшего сына-любимца? Так ли это ординарно — чтобы нежный и чувствительный отец семейства вдруг с разбегу споткнулся об эту чудовищную черствость жены и понял, что жизнь прожита напрасно? И перед моими глазами возникла снова последняя сцена фильма: отец и сын, покинутые холодной, чуждой им матерью и женой, находят утешение в нежных объятиях друг

у друга — вот она истинная основа счастья, верная мужская дружба! Сцена эта подчеркивается композиционно другими, не менее трогательными объятиями, когда отчаявшийся, преданный матерью мальчик прибегает за помощью к своему психиатру. И все повторяется: сильные мужские руки обнимают мальчишеские плечи, и бальзамом на юношеское сердце — хриплый мужской шепот: „Да, я твой друг, твой настоящий друг!“ И музыка — конечно, трогательная и нежная.

Вся эта сентиментальная похлебка напоминала мне что-то знакомое — ну да, вот оно: последняя сцена из фильма Клаудии Вайль „Подруги“, только объятия там были исключительно женские, под стать женской дружбе. И части головоломки вдруг встали на свои места: итак, вызов принят, сражение продолжается! В прошлом раунде победили женщины, теперь очередь мужчин. Недаром новый фильм Клаудии Вайль „Теперь моя очередь“ — фильм выразительный и порой до невероятности прекрасный по многокрасочности режиссерской палитры, по блеску актерского мастерства, по причудливой виртуозности операторского искусства — не был ни замечен, ни отмечен никаким фестивалем, хоть главную роль там исполняет Джил Клейбург, почти получившая „Оскара“ за лучшую женскую роль в „Незамужней женщине“ Мазурского. Хоть фильм Клаудии Вайль полон дыханием подлинной жизни, ни зритель, ни автор ни на миг не могут забыть его настойчивый феминистский призыв: ваши принципы нам не подходят!

И с этой точки зрения я вдруг увидела двух победителей конкурса „Оскара“ как двух близнецов, будто бы не слишком похожих, но одной крови, одной марки, одного генетического кода.

Тянется родственная ниточка-пуповина от скудного, полуголодного, отсвечивающего кремлевскими звездами московского застолья к захламленному избыточным материальным богатством душевному неблагополучию героев американского фильма: незыблемы законы мужского мира, где женщина — друг человека! Золушка — пускай тысячу раз независимая, — только в преданном служении чуть-чуть захмелевшему принцу может найти свое счастье. И никому нет дела до душевных страданий столь безоговорочно осужденной авторами „Обыкновенных людей“ преступной героини фильма: она плохо справилась со своими обязанностями, предписанными ей от рождения, и нет ей места в мире, где эти обязанности составляют основу жизни.

Вот вам и „Оскары“, и кассовый успех — самая горячая тема завтрашнего дня на сегодня словно бы решена, но только на сегодня. Ибо Лизистрата не спит, она неустанно куёт оружие для завтрашних битв.

2. ЧЕРНО-БЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

Сама не знаю, какая сила толкнула меня в первый свободный вечер в Лондоне идти смотреть венгерский фильм. Я свернула с площади Пикадилли на Хаймаркет, ослепленная и почти сбита с толку пестротой и разноголосицей реклам; мне предлагали на выбор десятки самых невероятных фильмов и спектаклей: изысканно-художественных и откровенно развлекательных, только-только отснятых и прочно завоевавших славное имя за прошедшие несколько лет, раздумчиво-философских и бесстыдно-эротических. Улица была запружена толпой, многоцветной и многоликой: представители всех рас и народов в завораживающем разнообразии проплывали мимо меня, причудливо окрашенные отсветом рекламных огней; вороха цветастых платьев и рубаш из сырцового индийского шелка и прозрачного индийского ситца колыхались у края тротуара. На мостовой среди машин порхали пестрые стайки юношей и девушек, похожих на колибри: волосы их были выкрашены пятнами, каждая прядка в другой цвет, в сочетаниях самых экзотических — лазурный, малиновый, золотой, желтый, алый, лиловый, такие же многоцветные облегающие костюмы обтягивали их худенькие тела, голенастые ноги в переличатых эластичных брючках до колен забавно завершались шутовскими пантуфлями на высоких каблуках.

Может быть, именно карнавальная эта разноцветность и решила мой выбор: не в силах справиться с многообразием предлагаемых развлечений, я, как к родному лицу, бросилась к аскетически суровой, даже мрачной, афише фильма венгерского режиссера Пала Габора „Анджю Вера“. В рекламной витрине были выставлены фотографии — словно двери безумного западного мира закрылись за моей спиной: знакомая невеселая, не отягченная бременем свободы жизнь без улыбки приглашала меня снова окунуться в нее, проверить на прочность мою ностальгию. Среди фотографий белела газетная вырезка: рецензия из „Санди Таймз“. Я присмотрелась: „История простой искренней девушки, кото-

рая постепенно от очевидного идеализма приходит к очевидно-му приспособленчеству и предает свою любовь ради выгодного места в партийной системе. Высокогуманистический фильм, в котором мелодрама удачно сочетается с нравственной и политической проблематикой". Протягивая руку за крошечной, с чайную ложку, зеленой картонкой билета, я подумала о своих московских знакомых: они не поняли бы моих мотивов — не пойти на последний фильм Полянского ради нравоучительной нравственно-гуманистической венгерской мелодрамы! Да я и сама не могла бы внятно объяснить, почему я пожертвовала Полянским — ведь не из-за последней же многообещающей фразы: „Кинематографически восхитительно“.

В зале было полутемно и отдохновенно после ярмарочной пестроты Хаймаркета, народу было немного, до меня изредка долетали обрывки чужих разговоров, в основном по-венгерски: похоже, и другие, как и я, пришли сюда по зову ностальгии. Замелькали первые кадры фильма — медленнее, гораздо медленнее, чем это принято в западном кино: действие разворачивалось неторопливо, подернутое какой-то смутной пеленой, сковывающей ритм, смазывающей краски, приглушающей звуки. Казалось, на все происходящее наброшена мелкая сетка, стягивающая всех участников в узком пространстве, мешающая им нормально двигаться, говорить, думать, дышать.

По внешнему рисунку нечего было возразить рецензенту „Санди Таймз“: совсем молоденькая девушка Вера, почти ребенок, сирота, бездомная и заброшенная, получает назначение на курсы партийных работников. Действие происходит вскоре после окончания войны, система еще не полностью установилась, связи еще не вполне определены, точки над *i* еще не проставлены. Курсы расположены в крохотном провинциальном городке, унылом и сонном. По воле режиссера в фильме нет ни одной светлой и радостной сцены: улицы городка затоплены липкой грязью, с небес все время идет тусклый дождь вперемежку с мокрым снегом, комнаты общежития слушателей курсов неуютно обставлены казенной мебелью, напоминающей тюремную. Все слушатели курсов — бывшие участники сопротивления, „Движения“, как они его называют, — в массе своей простые люди, еще не вполне осознавшие, какую злую шутку сыграла с ними судьба, бросив их из фашистского ада в коммунистический рай. Но какое-то смутное предчувствие угнетает их, не дает смеяться и шутить, не дает

откровенно высказывать свои мысли. А может быть, не только предчувствие: ведь то и дело возникают небольшие конфликты, приводящие к летучим собраниям, где кому-то приходится каяться, признавая свою вину перед партией, а кто-то выступает свидетелем и обвинителем.

Вера, не привыкшая анализировать свои чувства, покорно участвует в общей и общественной жизни: ее никогда ничему не учили, она, собственно, и не знает, что бывает иначе. Одиноким и брошенный ребенок, она пуглива и осторожна, но первый же человек, проявивший к ней внимание и интерес, становится ее кумиром и идеалом. Этим человеком оказывается молодой преподаватель, высокий, застенчивый, с нервным интеллигентным лицом. Вера влюбляется в него с первого взгляда и время от времени проявляет эту любовь с неловкостью и порывистостью зверька. Учитель, достаточно чуткий и нервный, чтобы заметить эти неуклюжие проявления влюбленности, тоже начинает с интересом поглядывать на хорошенькую девушку, хоть ничего не имеет в виду: с ним при курсах живут жена и сын.

А пока девушка и преподаватель поглядывают друг на друга, маленький муравейник партийных курсов живет своей жизнью. Вся атмосфера этой жизни, удушливой и безрадостной, передана режиссером с лаконичным и сдержанным мастерством, в котором неяркость и замедленность кадров играют не последнюю роль. Особенно выразительна сцена женской бани, в которой Габор умудрился так картинно снять толпу нагих женщин, что с удивлением вспоминаешь многочисленных „Купальщиц“ Ватто и Ренуара: неужели они видели обнаженное женское тело красивым? Как они умудрились провести нас и показать нам привлекательность этих рыхлых, неуклюжих созданий с неровной кожей, вислой грудью, с изуродованными пальцами и ступнями, с узлами синеватых вен на дряблых бедрах? Медленно, с каким-то мрачным отчаянием скользит камера по неприглядным грудям женского мяса, и под стать этой грубой неприглядности визгливо звучат голоса.

Среди женской толпы Вера выделяет двоих: решительную бестрашную Марию, бывшую связную партизанского отряда, и чопорную Зофию, бывшую партизанку, а ныне редактора партийной газеты. Женщины эти как бы представляют два лица „Движения“: его смелость и благородный романтизм и его ханжескую тираническую бесчеловечность. Редакторша перенесла тяжкий удар: ее

возлюбленный, боевой партизанский вожак, погиб в бою, и теперь она ненавидит всех живых за то, что они живут и радуются жизни. Ей осталась единственная радость: вера в „Движение“, в Партию, в ее принципы. А Мария, не желая приносить в жертву принципам свою человеческую душу, не хочет подчиняться ханжеским требованиям, она готова на отчаянный поступок, на бунт, на риск ради сохранения своей цельности.

Увлекаемая сильной рукой редакторши, Вера следует за ней: слушает ее уроки и, подчиняясь ее указаниям, подписывает донос на ревизиониста, спровоцированного Зофией на откровенность. Но здесь режиссер отказывается осуждать свою героиню: он подчеркивает, что она не ведает, что творит. И в этом месте, мне кажется, он оказывается глубже и пронизательней газеты „Санди Таймз“: не ради теплого местечка в системе вступает на путь приспособленчества, а по неведению, по наивности, по неумению отличить добро от зла. И тем страшнее выступает вина и гибельная растлевающая сила системы: она не только искушает понимающих, но и растлевает чистые души „малых сих“, невинных и неведающих.

Главная линия фильма начинает развиваться, когда редакторша на несколько дней по делам уезжает в Будапешт. Оставшись одна, не опекаемая своей неумолимой дуэньей, Вера поддается порыву и признается в любви молодому преподавателю. Потрясенный ее откровенностью и страстью, тот принимает ее любовь, и они встречаются ночью в его комнате в здании школы. После бурной любовной сцены Вера осторожно пробирается по ночным коридорам и вдруг прямо перед ней открывается освещенный пролет: не замечая ее, проходит неожиданно вернувшаяся из Будапешта Зофия. Встреча с ней пробуждает в Вере чувство вины: она нарушила партийную чистоту, она виновна, она погибнет! Смятенная и испуганная, она с этой ночи уклоняется от встреч с любимым — любовь к партии и власти побеждает в ее душе просто любовь.

Казалось бы, на том история и кончается — но нет, авторы фильма предусмотрели другое, почти фантастическое в своем пугающем символизме ее завершение. Поняв всю безуспешность своих попыток вернуть любовь Веры, преподаватель оставляет ее в покое, страсти стихают, но тут приходит конец занятиям, которые завершаются партсобранием. И перед нами разворачивается подробно до мелочей картина Страшного Суда по-комму-

нистически, картина Судного Дня в виде, доведенном до крайней степени совершенства.

Трудно вычленишь волю режиссера, отделить ее от воли организаторов этого судилища: сама простота и унылая повседневность замкнутой жизни маленького коллектива в маленьком городке заставляет верить в необходимость такого рода событий — ведь надо же чем-то заполнить тоскливую тяготию безрадостного существования. Однако кое-какие знаки режиссерского намерения просматриваются в его художественной манере, в распределении ролей, а главное — в цветовой гамме этой части фильма. С первого же взгляда бросается в глаза ярко-красная, я бы сказала кроваво-красная полоса скатерти, разделяющей людей в зале на две неравные части — на судей и судимых — тем более, что они повернуты друг другу навстречу, и в плоскости экрана сидящие в зале кажутся подвешенными вниз головой по отношению к сидящим за столом.

Эта кровавая полоса скатерти, секущая зал на две неравные части, впервые напоминает мне, что фильм-то цветной, а не черно-белый: мне вдруг вспоминается блекло-голубая блузка Веры и блекло-бордовое платье Зофии и блекло-рыжая грязь улиц под блекло-пепельным небом. Все это было окрашено так невыразительно, так намеренно-бесцветно, что фильм воспринимался без цвета. И вдруг этот мучительный алый всплеск на очень темном фоне грязно-бурых стен, грубо тканых костюмов, до черноты мрачных лиц, до непрозрачности испуганных глаз.

В зале над кричаще-красной скатертью идет судилище: каждый присутствующий должен по списку встать и рассказать о своих прегрешениях за время обучения. Именно сам рассказать, поведать, покаяться перед товарищами и очистить свою душу покаянием перед партией. И каждый встает и, бия себя в грудь, признается в мелких грехах недостаточного усердия, слабого понимания классиков марксизма или одной-двух непродуманных фраз, содержащих намеки на критическое отношение к святыням. Председатель суда — партийный руководитель районного масштаба, приехавший из центра специально, молодой, сытый, с подчеркнуто гладким лицом, — заглядывая в разложенные перед ним листки, время от времени сурово напоминает подсудимым, что они не все рассказали, что они утаили часть своих проступков, часть своих сомнений. А от Партии ничего утаить нельзя — Партия знает все. И люди пугаются, бледнеют и, дрожащей рукой утирая

холодный пот, начинают истерически признаваться, каяться, унижаться, молить о прощении.

Ни жива ни мертва сидит Вера, обреченно ожидая своей очереди: ей, невежественной и неопытной, и в голову не приходит, что можно что-то скрыть от всевидящего ока Партии. Общая атмосфера истерического раскаяния захватывает ее: когда ей дают слово, она признается в своем грехе с преподавателем и, верная партийному долгу, отрекается от своей нечистой любви.

Мне кажется, газета „Санди Таймз“ неверно оценила причины ее странного поведения: она думала не о теплом местечке, которое надеялась получить в награду за это отречение — нет, она просто не знала, что есть другой выход. Ведь Партия с большой буквы была для нее не собранием людей, не творением рук человеческих, не бюрократической организацией, ведающей распределением мирских благ, а божеством, проявлением высших сил. И покаяние представлялось ей неким культовым обрядом, необходимым для спасения ее души, таким изгнанием бесов, ведущим к очищению. А награда пришла позже, неожиданно, в виде твердой „партийной“ руки Зофии, увозящей испуганную девушку в город на шикарной „партийной“ машине. И где-то далеко позади осталась на своем выдавшем виды велосипеде смелая связистка Мария, не умеющая видеть новые пути в новом построении жизни. Забрызганная грязью, она медленно проплывает назад за окном машины, уносящей Веру к новым горизонтам, не замечая или не желая замечать, как Вера стучит в окно, как прощально машет ей из теплого уюта машины.

Экран погас, и я вышла на улицу — там все еще вертелась веселая ярмарочная карусель: все с тем же проворством мелькали вокруг пестрокрашенные мальчики и девочки, все с тем же аппетитом двигались жующие челюсти посетителей бесчисленных ресторанов, так же зазывно развевались у края тротуара узорчатые индийские одежды. Я прикрыла глаза, защищая их от нестерпимой яркости этой улицы — душа моя, онемевшая после двухчасового погружения в знакомую, но забытую жизнь, отогреваясь, болела остро и пронзительно, как болят, отогреваясь, застывшие на сильном морозе пальцы.

Беспечные и непонятные, сновали в ярко расцвеченном пространстве обитатели пестрого мира — у них были свои проблемы, но яркость эту они принимали как должное, не подозревая, какого черно-белого решения судьбы им посчастливилось избежать.

3. УЗОР НА СТЕНЕ

О новом фильме французского режиссера Алена Рене „Американский дядюшка“ мне бы хотелось рассказать подробно, любовно смакуя мельчайшие детали. И не только потому, что у Алена Рене детали всегда так сладостны, что их хочется посмаковать, но и потому, что суть этого фильма именно в соотношении деталей и целого. А поскольку целое здесь — это весь наш мир, то самый замысел можно назвать, пожалуй, чрезмерно рассудочным, рациональным, хоть это не умаляет прелести более частного целого, а именно — фильма.

На черном поле экрана медленно пульсирует алое схематическое сердце, похожее на туза червей. Полдюжины пульсаций — и алый клеверный листок сердца стягивается в плавно кружащийся по эллиптической орбите киноглаз: в центре черного поля под пристальным его взором мозаично переливаются тесно наклеенные в беспорядке цветные фотографии. Киноглаз, приближаясь, выхватывает некоторые картинки из мозаики, мгновенно предоставляет их нашему обозрению и переплывает к следующим, ни на миг не останавливаясь, — вот остров среди морских волн, вот швейная машинка с разноцветными шпулями, вот два мальчика с книжками притаились в тени фермерского небогатого дома, вот рыжеволосая девочка тянет из окна куклу на веревке. Мы не успеваем ни разглядеть, ни осмыслить каждую из картинок, ни тем более ухватить какую-то ниточку связи между ними, а киноглаз уже отплывает, смешивая отдельные фигуры и краски в новый узор. Организован ли этот узор в единое целое или он просто состоит из калейдоскопической игры случайных элементов?

А игра продолжается: в нее кроме изображения вступают голоса — три мужских и один женский. Торопливо перебивая друг друга, они сообщают отрывочные сведения о себе: родился в городе, в деревне, на острове, в Китае — Господи, почему в Китае? — учился в сельской школе, в Сорбонне на медицинском факультете; женат, трое детей, двое детей, детей нет, директор Радио, художник по текстилю, главный инженер трикотажной фабрики, профессор биологии; отец—мать—бабушка—дедушка—жены—мужья—дети—любимые киногерои. И под стать голосам мелькают изображения: город, деревня, остров — кажется, мы его уже видели на фотографии? — школа, другая школа, мать—отец, бабуш-

ка—дедушка, еще мать, еще отец, церковь, где венчали, церковь, где крестили, швейная машинка с разноцветными шпулями — а ведь и машинка уже была! И опять новый поворот — в овале рамки портрет, лицо, а под ним опять остров среди волн, а под другим лицом дом фермера, а под третьим... и снова калейдоскоп картинок, лиц, голосов.

Начинаем вычленять постепенно — ага, значит, это предполагаемые герои фильма: Жан, Рэне, Жанин и профессор биологии, имя его почему-то никак не вспоминается — может, оно несущественно? Но об этом некогда думать: поток изображений и биографических сведений неожиданно сменяется многокрасочной морской звездой, лениво ползущей по океанскому дну. Ах, вот зачем понадобился профессор биологии — он читает лекцию о строении нервной системы простейших организмов, о двигательных рефлексах животных и о сложной организации человеческого мозга. Пока наши герои (их осталось всего трое — Жан, Рэне и Жанин), перебивая друг друга, продвигаются в рассказе от нежного детства к восторгам юности, параллельно с их развитием демонстрируется процесс развития живой ткани от простейшей клетки до сложного мыслящего организма. Этой стороной дела занят профессор — никакого другого участия в фильме он не принимает, так что информация о том, что он родился в Китае в семье дипломата, беспомощно провисает в пространстве сведений о других героях фильма, и неясно, в какую точку мозаики следует его поместить.

Киноглаз добросовестно иллюстрирует рассказ профессора о простейших рефлексах и о связанных с ними простейших инстинктах, чтобы затем с не меньшей наглядностью перейти к рассказу о сложной жизни человеческого подсознания. Подопытные белые мыши героически сражаются со сложными ловушками, расставленными для них хитроумным профессором, и демонстрируют все возможные реакции нервной системы на неприятные и приятные раздражители. И — как иллюстрация тех же инстинктов в рамках той же проблематики — вьется среди кадров из жизни подопытных животных рассказ о судьбах трех героев фильма — Жана, Рэне и Жанин. Красавчик Жан, блестящий и тщеславный, директор Радио и отец двух детей, после небольшой прелюдии встречается наконец с Жанин, — так что первоначальное наше недоумение по поводу выбора персонажей находит частичное разрешение. К встрече этой приводит хаотическая цепь случайностей:

Жанин против воли матери пытается стать актрисой, подруга ее, которая репетирует роль в одной из некоммерческих театров, ссорится с режиссером, и роль по случайности получает Жанин. Против всех ожиданий и вроде бы по случайности некоммерческая пьеса идет с успехом, и Жан с женой приходят на последний перед закрытием спектакль. Жан в восторге от игры Жанин, он подходит к ней после спектакля и по случайности оказывается приглашенным на прощальную вечеринку, которая оказывается начальной точкой романа Жана и Жанин. Пока Жан уходит от рыдающей жены и приступает к написанию книги, посвященной мифам о Солнце, жизнь Рэне течет где-то далеко и вовсе вне всякой, хоть бы и случайной, связи с жизнью Жана и Жанин. Рэне, вырвавшись из наследственных тенет неудачливого фермерства, делает пристойную карьеру на трикотажной фабрике и становится административным директором. Не слишком шустрый, безынициативный, хоть исполнительный, он не в силах выдержать конкуренции — потерпев небольшой служебный крах, он отправляется в почетную ссылку на провинциальную дочернюю фабрику той же фирмы, чтобы наконец встретить там Жанин. Не подумайте, что режиссер задумал банальный любовный треугольник — ничего подобного. Никакого романа между Жанин и Рэне. Летят в космическом пространстве жизни блуждающие звезды отдельных судеб, сталкиваются, сливаются, рассыпаются в пыль. И не каждая встреча освещена светом любви, как это было у Жана с Жанин и у пары белых мышей, загнанных экспериментатором в клетку с электризованным полом. В параллель с бедными мышами, ищущими выхода из клетки-мучительницы, Жан и Жанин проходят через серию своих — по их представлению человеческих, по мнению профессора биологии среднеживотных — испытаний. В результате они расстаются, пойманные в ловушку, хитроумно расставленную отчаявшейся брошенной женой Жана. Жанин, похоже, находит себе другого возлюбленного, который по случайности оказывается одним из директоров той самой текстильной фирмы, где пытается утвердиться на новом месте Рэне.

Итак, игра случая выводит Жанин на траекторию, пересекающуюся с траекторией судьбы Рэне: в качестве художника по текстилю она вместе со своим новым возлюбленным приезжает с инспекцией текстильной фабрики, где Рэне очередной раз доказывает свою неспособность идти в ногу со временем. И судьей его оказывается Жанин: возбужденная, доведенная до отчаяния

безрадостной встречей с Жаном, она слишком резко осуждает беднягу Рэне и тем самым доводит его до самоубийства. Правда, неудачник во всем, он и здесь потерпел крах: его в последнюю минуту вынули из петли, а доза снотворного, принятая им для перестраховки, оказалась не смертельной. На том история, собственно, и закончилась: трое, три звезды, три маленьких пылинки, проплясали свой хаотический танец в мировом пространстве, столкнулись на миг, искривили траектории взаимно и разлетелись дальше, встречать других, пока их не выметет вовсе за пределы жизни.

Что же осталось нам? Чем одарил нас режиссер, вложив столько труда и выдумки в нехитрый этот сюжет? Неужто просто хотел дать наглядную иллюстрацию к лекции профессора об условных и безусловных рефлексах, о проблемах сознания и о безднах подсознания? Зачем же тогда профессору понадобилось родиться в Китае?

Прощально скользит киноглаз по мрачному кварталу разрушенных бомбардировкой или городским бунтом домов: шеренгами стоят хмурые, зачерненные сажей, покореженные огнем, зияющие глазницами выбитых окон остатки кирпичных коробок. И вдруг на их фоне вырастает целая нетронутая стена, то ли чудом сохранившаяся, то ли специально построенная для сокрытия каких-то чудовищных язв. На стене, на фоне чистого голубого неба, нарисовано дерево, то ли клен, то ли сосна, — понять трудно, да и не столь уж важно. Дав нам полсекунды полюбоваться свежестью красок и радостным тоном рисунка, киноглаз медленно наползает на стену, приближаясь к ней все настойчивей, все пристальней. И узор начинает расплываться, рассыпаться на отдельные детали. В последнем кадре фильма никакого узора уже нет: есть некое множество непонятно зачем разноцветно окрашенных кирпичей. Никакой связи между их цветами нет: и квадрат, выхваченный киноглазом, очень напоминает ту мозаику цветных фотографий, которой открывался фильм: помните, остров, швейная машинка, фермерский дом и лица, лица, лица...

А может, и та мозаика была частью какого-то сложного узора на стене? А может, нам просто не дано разглядеть единство отдельных тонов, не дано понять сложный замысел Того, кто сталкивает пылинки наших судеб на сложных траекториях наших случайных, хоть и уникальных для каждого, судеб?

ЛЮДИ И КНИГИ

ЗАИТИЛЬЩИНА

(*Саша Соколов. "Между собакой и волком". "Ардис", 1980*)

Можно было бы и не называть этот артистический метод сюрреализмом, если бы литературоведение располагало другим, более специфическим термином. Однако действительность, составляющая материал романа "Между собакой и волком", не является обычной реальностью. В сплошном потоке повествования, текущем без паузы, без передышки, без типографских абзацев, возникает перед нами картина фольклорного града Анти-Китежа, сиречь Городнища — барачного города нищих и воров. Здесь воры грабят нищих, и нищие попрошайничают у грабителей. Здесь промышляют копейку, чтобы просадить ее в местном храме — трехэтажном "кубарэ". Здесь нет населения — лишь скопище калек и уродов, и даже души их "искалечены до неузнаваемости". Стоит этот Китеж двадцатого века на берегу реки Итиль, которая в местном наречии зовется также рекой Волчьей. На другом берегу, в Заволчье, лежит напротив Городнища деревня Быдогощ, единственной примечательностью которой является погост с назидательными эпитафиями. К примеру, о стекольщике Иване, который имел похвальную склонность пить прямо из горлышка:

Любил он толченым
Стеклом зажевать,
Но вдруг подавился —
И вот не узнать.

Но возвратимся с той стороны Стикса в Городнище. Оно, хотя тоже напоминает погост, все же населено фигурами оживленными, необязательно, впрочем, одушевленными, но непременно движущимися. Зимой на местных прудах скользят на коньках слепяки. Не пренебрегают звонким, но несколько тонким льдом и все другие классы общества — глухие, немые, а то и безногие.

Однако излишней оживленности или недостойной суеты не наблюдается в Городнище. Город не чужд цивилизации — имеется и публичная библиотека, и прочие параметры современности и прогресса. Но кажется, что паровозы ходят в основном по запасным путям, дабы дать занятие сцепщикам, что же касается публичной библиотеки, то она содержит сто отсыревших томов и библиотекаршу, занятую от лени или из иных соображений более всего романом со следователем по особым поручениям, гражданином Пожилых.

Таков, в общем, фон и ландшафт неторопливых провинциальных времяпрепровождений: воровства, убийств, вражды, пьянства, ревности. Сам воздух здесь "сер, равнодушен, недвижим". (Вспомним у Лермонтова: "Воздух чист, прозрачен и свеж".)

Несколько раз, однако, поток повествования уносит нас из "местности глухой и области тупой" то в старую Москву, то куда-то южнее. Но и этим путем из Заволчья не уйти, как от судьбы. "Неотмирная страна" Заитильщина поистине раскинулась в ширь пространств и в глубину времен.

Как и многое в этой книге, название Заитильщина имеет второе и третье прочтение. Итиль — это, конечно, Волга, как называлась она во дни оны в Хозарском царстве. Название это воспринимается как знак исторической интуиции о том, что суть показанной нам "древнеющей" страны одна и та же с незапамятных времен. Заитильщина — не только Быдогощенский погост, не только Заволчьи места. Это еще и запредельность, неотмирность, иная сторона бытия, тоскливое ничто в ожидании "страшнеего Суда". И главный герой романа, Илья Петрикеич Зынзырэла, пишет свое письмо-кляузу тоже из потусторонности. Впрочем, при желании текст подскажет и точный адрес происходящего — тверские, волжские края, сама Русь, но не отделенная от мира своих усопших, своих Заточников, Николаев Угодников и калик перехожих.

В какую же именно лихую годину существуют герои романа? "Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний", — так начинается эта книга, вводя нас с первой строки в мир стоячего времени. События имеют место (хотел было сказать — "развиваются") осенью и зимой "еще одного промозглого года". Время действия — сумерки, когда предметы и лица теряют четкость очертаний. Шестой час в символике, пора меж собакой и волком.

Название романа — первый ключ к его шифрам и сдержанной тайнописи, к двойным значениям, оборотням и превращениям. Впрочем, в этой дву-светной зоне метаморфозы — явление естественное: героиня превращается из Марии в Орину, главный персонаж Зынзырэла становится джынжырзлой и т. п.

Эпиграф, взятый из Пушкина и подсказанный автору Набоковым, также говорит о странности времени меж светом и тьмой:

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа
Пора меж волка и собаки.

Среди "дружеских врак" персонажей, среди фольклорных россыпей их языка можно встретить и несомненно советские лексические перлы — как, например, "количество койкомест" в разговоре о приюте. Сама плотность покаленного населения — тоже примета послевоенной эры, того сезона, когда из каждого окна томный голос вещал: "Я люблю тебя, мой старый парк". Проницательный читатель смог бы, пожалуй, определить и более точный год — по одному из подтекстов романа. Но это не так уж существенно, ибо в романе несколько временных пластов сосуществуют одновременно. В этой коллекции времен есть и отблеск двадцатых, и конец прошлого века, и реминисценция двух мировых войн. Есть здесь также и ряд психологических времен, не вполне единых с временем историческим и хронологическим. Язык, более чем густо инкрустированный фольклорными вставками, — это, конечно, современный язык мещанского слоя, но он то и дело обнажает свои древнеязыческие корни и тем самым создает лингвистическую перспективу российских столетий. И раз уж зашла речь

о языке романа Соколова, я, чувствуя, должен настаивать на факте, что мало существует книг, в которых возникает такой характерный, такой горько иронический портрет безвременья, в коем субъективно живет мещанское племя великорусских провинций.

Психологически это мир малоподвижного безразличия. Это существование, искалеченное скукой, от которой главная героиня, Орина, “сопригнулась и стакнулась” со всей мужской популяцией железнодорожного узла. Время здесь течет столь же неспешно, как Волчья река в своем верховье. Никто из обитателей этого мира ничего не сечет из-за лени повальной. Это время между бытием и небытием, былем и небылицей, былиной и небылью. Как в бреду. И почти тем же образом строится повествование, эпизоды которого вырастают один из другого по ассоциациям бреда, но никак не в силу закона причин и следствий. В последовательности эпизодов нет логики, кроме субъективной логики лукавого сознания. Эта последовательность — лишь кутерьма ассоциаций, собранных из Заитильского микрокосма, в котором существуют души обитателей Городнища. Часть персонажей романа — мертвецы, но даже в стране мертвых Заитилье имеет свою колонию. Мертвые не отличаются от живых и к тому же меняются с ними ролями. Живые будут мертвыми, мертвые когда-нибудь оживут, но от Заитилья нет избавления — будь то Заитилье запредельное или вполне здешнее, собачье, волчье.

У автора нет симпатии к своим героям. Ироничность повествования — скрывает ужас перед Заитильским укладом, уставом, устоем. Книга посвящается “приятелям по рассеянию”. Напоминание о России? Не вполне. Россия в романе не эмпирическая. Образ ее воссоздан не из наблюдений жанриста, бытописателя или исторического романиста. Воссоздание образа страны шло не по большаку, а по неочевидной охотничьей тропке. Была уловлена некая эссенция, тот алхимический Меркурий, о котором сказано — здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Не стану, однако, утверждать, что русская идея предстала пред нами многогранно. Она явлена главным образом в своем Заитильском, сумеречном освещении.

Читатель, который обидится, не сыскав в романе светлых сторон страны, сделает, однако, неоригинальную ошибку. Ведь на карте русской литературы давно значатся и город Глупов, и городок Окуров, и Пошехонье, и много подобных мест. Теперь добавилось еще одно — Городнище.

Впрочем, в этом мире есть и привлекательный герой. Имя ему — русский язык. Если есть какие-то сила и свет в этой Тьмутаракани, то это жизнь русского языка, так чутко и с любовью воспетая автором:

Но месяц был молод и ясен,
Как волка веселого клык.
Привет вам, родные свояси,
Поклон тебе, русский язык.

Язык предстает как единственно живая стихия Заитилья. И в то же время жизнеспособность русской речи — также единственный развлекательный элемент всей книги. Ибо в целом книга эта пренебрегает качеством беллетристики, которое Сомерсет Моэм назвал ее важнейшим свойством — “читательностью”. От собаки к волку пробиваешься сквозь дремучие дебри сказового языка, слишком длинные предложения и шифры метафор. Ком-

позиция тоже не облегчает задачу. Книга фактически состоит из трех романов, собранных воедино. Первый роман — эпистолярный. Главный его герой, точильщик и поездной гармонист Зынзырэла, пишет объемистое письмо работнику прокуратуры. Письмо, хотя и с того света, тем не менее выдержано во вполне земном жанре кляузы и самооправдания. Второй роман — стихотворный, параллельный первому, но возвышающий эпистолярный стиль и образы до степени замечательной лирической поэзии. Третий роман — картинки с выставки, где мы слышим наконец непрямую авторскую речь, “мол” — речь, “дескать” — речь. Главы трех повестей причудливо перетасованы, составляя роман вполне неклассической композиции.

Автор почти вызывающе отказывается от сюжетной занимательности. В материале романа есть все данные, чтобы сделать сюжет интересным: приключения, ревность, месть, любовь, убийство, эксцентрика и экстравагантность. Но все эти сюжетные возможности сознательно не используются. Жизнь русского языка как чудной непредсказуемой стихии, кажется, столь пленяет писателя, что по сравнению с ней сюжетная занимательность представляется ему чем-то внешним, не имеющим отношения к искусству.

Наконец, мы подходим к философии этого романа, лишь отчасти выраженной героями прямо, однако обуславливающей особенности жизни, которой они живут. Их взгляд на мир — это философия бесшабашного пессимизма. Она покоится на трех китах, и киты эти суть: 1) красота — главная ценность жизни; 2) загадка времени не поддается разрешению; 3) прав живущий на авось, хотя этот стиль жизни непременно кончается опустошением.

Итак, что бы ни случилось — говорит нам первая, т. е. эстетическая концепция, — в жизни всегда есть прекрасное. Там и сям пробиваются ростки красоты, которая одна только и может примирить с непонятной огромной жизнью, столь безразличной к хрупкому комочку человеческого существования. Выражением такого переживания являются строки из стихов Якова Паламахтелова:

И прекрасна нашей жизни
Пресловутая тщета.

Ощущение бытия и его полноты даны только через переживание природы. Быть — это растереть сочный зеленый лист и вдохнуть запах сока и свежести. Или “видеть, как по канавам жухнет лопух”. Либо наблюдать перламутровые переливы сосульки.

Последний образ особенно символичен, так как он подводит нас к философии временности и самого времени. Красота скоротечна, тает, как льдинка весной. Не успел оглянуться — и где твои перламутровые переливы. И жизнь человеческая — только “дуновение”, как говорит Паламахтелов. В переменах жизни нельзя ничего понять, нет в них “ни складу, ни ладу”. Неразбериха усложняется тем, что в России главное свойство времени — казаться безвременьем. Как просто здесь перепутать “впечатление от веков”. Безвременье — неизлечимая болезнь Заитильского бытия. Постыдное время взрастило больное общество. “Россия-мать огромна, игрива и лает... а мы ровно блохи скачем по ней, и она поочередно выкусывает нас на ходу”.

В мире экзистенциального абсурда европейский человек принимает философию Сизифа, русский же действует (или не действует) на авось. Случай определяет явление — вот краеугольный гранит сей философии. Но случай неразумен, шанс слеп, и потому философия “авось”, по сути, атеистична. Будь где-то “там” высшая духовная сила — она все равно не имеет отношения к “здесь”, где все “происходит и существует лишь якобы”, по словам героя романа.

Исповедующий философию “авось” — в сущности, язычник. Тысяча лет русского христианства неглубоко затронула его.

...Не сами ль мы чей-то эрзац
И не наше ли дело труба.

Из этого беспечного пессимизма вытекает и линия практического поведения героев. На основании многочисленных текстовых свидетельств этот Заитильский агностицизм может быть суммирован следующим образом: беспечность, неизбежность опустошения и небытие как избавление.

Невысокое мнение о ценности человеческой жизни порождает монотонную эксцентрику Заитильского быта. Адекватный жанр для выражения этой эксцентрики — анекдоты, написанные с мрачноватым юмором. — Парень из утильной артели Николай Угодников постучался в приют для глухих, но был он еще и слепак. В приюте глухих не приняли из-за слепоты, а в богадельне для слепых отказали потому, что глух. Горбун Алладин Батрутдинов

Упал в промоину, катаясь в кино,
И хоть выплыл, да через год:
В карманах чекушка и домино,
И трачен рыбами рот.

Выловили — не припомню числа —
Дед Петр и Павел-дед.
Чекушку распили, забили козла
И вызвали кого след.

Зынзырзла, он же Синдерела, продает за трешку свои вставные челюсти. На одной из могил Быдогощенского погоста красуется эпитафия:

Он был хороший егерь,
Но спорщик был и вор,
На краденой на слеге
Повесился на спор.

В том же ключе разворачивается главный сюжетный ход романа — убийство Синдерелы. Запойные охотники крадут у Синдерелы костыли. В отмщение он убивает двух собак. В отмстку за собак Синдерелу топят в Итильреке. Синдерела, однако, не успокаивается и на том свете и пишет оттуда жалобу следователю. Жалоба разрастается до значительных размеров и в таком виде составляет основную часть романа.

Несмотря на все многочисленные достоинства этой книги, ее мастерство кажется несколько холодным. Этот упрек, однако, не касается стихов в романе. Все тридцать семь стихотворений хороши — естественно, не в одинаковой степени. Они слишком тесно связаны со всей тканью романа, чтобы можно было показать их прелесть вне их среды, т. е. в отрыве от про-

заического текста. Но в них почти всегда много необычной свежести, юмора, неожиданности.

Бывает так: с утра скучаешь
И словно бы чего-то ждешь.
То Пушкина перелистаешь,
То Пущина перелистнешь.

Стихи, вероятно, написаны от лица одного из героев — поэта и запойного охотника Якова Паламахтелова. И в соответствии с замыслом автора в них должны обнаруживаться одновременно и значительный природный талант, и его наивное и ограниченное проявление, и даже “невольные” заимствования у русских классиков. Нарочитая прозаичность стихотворений парадоксально усиливает их поэтичность. Даже часто встречаемая пародийность не снижает их лиричности. Именно в стихах романа находит читатель выход из половинчатости существования между собакой и волком. Но это — тема другой статьи.

Вадим Крейд

Ш.—Й. АГНОН В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ

(Ш.-Й. Агнон. “В сердцеvine морей” (повести и рассказы). В переводе и с комментариями И. Шамира. “Wahlstrom Publications”, Иерусалим, 1981.)

1. Трудно сказать, почему Шмуэль Йосеф Агнон не переводился на русский язык в СССР: то ли потому, что он был израильянином, то ли потому, что был евреем, то ли — что получил Нобелевскую премию по литературе в 1960 году; в те времена еще не осела смрадная пыль “Пастернаковских дней”. Во всяком случае, краткая заметка КЛЭ (том 1, стр. 77) о Нобелевском лауреатстве Агнона не упоминает вовсе, хотя в целом оценивает творчество “Самуила Иосифа” нейтрально-положительным образом. Судите сами: “...роман “Выдача замуж” (имеется в виду “Сретение невесты”, — М. Ю.) посвящен жизни евреев в Галиции. Палестинские и израильские рассказы А. глубоко психологичны и реалистичны. ...Многие рассказы А. переведены на европ. языки”. Так что я склоняюсь к “Нобелевской” причине непереводности Агнона. Наглый намек безымянного составителя заметки, что, мол, на многие европ. языки переведено (читай: а на русский — нет), влияния не оказал — первые тома КЛЭ были подвергнуты критике, и не будь Агнон — Агноном, его произведения были бы оценены значительно более непримиримо, прогрессивно и боевито. Поскольку Агнон — вполне реакционный писатель, сочинения которого целиком и полностью состоят из формалистических и мистических вывертов. Соответственно — в стороне остается борьба как галицийских, так и палестино-израильских трудящихся против угнетателей; намеренно затушено и классовое расслоение в еврейской среде досоциалистической Галиции. Безудержный пессимизм, шукарство и юродство роднят написанное Агноном с подобными же декадентствующими авторами: А. Ремизовым, Б. Пильняком и нек. др.

В первой половине семидесятых годов Агнона отрывочно переводили на русский язык жаргон в Израиле. Занимались этой работой государственно-религиозные институты. Подробнее об этом акте — в статье И. Шамира о переводах Агнона ("22", кн.14).

Вот и вся краткая предыстория.

2. Сочиненное Агноном — мне не нравится, и читал я его с трудом. Поначалу знакомился я с ним в государственном изложении: отвратительный липкий "колор локаль", со всеми его "махзор", "сидур", "тфила", заставил меня Агнона отложить — до времени, когда смогу я читать его в подлиннике. Прошло три года — взялся я за агноновские книги в оригинале. Прочел за неделю тридцать страниц — показалось мучительно и скучно. Я отнес это за счет своего слабого знания древнееврейского. И только теперь, когда попал мне в руки отличный перевод Исраэля Шамира — я все понял: вот уж и на плохой перевод не сошлешься, и на безъязыкность не спишешь. Исраэль Шамир дал мне возможность понять, что Агнона я не люблю. За хриплый лукавый шепоток в самое ухо; за тяготящую издевательскую обстоятельность; за превращение сказа в сказание; за слюнявую мегаломанию, что назойливо выдается наперед под полумасочкой "вневременного, вечного и вездесущего" (см.соответствующую армянскую загадку). Все вышесказанное не вредит моему пониманию того, что Агнон — так называемый крупный (он же — выдающийся) писатель, скорее всего — продолжающий традиции Пруста, Кафки, Романа Роллана, которых я также, впрочем, терпеть не могу.

3. Агнон умудрился не принять и самомайейшего участия в современной израильской литературе, — не потому, что писал "архаичную прозу", как полагает Исраэль Шамир, и не оттого, что занят был строительством "моста длиной в тысячу лет назад", заполняя таким образом литературные пустоты в еврейской словесности, — как опять-таки полагает Исраэль Шамир. Агнон вроде считал, что новейшая еврейская история — есть малоценный и крохотный довесочек к гигантскому кусу тысячелетий, естественное, но незначительное происшествие, которое и существует-то лишь постольку-поскольку... Короче говоря — и это пройдет. Согласен. Но подобные построения совершенно необходимы для философии истории, для богословия, тогда как для писания художественной прозы — опасны, непродуктивны. Свои мировоззренческие основы Агнон в прозу не включил, так сказать, не объяснил нам на текстовом уровне: что ж он по этому поводу надумал. Сочинения Агнона впрямую "со-противопоставлены" Священному Писанию и комментариям к Писанию; Агнон не прозу писал, а еще один трактат. Разумеется, агнонов трактат грешит светским уклоном, еретическими толкованиями, но — остается трактатом. Удобнее всего обозвать Агнона "архаистом-новатором" (по Ю.Н.Тынянову), пристроить его к Сергию князю Шихматову и Василию Третьяковскому, — однако ж мешает несомненно его "классицизм", я бы сказал — вольтерьянство... Как бы то ни было, ни с Сервантесом (по Шведской Академии), ни с Пушкиным (по Исраэлю Шамиру) Агнона в один ряд — не поставишь. Дело Агнона — иное, и результаты им сделанного — еще не сказались. Он стоит покуда в неприятном, но гордом одиночестве, и нынешняя израильская литература — гибрид безымянного франко-американского "покет-бука" с Гаршиным, Карони-

ным-Петропавловским и В. П. Аксеновым — ничего у Агнона признать (хоть бы и с возвратом) не в состоянии. Подождем.

Впрочем, лучше всего сконструирован Израиль у Марека Хласко; очень бы удобно указать на него в качестве примера “еврейской литературы на польском языке” — не будь покойный Хласко чистокровным поляком-католиком, начинившим своими иноверческими генами прекрасных пейзажников в нескольких кибуцах...

4. “Живу среди иностранцев, говорящих на среднем языке”, — писал А. Е. Крученых. Агнон — пожалуй, единственный израильский автор, коего перевести на “средний язык” технически невозможно. Потребовался понимающий-переводчик уровня Исраэля Шамира, чтобы дать русскому читателю понятие об Агноне, — и я без колебаний уподоблю Шамира Бенедикту Лифшицу, до работы которого Виктор Гюго в России оставался б автором “Квазимоды” и сотни бездарно-возвышенных од... В основу “языкового приема”, использованного Шамиром, положен русский перевод Священного Писания. Но ежели бы все ограничивалось такого рода “ключом”, Агнон по-русски не осуществился б. Пародийное смещение “библейзмов” у Агнона — Шамиром замечено и отмечено. Потому и получается, например, так: “Но у предположений людских нет опоры... Когда уже отвлекся я от этого, попал мне в руки газетный выпуск...” (я бы перевел — “номер”. — М. Ю.). Обращаю внимание, и без того уж обращенное: переводится газетный текст. Агнон объединяет библейский синтаксис — с разговорным, изредка загоняет в разговорную лексику: “Не то что б, не дай Бог, спутался я с инакодумами и склонил ухо к хулящим державность, но покоя в душе моей не стало. ...Сидит себе вдали большая старуха, и все ее упования на сына” (Агнон, “Прах земли Израиля”, стр. 46—47). Агнон у Шамира — р е ч е т, балагурит, вешает, но почти нигде не запинается, не квочет, не изгаляется в анекдотах из “еврейского быта” наподобие Шолом-Алейхема с Иосифом Уткиным на облучке. А ведь несомненно тайная фобия Агнона: оторваться от “идишизма”, от иудейской горбуновщины — в этом он преуспел, и переводчик его — Шамир — безошибочно “попал”. Вот как речет Агнон: “Добуш атаманом разбойников был, и в горах Карпатских его логово... А Коломея — чаша полная, и евреев там — много, и в каждом доме — свет, едят, и пьют, и веселятся” (“Клинок Добуша, стр. 21—22.)

Относительно неизбежного “колор-локаля” — Исраэль Шамир удержался на вполне приемлемом расстоянии от ...сами понимаете чего. Остался у него “мидраш” — потому что немислимо написать “читальный зал для изучения и обсуждения канонической литературы”, остался у него “талит” и “тфилин” — хотя вместо “талита” и можно б сказать “молитвенный плат” или “покровец”.

Слог Агнона — “полный, цветущий и ровный” (Пушкин о Ломоносове) — передан Исраэлем Шамиром адекватно, изящно и ненасильственно. Ни единого сомнительного толмаческого изыска я не нашел, — разве что “собор” вместо “синагоги”. Но греческое “синагога” — совсем нехорошо. Не писать же “дом молитвенных собраний”! Так что я согласен с В. Марамзиным, чье высказывание приводится на последней странице обложки шамировского издания: “Она (эта книга) станет событием в русской прозе”. Имеется в

виду, что Агнон — заслужил перевод на русский язык, а читатель русский — получил наилучший из возможных переводов...

5. Комментарий И. Шамира к Агнону — все, что собрано в конце книги под заголовком "Путеводитель по Агнону" — настолько интересен, что я настоятельно рекомендую начать чтение — именно с него. Впрочем, я так все научные собрания сочинений читаю, следовательно — моя рекомендация сугубо личная... М. Каганская написала, что "перевод станет классическим, но комментарии куда забавнее". Они — комментарии — не забавные, а у л е к а т е л ь н ы е. Не так уж много на свете комментариев, что читаются п о д р я д. И это — не "научно-популярный" тамада Ираклий Андронниковши, но самые настоящие ученые заметки. Не то чтобы Агнона невозможно читать и воспринимать в некомментированном виде, — просто две качественные книги под одной обложкой — и приятно, и выгодно.

М. Юрьев

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА

Ш.-И. АГНОН. В СЕРДЦЕВИНЕ МОРЕЙ (повести и рассказы)
в переводе и с комментариями Исразля Шамира.

Самый загадочный писатель века, Агнон создал последнюю книгу Библии или ПЕРВУЮ КНИГУ ХХІ ВЕКА, зашифрованную, как "Ада" Набокова или японский "Принц Гэндзи".

Исразль Шамир. Путеводитель по Агнону

Расшифровка скрытого значения текста

Марксистское толкование святости Святой земли

Христианские и еретические мотивы у евреев

Эротическая основа мистицизма

340 стр.

Цена 15 долларов

Заказы посылатъ по адресу:

WAHLSTROM PUBLICATIONS P.O.B. 8206 JERUSALEM
93104

АВТОРЫ НОМЕРА

Джордж Штайнер — профессор Женевского университета (Швейцария), автор многих работ по теории драмы и перевода. Повесть "Доставка г-на А. Г." публикуется с любезного разрешения автора и журнала "Кеньон Равью" (США).

Аркадий Львов — писатель, автор многих рассказов и нескольких повестей; живет в США; на Западе публиковался во многих русскоязычных изданиях; на французский язык переведен его роман "Двор".

Михаил Гершензон (ум. 1923) — известный русский литературовед, автор многочисленных книг ("Мудрость Пушкина" и др.) и статей; последняя его книга "Переписка из двух углов" (полемика с В. Ивановым) публиковалась (с сокращениями) в "22"; эссе "Судьбы еврейского народа" написано в 1920 г. и стало библиографической редкостью.

Нелли Гутина — журналистка, автор романа "Двойное дно", живет в Тель-Авиве; ее статья "Группа, партия, движение" напечатана в "22" № 18.

Рони Арен (псевдоним) — учительница, сейчас на пенсии, живет в Иерусалиме, в журнале печатается впервые.

Биньямин Александр (псевдоним) — физик, живет в Хайфе, в журнале печатается впервые.

Владимир Соловьев — известный критик и публицист, автор нескольких романов, живет в США; широко печатается в русскоязычной и западной прессе (совместно с Е. Клепиковой). Публикуемая статья — отрывок из книги "Русские парадоксы".

Оливер Рой — французский журналист; публикуемая статья переведена из журнала "Экспресс".

Исраэль Шамир — журналист и переводчик, живет в Иерусалиме; его путевые очерки о Японии и Океании печатались в "22"; переводы из Ш.-Й. Агнона ("В сердцевине морей") с комментариями вышли в Израиле отдельной книгой.

Зезв Бар-Селла (псевдоним) — литературовед, живет в Иерусалиме, в журнале печатается впервые.

Сергей Шаргородский — художник и переводчик, живет в Иерусалиме; его статья "Каждому времени свое пространство" и рецензия на "Ожог" В. Аксенова напечатаны в "22" № 18 вместе с началом перевода повести Штайнера.

Нина Воронель — драматург-сценарист, переводчица и журналистка, автор сборников пьес и стихов, живет в Тель-Авиве. Ее пьесы ставились в Израиле и США, а по сценариям снято несколько фильмов (последний — "Абортная палата" — в ФРГ). В "22" публиковались ее "Листки из блокнота" и другие статьи.

Вадим Крейд (псевдоним) — литературовед, живет в США, в журнале печатается впервые.

М. Юрьев (псевдоним) — писатель и журналист, живет в Иерусалиме. В "22" публиковались его статьи по вопросам литературы и израильской общественной жизни.

В предыдущем номере по недосмотру редакции выпала фамилия автора рецензий о Соболе и Эрдмане — И. Малер. Пропущены данные об авторе повести "Резервисты" В. Лазарисе: поэт, писатель, переводчик и журналист, автор книги "Кто прорвал железный занавес?" и антологии "Средневековая еврейская поэзия"; в Израиле с 1977 г., живет в Реховоте. Упомянутое в рецензии Ю. Милославского стихотворение Пастернака написано в 1948-м, а не 1946 г., а номер "Вечерней Москвы" (стр. 215) относится к 1965-му, а не 1975 г. Место издания антологии — Ньютонавилль.

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"
объявляет подписку на 1981 год

на общественно-политический и литературный журнал

ДВАДЦАТЬ ДВА (№№ 17—22)

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
сенсационная повесть Джорджа Штайнера об охоте израильских разведчиков за Адольфом Гитлером в бразильских джунглях (пер. с англ.)
знаменитая пьеса самого спорного и шокирующего израильского драматурга, Хануха Левина (пер. с иврита)
фантастическая повесть Станислава Лема о новых приключениях прославленного Йона Тихого в мире психимического будущего (пер. с польск.)

В 1981 году — только в нашем журнале — Израиль, Россия, Запад:
вторая часть повести Якова Цигельмана о "русских" в Израиле;
повесть Марка Гиршина об интеллигентных "отцах" и неинтеллигентных "детях";
новинки Самиздата — "На той войне незначимой", "Случай Зоценко" и др.;

В 1981 году — впервые на русском языке — только в нашем журнале:
интервью с ведущими деятелями Израиля
портреты в профиль: Арафат, Асад, Хомейни, Хуссейн
анализ общественных проблем Израиля, Запада и России
политический путеводитель по странам Ближнего Востока

В 1981 году — наши постоянные авторы — очерки, статьи, эссе:
Александр Воронель, Майя Каганская, Наталия Рубинштейн, Нина Воронель, Эдуард Кузнецов, Дора Штурман, Михаил Хейфец, Юрий Милославский, Нафтали Прат, Израэль Шамир, Виктор Богуславский, Юрий Меклер.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ДО 1 СЕНТЯБРЯ 1981 ГОДА

В Израиле: 250 шекелей (можно в два чека с разрывом в месяц); организациям — 320 шекелей.

За рубежом: 29 долларов (организациям — 34 доллара); авиапочтой (за номер) : в Европу — 3 доллара, США — 4 доллара.



ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на 6 номеров журнала "22", начиная с
Журнал высылать по адресу:
.
.

**ЭТОТ ПОДПИСНОЙ ТАЛОН И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ
НА ИМЯ: "FOUNDATION MOSCOW JERUSALEM", СЛЕ-
ДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: "22", P.O.B. 7045,
RAMAT-GAN, ISRAEL**

Книготороварищество "Москва—Иерусалим"

предлагает следующие книги:

ДЖОЭЛЬ КАРМАЙКЛ. "ТРОЦКИЙ" (300 стр.) — впервые на русском языке объективный рассказ о человеке, который был главной движущей силой октябрьского переворота в России. Книга читается как острый психологический детектив. цена 14 долларов

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ. "МОРДОВСКИЙ МАРАФОН" (256 стр.) — дневники всемирно известного автора, вынесенные из-за колючей проволоки каторжных лагерей Мордовии; наблюдения и мысли человека, пережившего 16 лет лагерей, разделенных смертным приговором, и не утратившего вкус к жизни и трезвость взгляда. цена 10 долларов

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ПРАХ И ПЕПЕЛ" (192 стр.) — пьесы о жути советского бытия, его абсурдной свирепости и ошеломляющей нищете; две из вошедших в сборник пьес были с успехом поставлены в Нью-Йорке, две в Иерусалиме и по одной снят художественный фильм в ФРГ. цена 4 доллара

"КНИГА МАККАВЕЕВ" (128 стр.) — русский перевод с греческого античного оригинала, книга-хроника первой в истории человечества религиозной войны с ее героизмом и жестокостью. цена 6 долларов

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. "УКРЕПЛЕННЫЕ ГОРОДА" (176 стр.) — опубликование в журнале "22" первой части этой горькой повести вызвало бурю споров в израильской и эмигрантской печати, что не помешало признать безусловный талант автора. цена 10 долларов

ИЛЬЯ РУБИН. "ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ" (300 стр.) — посмертное издание творческого наследия безвременно скончавшегося поэта и эссеиста, одного из лучших в эмигрантской литературе, чьи блестящие и острые статьи вызывали яростную полемику в печати. цена 7 долларов

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. "ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ", издание второе, переработанное и исправленное (192 стр.) — точная и насмешливая философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии интеллигента, сформировавшегося в советской России. цена 8 долларов

ЗАКАЗ НА КНИГИ И ЧЕК, ВЫПИСАННЫЙ НА ИМЯ "FOUNDATION MOSCOW—JERUSALEM", СЛЕДУЕТ ВЫСЛАТЬ ПО АДРЕСУ КНИГОТОВАРИЩЕСТВА "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ": "MOSCOW—JERUSALEM", P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, ISRAEL.



CHD
8/21/00
8/22